

Конан Дойль

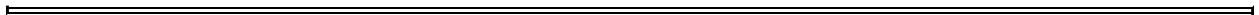
- [Артур Конан Дойл](#)

- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)



Артур Конан Дойл
Родни Стоун

Глава I

МОНАХОВ ДУБ

Сегодня, первого января тысяча восемьсот пятьдесят первого года, девятнадцатый век перевалил на вторую половину, и многие из нас, те, кто делил с ним юность, уже получили не одно предупреждение, что годы не прошли для нас даром. Седовласые старики, мы собираемся вместе и вспоминаем былые славные дни, но, когда заговариваем со своими детьми, оказывается, что они нас не понимают. Мы жили почти так же, как наши отцы, а вот наши дети, которые не представляют себе жизни без железных дорог и пароходов, — люди иного века. Можно, конечно, засадить их за учебники истории, и из этих учебников они узнают про нашу изнурительную двадцатидвухлетнюю борьбу с великим человеком, со злым гением. Они узнают, как свобода покинула просторы Европейского континента, как была пролита кровь Нельсона и разбито благородное сердце Питта, противоборствовавших ее исчезновению, не желавших, чтобы, найдя приют у наших братьев за океаном, она навеки покинула нас. Обо всем этом они прочтут в книгах, где точно указана дата того или иного договора, той или иной битвы, но откуда они узнают про нас самих, про то, что за люди мы были, как мы жили, каким представлялся нам мир, когда мы были так же молоды, как они сегодня?

Ежели я берусь за перо, чтобы рассказать вам обо всем этом, не ждите от меня рассказа о моей собственной жизни, ибо в те дни я был еще слишком молод и, хотя оказался свидетелем иных жизненных историй, моя собственная лишь начиналась. Историю жизни мужчины создает женщина, ее любовь, а до той поры, когда я впервые заглянул в глаза матери моих детей, должно было пройти еще немало лет. Нам кажется, что мы встретились только вчера, а ведь наши дети уже легко достают в саду сливы, нам же для этого нужна лестница, и на дорожках, где мы, бывало, гуляли, держа их крохотные ручки, мы теперь рады опереться на их сильные руки. Рассказ мой будет о той поре, когда я знал только любовь моей собственной матери, и, если вы ждете чего-то иного, отложите в сторону мою повесть, она не для вас. Но если вы готовы погрузиться со мною в тот забытый мир, если вы не прочь узнать Джима и Чемпиона Гаррисона, если хотите познакомиться с моим отцом, одним из сподвижников адмирала Нельсона, если захотите взглянуть на самого

великого моряка и на Георга, впоследствии недостойного короля Англии, если к тому же вы захотите увидеть моего знаменитого дядюшку, сэра Чарльза Треджеллиса, короля щеголей, и знаменитых бойцов, чьи имена еще и сегодня не сходят у вас с языка, тогда дайте мне руку, читатель, и отправимся в путь. Но, пожалуйста, не надейтесь найти во мне занимательного гида, не то вы будете разочарованы. Когда я смотрю на свои книжные полки, я вижу, что одни только мудрецы, остроумцы и храбрецы отваживаются писать о собственной жизни. Что же до меня, то, если я не глупее и не трусливее других обыкновенных людей, этого с меня вполне довольно. Одно могу сказать о себе: искусники и умельцы хвалили мою голову, а мудрецы хвалили мои руки. И хвастать мне нечем — разве только одной врожденной способностью к музыке: я легко и быстро выучиваюсь играть на всяком музыкальном инструменте. Внешность у меня самая заурядная — роста я среднего, глаза не то серые, не то голубые, а волосы, пока природа не припорошила их сединой, были то ли светлые, то ли каштановые. Впрочем, одно я, пожалуй, могу сказать с уверенностью: во всю жизнь я ни разу никому не позавидовал, всегда восхищался людьми более одаренными и всегда все видел таким, как оно есть на самом деле, в том числе и себя самого: думаю, это и дает мне право сейчас, в зрелые годы, писать свои воспоминания.

Итак, с вашего разрешения, отодвинем мою особу на самый задний план. Постарайтесь вообразить, будто я тонкая, бесцветная нить, на которую нанизываются жемчужины, и это будет как раз то, чего я хочу.

В нашем роду, в роду Стоунов, мужчины из поколения в поколение служили на флоте и старшего сына у нас всегда нарекали именем любимого адмирала отца. Так можно проследить нашу родословную до самого Вернона Стоуна, который в сражении с голландцами командовал остроносим пятидесятипушечным кораблем с высокой кормой. После него был Хоук Стоун, который в свою очередь в году от рождества Христова 1786-м в приходской церкви Св. Фомы в Портсмуте дал мне при крещении имя Родни.

Стоит мне поднять сейчас голову, как я вижу в саду за окном своего рослого мальчика, и, если я его окликну, вы поймете, что и я остался верен традициям нашего рода: его зовут Нельсон.

Моя дорогая матушка, лучшая из матерей, была второй дочерью преподобного Джона Треджеллиса, священника в Милтоне, скромном сельском приходе, граничащем с Лэнгстонскими топями. Семья ее была небогатая, но с положением, ибо ее старший брат был тот самый сэр Чарльз Треджеллис, который унаследовал богатство некоего индийского купца и

был одно время притчей во языцех, да к тому же состоял в близкой дружбе с принцем Уэльским. Далее я еще расскажу вам о нем, а пока заметьте только, что он был мой родной дядя и брат моей матушки.

Я помню ее на протяжении почти всей ее прекрасной жизни, ибо она вышла замуж; очень юной, и в ту пору, когда я впервые запомнил ее нежный голос и хлопотливые руки, она была еще совсем молоденькая. Матушка представляется мне прелестной женщиной с добрыми, кроткими глазами, роста, правда, небольшого, но зато с горделивой осанкой. Помню, в те дни она всегда носила платья из какой-то сиреневой переливающейся ткани и белый платок на высокой белой шее, и ее ловкие пальцы, вооруженные вязальным крючком или спицами, сновали как челнок. Вот она передо мной в зрелых годах, нежная и любящая, что-то придумывает, изобретает, изворачивается, чтобы на скудное лейтенантское жалованье вести хозяйство и не ударить лицом в грязь перед соседями. И теперь, стоит мне только войти в гостиную, и я снова ее вижу — за плечами у нее восемьдесят с лишним лет безгрешной жизни, волосы уже совсем седые, лицо спокойное; на ней изящный, отделанный лентами чепец, очки в золотой оправе, на плечах шерстяная шаль с голубой каймой. Я любил ее молодую и люблю в старости, и, когда ее не станет, она унесет с собою что-то, чего уже никогда ничем не заменишь. У вас, быть может, много друзей, читатель, вы, быть может, не однажды вступали в брак, но мать у вас одна, и второй не будет, а потому лелейте ее, пока можете, ибо настанет день, когда всякий опрометчивый поступок, всякое сказанное ей необдуманное слово вновь вернется к вам и еще больнее ужалит ваше собственное сердце.

Такова была моя матушка. Что до моего батюшки, то я смогу описать его лучше, как только дойду в своем рассказе до времени, когда он вернулся домой со Средиземного моря. Все детство я знал лишь его имя да лицо на миниатюре, которую матушка всегда носила на шее в медальоне. Поначалу мне говорили, что он сражается с французами, а потом, с годами, стали говорить уже не о французах, а все больше о генерале Буонапарте. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрел на гравированный портрет великого корсиканца, выставленный в витрине книжного магазина на Томас-стрит в Портсмуте. Так вот он каков, заклятый враг, в жестоком и нескончаемом поединке с которым прошла жизнь моего батюшки! В моем детском воображении они дрались один на один, и я всегда представлял себе, что мой отец и этот бритый тонкогубый господин сошлись врукопашную и никак не могут одолеть друг друга в смертельной, затянувшейся на годы схватке. И только в школе я понял, как много на

свете мальчиков, чьи отцы, как и мой, сражались с Буонапарте.

За все эти долгие годы батюшка мой лишь однажды побывал дома — вот что значило в те дни быть женой моряка. Он приехал к нам почти сразу после того, как мы переселились из Портсмута в Монахов дуб, и пожил с нами неделю перед тем, как отправиться в плавание с адмиралом Джервисом, чтобы помочь ему стать лордом Сент-Винсентом. Помнится, он испугал и пленил меня бесконечными рассказами о сражениях, и я вспоминаю, точно это было вчера, с каким ужасом я глядел на пятно крови на кружевной манжетке его рубашки, хотя появилось оно, конечно же, всего лишь из-за оплошности при бритье. Но в ту пору я не сомневался, что это кровь какого-нибудь поверженного француза или испанца, и в ужасе отшатывался, когда он гладил меня по голове своей загорелой рукой. Потом он уехал, и матушка горько плакала, а я глядел, как его синий мундир и белые панталоны удаляются по садовой дорожке, и не испытывал ни малейшего огорчения — со свойственным ребенку бессознательным эгоизмом я чувствовал, что без него мы с матушкой гораздо ближе друг другу.

Когда мы переехали из Портсмута в Монахов дуб, мне шел одиннадцатый год; перебраться в это небольшое селение в графстве Суссекс, к северу от Брайтона, нам посоветовал мой дядя, сэр Чарльз Треджеллис: тут неподалеку была расположена усадьба одного из его высокопоставленных друзей, лорда Эйвона. Мы покинули Портсмут, потому что сельская жизнь дешевле и, кроме того, вне круга людей, которым матушка по своему положению вынуждена была оказывать гостеприимство, она могла без большого труда сохранить видимость уклада, какой подобает благородному семейству. То были тяжелые времена для всех, кроме фермеров, — они, как я слышал, вполне могли возделывать лишь половину своей земли и все-таки жить припеваючи: пшеница в ту пору была в цене, она стоила по сто десять шиллингов за четверть, а четырехфунтовый хлеб — шиллинг и девять пенсов. И даже в нашем скромном домике мы сводили концы с концами только благодаря тому, что отец служил на одном из кораблей эскадры, державшей блокаду, где изредка перепадал случай получить призовые. Линейные корабли, крейсировавшие у Бреста, не могли заработать ничего, кроме славы, но фрегаты захватывали каботажные суда, которые — таков был закон — становились собственностью флота, весь груз обращался в деньги, и их выдавали в качестве призовых.

Таким образом, денег, которые посылал отец, хватало на то, чтобы содержать дом и отдать меня в школу мистера Джошуа Аллена, где за

четыре года я превзошел все, чему он мог научить. Там я и познакомился с Джимом Гаррисоном, племянником деревенского кузнеца, Чемпиона Гаррисона. Малыш Джим мы его называли. Вот он передо мной, каким он был в то время, — большие, нескладные и неловкие руки и ноги, точно лапы у щенка ньюфаундленда, а лицо такое, что все женщины на него оглядывались. В те дни и началась наша дружба, дружба, которая продолжалась всю жизнь и сейчас, на склоне лет, все еще связывает нас узами братства. Я помогал ему делать уроки, ибо самый вид книги внушал ему отвращение, а он, в свою очередь, учил меня боксировать, бороться, ловить руками форель в Эйдре и ставить ловушки на кроликов, — руки его были так же скоры, как неторопливая мысль. Но он был двумя годами старше меня и, задолго до того, как я кончил учение, начал помогать своему дяде в кузнице.

Монахов дуб расположен в одной из долин Даунса, и столб с пометкой «сорок третья миля» на пути от Лондона к Брайтону стоит как раз на окраине. Это совсем небольшое селение с увитой плющом церковью, красивым домом священника и выстроившимися в ряд домиками из красного кирпича, каждый в своем собственном садике. На одном конце перед домом Чемпиона Гаррисона стояла кузница, а на другом — школа мистера Аллена. Мы жили в желтом домике чуть поодаль от дороги; его второй этаж был слегка выдвинут вперед, и из штукатурки выступали черные деревянные балки. Не знаю, цел ли он там и поныне, но скорее всего цел, ибо в таких местах веками ничего не меняется.

Прямо напротив нас, через широкую меловую дорогу, стояла гостиница, которую в ту пору содержал Джон Каммингз; в нашем селении Каммингз пользовался отличной репутацией, но вдали от дома способен был, как вы увидите дальше, на странные выходки. Хотя движение на дороге было довольно оживленное, но от Брайтона до нас было рукой подать, и лошади не успевали притомиться; тем же, кто ехал из Лондона, не терпелось поскорей добраться до места, так что, если бы не случались какие-нибудь поломки да не соскакивали колеса, хозяину приходилось бы рассчитывать на одних только сельских выпивох. В те дни принц Уэльский только что возвел у моря дворец, и в брайтонский сезон, то есть с мая по сентябрь, мимо наших дверей каждый божий день с грохотом проносилось от ста до двухсот карет, колясок и фаэтонов. Летними вечерами мы с Джимом нередко растягивались на траве при дороге, во все глаза глядели на знатных господ и громкими радостными криками встречали лондонские экипажи; они с грохотом мчались мимо, окутанные облаками пыли; коренники и передовые кони тянули изо всех сил, пронзительно заливались

рожки, на кучерах были шляпы с низкими тульями и с изогнутыми полями, и лица их пылали таким же алым цветом, как их ливреи. Когда Джим криками приветствовал пассажиров, они лишь смеялись, но если бы они могли разглядеть его большие, хоть и не совсем еще оформившиеся, руки и ноги и широкие плечи, они, быть может, поглядели бы на него внимательнее и не оставили бы его приветствие без ответа.

Джим не помнил ни отца, ни матери, он все детство прожил со своим дядей, Чемпионом Гаррисоном. Гаррисон был сельский кузнец, а Чемпионом его прозвали потому, что он выступал против Тома Джонсона, когда тот был чемпионом Англии, и, конечно, побил бы его, если бы бедфордширские власти не прервали бой. Многие годы не было в Англии такого выносливого боксера, как Гаррисон, и никто лучше него не умел нанести последний, решающий удар, хотя, как я понимаю, он не был скор на ноги. А потом случилось так, что в бою с Черным Барухом он под конец нанес такой сокрушительный удар, что тот не только перелетел через канаты, но и долгие три недели находился между жизнью и смертью. Все это время Гаррисон был точно помешанный, он каждую минуту ждал, что вот сейчас тяжелая рука полицейского опустится ему на плечо и его будут судить за убийство. Этот случай и мольбы жены заставили его навсегда отказаться от бокса, и всю свою недюжинную силу он направил на ту единственную профессию, в которой был от нее толк. Суссекским фермерам и многочисленным проезжим постоянно требовались услуги кузнеца, так что Гаррисон быстро разбогател и, сидя по воскресеньям в церкви с женой и племянником, выглядел человеком весьма почтенным.

Росту Гаррисон был небольшого, всего пяти футов и семи дюймов, и, будь у него руки хоть на дюйм длиннее, он ни в чем бы не уступил Джексону или Белчеру в их лучшую пору. Грудь у него была колесом, а таких могучих предплечий я в жизни не видал: набухшие мышцы походили на обточенные волнами камни, а между ними пролегали глубокие впадины. Несмотря на огромную силу, он был человек тихий, благонравный и добрый — всеобщий любимец в нашей округе. Его крупное, невозмутимое выбритое лицо становилось в иных случаях очень суровым, но для меня, да и для всех детей, у него всегда находилась приветливая улыбка и веселый взгляд. Все нищие, сколько их было в нашей округе, знали, что сердце его так же мягко, как тверды мышцы.

Больше всего на свете он любил рассказывать про свои былые схватки, но стоило невядалеке показаться его женушке, как он тут же замолкал, ибо одна тень постоянно омрачала ее жизнь: она боялась, что рано или поздно он забросит кувалду и рашпиль и снова вернется на ринг. Не забывайте, что

в ту пору бокс не утратил еще доброй славы. Но постепенно общественное мнение стало относиться к нему враждебно, по той причине, что он перешел в руки мошенников и около ринга начали подвизаться всякие негодяи. Даже самый честный и храбрый боксер невольно оказывался средоточием всяческих подлостей и спекуляций, так же как это бывает с ни в чем не повинными благородными скаковыми лошадьми. Вот почему бокс доживает в Англии последние дни, и можно думать, что, когда Конту и Бендигу придет конец, заменить их будет некому. Но в дни, о которых я рассказываю, все было совсем иначе. Общественное мнение всячески поддерживало бокс, и на то были серьезные причины. Шла война; армия и флот Англии состояли сплошь из добровольцев, вояк по призванию, и им суждено было, как и в наши дни противостоять государству, которое в силу царившего в нем деспотизма могло любого гражданина превратить в солдата. Если бы англичане не были одержимы страстью ко всякого рода поединкам, Англии бы не миновать поражения. И в ту пору полагали — и не без оснований, — что схватка двух бесстрашных бойцов на глазах у тридцати тысяч зрителей, которую к тому же обсуждают еще три миллиона человек, помогает воспитывать в людях смелость и выносливость. Спорт этот, что и говорить, жестокий, и именно жестокость приведет его к гибели, но он не так жесток, как война, которая его переживет. Разумно ли поэтому воспитывать граждан в духе миролюбия сейчас, когда от их воинственности может зависеть само их существование, — это решать людям поумнее меня. Но так мы судили в дни, когда были еще живы ваши деды, и вот почему такие государственные мужи и филантропы, как Уиндем, Фокс и Олторп, всячески поддерживали ринг.

Покровительство столь достойных людей уже само по себе, казалось, было залогом того, что на ринге не будет места ни мошенничеству, ни грязи, которые в конце концов туда проникли.

Больше двадцати лет, в дни Джексона, Брейна, Крибба, Белчеров, Пирса, Галли и других, на ринге задавали тон люди, чья честность была вне подозрений, и именно в это двадцатилетие ринг, как я уже говорил, способствовал благу государства. Всем известно, что Пирс в Бристоле вынес из горящего дома девушку, что Джексон заслужил уважение и дружбу лучших умов тех дней, что Галли избран был в первый после реформы парламент. Вот каковы были тогда лучшие боксеры, да к тому же каждому было ясно, что пьянице или развратнику здесь не преуспеть. Разумеется, в семье не без урода — были и негодяи вроде Хикмена, и грубые животные вроде Беркса; но в большинстве это были люди честные, храбрые, невероятно выносливые, и они делали честь стране, которая их

взрастила. Как вы увидите дальше, мне довелось познакомиться с некоторыми из них довольно близко, и я знаю, что говорю.

Все наше селение очень гордилось, что среди нас живет такой человек, как Чемпион Гаррисон, и всякий, кто останавливался в гостинице, непременно шел к кузнице, чтобы взглянуть на него. И поглядеть было на что, особенно зимним вечером, когда они с Джимом размахивали молотами и при каждом ударе по раскаленному лемеху плуга разлетались во все стороны искры, окружая их сверкающим ореолом, а красное сияние горна бросало отсвет на могучие бицепсы дяди и на гордый ястребиный профиль племянника. Чемпион Гаррисон с размаху ударял один раз тридцатифунтовой кувалдой, а Джим дважды ручным молотом, и стоило мне услышать «кланк, клинк-клинк, кланк, клинк-клинк!», как я тут же со всех ног бежал к кузнице в надежде, что, раз оба они у наковальни, меня, быть может, допустят к кузнечным мехам.

За все годы, прожитые в Монаховом дубе, мне вспоминается лишь один случай, когда Чемпион Гаррисон на мгновение вдруг стал тем человеком, каким был прежде. Как-то летом, поутру, когда мы с Джимом стояли у дверей кузницы, на дороге со стороны Брайтона показалась карета, запряженная четырьмя свежими лошадьми; медь на сбруе празднично сияла, и мчалась карета с таким веселым звоном и громом, что Чемпион выскочил из кузницы, держа в руках еще зажатую клещами подкову. Господин в белой кучерской пелерине — знатный рингоманин, как мы тогда называли аристократов — покровителей бокса, — правил коляской, а полдюжины его приятелей с хохотом и криками теснились у него за спиной. Быть может, он заметил рослого кузнеца и захотел подшутить над ним, а может, то была чистая случайность, но, когда карета мчалась мимо кузницы, двадцатифутовый кнут со свистом разрезал воздух и хлестнул по кожаному фартуку Гаррисона.

— Эй, сударь! — закричал кузнец вслед коляске. — Вам на козлах не место, вы еще с кнутом не научились управляться.

— Что такое? — воскликнул проезжий, осаживая лошадей.

— Советую вам поостеречься, господин хороший, не то не миновать кому-то окриветь на этой дороге.

— Ах, вот как? — сказал проезжий, вкладывая кнут в гнездо и стаскивая кучерские перчатки. — Сейчас я с тобой побеседую, любезный.

В ту пору знатные повесы были по большей части отличные боксеры, ибо тогда считалось модным пройти курс у Мендосы, как несколько лет спустя всякий светский человек почитал своим долгом потренироваться с Джексоном.

Удалые и заносчивые, они никогда не упускали возможности подраться, и почти всегда их случайные противники — лодочники, матросы — оказывались нещадно биты. И этот господин, видно, не сомневался в исходе стычки: он живо соскочил с козел, сбросил пелерину и изящно подвернул кружевные манжеты белой батистовой рубашки.

— Сейчас я тебе заплачу за совет, братец!

Господа, сидящие в карете, без сомнения, знали, кем был силач кузнец, и, видя, в какую переделку попал их приятель, предвкушали отличное развлечение. Они громко хохотали и развеселыми голосами подавали ему всевозможные советы.

— Посбейте с него сажу, лорд Фредерик! — кричали они. — Покажите этому задире, где раки зимуют! Вываляйте в его собственной золе! Поживей, не то он даст тягу!

Распаленный этими криками, молодой аристократ с угрожающим видом направился к противнику. Кузнец словно врос в землю, губы его сурово сжались, и нахмурились кустистые брови над зоркими серыми глазами. Клещи он бросил, и руки его свободно повисли по бокам.

— Поберегись, господин хороший, — сказал он. — Не то как бы не было худо.

Голос его звучал так уверенно, все в нем дышало таким спокойствием, что молодой лорд насторожился. Он пристальнее взгляделся в противника и вдруг раскрыл рот и опустил руки.

— Черт подери! — воскликнул он. — Да ведь это Джек Гаррисон!

— Он самый, сударь.

— А я-то принял вас за какого-то грубияна. Да я не видел вас с того самого дня, когда вы чуть не убили Черного Баруха. Пришлось мне тогда выложить кругленькую сумму!

Ну и хохотали же его приятели!

— Попался! Попался, черт возьми! — вопили они. — Это Джек Гаррисон, боксер! Лорд Фредерик хотел одолеть бывшего чемпиона. Стукни его разок, Фред, и посмотри, что будет.

Но тот, хохоча чуть ли не громче всех, уже снова взобрался на козлы.

— На сей раз прощается, Гаррисон, — сказал он. — А это ваши сыновья?

— Это мой племянник, сударь.

— Вот ему гиней! Ему не придется жаловаться, что я лишил его дяди.

И так, посмеявшись над самим собой, он отвратил от себя насмешки приятелей, хлестнул лошадей, карета помчалась дальше, и через пять часов седуки уже были в Лондоне; Джек Гаррисон посмотрел вслед карете и,

посвистывая, вернулся в кузницу кончать подкову.

Глава II

ШАГИ В ЗАМКЕ

Ну, хватит о Чемпионе Гаррисоне. Теперь я хочу рассказать подробнее о Джиме — не только потому, что он был другом моего детства и юности, но и потому, что, как вы увидите дальше, эта книга повествует не столько обо мне, сколько о нем, и еще потому, что впоследствии он прославился и его имя было у всех на устах. Так что потерпите, пока я буду рассказывать о том, каков он был в те далекие времена, и особенно об одном удивительном происшествии, которое оба мы, вероятно, никогда не забудем.

Странно выглядел Джим рядом с дядей и теткой — казалось, он был существом другой породы. Я часто видел, как все семейство в воскресный день входило в церковь: широкоплечий, коренастый мужчина, за ним маленькая, усталая, с тревожным взглядом женщина и позади чудесный юноша — четко очерченный профиль, черные кудри, а походка такая пружинистая, легкая, словно он не испытывал на себе силы притяжения, как все прочие тяжело ступавшие по земле жители наших мест. Он еще не достиг тогда своих шести футов росту, но у всякого мужчины (а уж о женщинах и говорить нечего) при одном взгляде на его широко развернутые плечи, узкие бедра, на гордую, орлиную посадку головы делалось радостно на душе, как бывает при виде всего прекрасного в природе, — когда кажется, что и ты тоже помогал сотворить это чудо красоты.

Но красоту мужчины мы привыкли связывать с изнеженностью. Не знаю, почему так повелось, и уж про Джима, во всяком случае, этого никак нельзя было сказать. Из всех, кого я знал, он был самый выносливый — и телом и душой. Кто из всех нас мог сравняться с ним в ходьбе, в беге, в плавании? Кто, кроме него, решился бы взобраться на стофутовый Уолстонский утес, а потом спуститься, не испугавшись самки сокола, которая вилась, хлопая крыльями, над самой его головой, тщетно пытаясь не подпустить его к своему гнезду? Ему едва исполнилось шестнадцать и еще не все его кости окрепли и отвердели, а он уже одолел в бою цыгана Ли, который называл себя «Коноводом Южного Даунса». После этой драки Чемпион Гаррисон принялся сам обучать его боксу.

— Лучше бы ты не привыкал давать волю кулакам, Джим, — сказал

он. — И тетка будет рада. Но раз уж тебе без этого никак нельзя, я буду не я, если ты хоть перед кем отступишь в наших краях.

И он очень скоро сдержал свое обещание.

Я уже говорил, что книг Джим не любил, но это касалось только школьных учебников, ибо, когда ему попадался роман с приключениями, его, бывало, не оторвешь, пока он не дочитает все до конца. Стоило ему заполучить такую книгу — и Монахов дуб и кузница переставали существовать, и он вместе с героями плавал по морям и океанам или путешествовал по всему свету. Джим и меня заражал своей увлеченностью, так что, когда он провозгласил себя Робинзоном, а рощицу в Клейтоне — необитаемым островом, где нам предстоит провести неделю, я с радостью согласился стать Пятницей. Но когда оказалось, что нам и вправду надо ночью спать под деревьями без подушек и одеял и что пищей нам должны служить овцы (он называл их дикими козами), изжаренные на костре, а огонь мы будем добывать из двух палок, которые заменят нам трут и огниво, мужество мне изменило, и я в первую же ночь сбежал домой. Но Джим оставался на своем острове всю долгую и к тому же сырую неделю и возвратился он куда больше похожий на дикаря и куда более грязный, чем его герой на картинках в книжке. Хорошо, что он решил провести там всего неделю, ибо за месяц он бы умер от голода и холода, потому что вернуться домой ему бы не позволила гордость.

Гордость — вот что было главное в его натуре. На мой взгляд, гордость — это и достоинство и недостаток: достоинство — потому что она удерживает человека от падения, от грязи, недостаток — потому что уж если человеку все-таки случилось упасть, она мешает ему подняться. Джим был гордец до мозга костей. Помните, молодой лорд, усевшись на козлы, бросил ему гинеею? Два дня спустя кто-то подобрал ее в грязи на дороге. Джим лишь проводил ее взглядом, но не соизволил даже показать на нее нищему. И объяснять подобный поступок он ни за что не стал бы, а на все уговоры только презрительно скривил бы губы да сверкнул глазами. Джим и в школе вел себя так же, и столько в нем было чувства собственного достоинства, что и другим приходилось с этим считаться. Он вполне способен был заявить и заявил, что прямой угол — это не кривой стол или что Панама находится в Сицилии, но старик Джошуа Аллен и не подумал отделать его линейкой, как не подумал бы спустить подобную дерзость мне или кому-нибудь еще. Так что, хоть Джим был совсем никто, а я сын офицера его величества, я всегда считал, что он оказал мне большую честь, став моим другом.

Гордость Джима вовлекла нас однажды в историю, при воспоминании

о которой у меня и сегодня волосы становятся дыбом.

Случилось это в тысяча семьсот девяносто девятом году в августе или в самом начале сентября; помню только, что мы слышали, как в Пэтчемской роще куковала кукушка, и Джим сказал, что, наверно, она кукует последние денечки. Я тогда еще ходил в школу, а Джим уже нет: ему было в ту пору без малого шестнадцать, а мне — тринадцать. По субботам уроки у меня кончались рано, и на этот раз мы почти весь день провели на холмах. Мы отправились в наше любимое местечко, за Уолстонбери, там можно было растянуться во всю длину на мягкой, упругой, припорошенной мелом траве, среди пушистых овечек, и болтать с пастухами, которые опирались на свои диковинные посохи, выделанные еще в те дни, когда в Суссексе производили больше железа, чем во всех прочих графствах Англии, вместе взятых.

Там-то мы и лежали в тот чудесный день. Стоило нам повернуться на правый бок — и перед нами оказывалась вся Южная Англия в оливково-зеленых изгибах и складках, то там, то сям прорезанных белыми расщелинами меловых карьеров; а если повернуться на левый бок, — далеко внизу расстилалась широкая синяя гладь Ла-Манша. Помню, в тот день по нему плыл караван судов — впереди, сбившись в кучу, несмело двигались «купцы»; по бокам, точно хорошо обученные овчарки, — фрегаты; а замыкали процессию два могучих гуртовщика, два линейных корабля. Мысли мои устремились к отцу, который тоже где-то сейчас плавал, но тут Джим вернул меня на землю, точно чайку с переломанным крылом.

— Родди, — окликнул он меня, — ты слыхал, что в замке водятся привидения?

Слыхал ли я! Еще бы! Да разве можно было сыскать во всей нашей округе хоть единого человека, который не слыхал бы про привидения в замке?

— И ты знаешь, что там случилось?

— А как же! — сказал я не без гордости. — Кому же и знать, как не мне, ведь брат моей матери, сэр Чарльз Треджеллис, был самый близкий друг лорда Эйвона и играл у него в карты в тот самый день, когда это случилось. Да еще совсем недавно, на прошлой неделе, я слыхал, как матушка говорила об этом со священником, и до того ясно все представляю, будто своими глазами видел, как произошло убийство.

— Странная история, — задумчиво сказал Джим, — а когда я стал расспрашивать тетку, она не захотела мне отвечать, а дядя и вовсе слова не дал вымолвить.

— Ничего удивительного, — ответил я, — ведь, говорят, лорд Эйвон был лучший друг твоего дяди; конечно, ему неохота вспоминать про его позор.

— Расскажи мне, Родди.

— Это случилось давно, четырнадцать лет прошло, а никто до сих пор так ничего и не знает. Они приехали из Лондона вчетвером, хотели пожить несколько дней в старом замке лорда Эйвона. Его младший брат, капитан Баррингтон, и его родич сэр Лотиан Хьюм; третьим был мой дядя, сэр Чарльз Треджеллис, а четвертым — сам лорд Эйвон. Все эти господа больше всего любят играть в карты на деньги, и они играли два дня кряду и одну ночь. Лорд Эйвон был в проигрыше, и сэр Лотиан, и мой дядя, а капитан Баррингтон все выигрывал и выигрывал, пока у них ничего больше не осталось. Он выиграл у них все деньги, но, самое главное, он выиграл у старшего брата какие-то бумаги, которыми тот очень дорожил. Игру кончили в понедельник поздней ночью. А во вторник утром капитана Баррингтона нашли на полу у его постели с перерезанным горлом.

— И убил его лорд Эйвон?

— На каминной решетке нашли наполовину сожженные бумаги лорда Эйвона. Убитый зажал в руке манжету лорда Эйвона, возле тела валялся нож лорда Эйвона.

— Значит, его повесили?

— Не успели. Он дождался, пока его уличили, и сбежал. С той поры его никто не встречал, но, говорят, он добрался до Америки.

— А привидение бродит по дому?

— Его многие видели.

— А почему дом до сих пор пустует?

— Потому что он под охраной закона. У лорда Эйвона не было детей, а сэр Лотиан Хьюм — это который играл тогда с ними в карты — его племянник и наследник. Но он не имеет права ничем распоряжаться, пока не докажет, что лорд Эйвон умер.

Джим молча пощипывал пальцами невысокую траву.

— Родди, — сказал он наконец, — пойдешь со мной нынче ночью посмотреть привидение?

При одной мысли об этом меня бросило в дрожь.

— Меня матушка не пустит.

— А ты сбеги из дому потихоньку, как она ляжет спать. Я буду ждать у кузницы.

— В замке все двери заперты.

— А я открою окно, это нетрудно.

— Я боюсь, Джим.

— Но ведь мы пойдем вместе, чего ж бояться, Родди. Ты на меня положишься, и никакие привидения тебя не тронут.

И я дал ему слово, что приду, но в этот день в целом Суссексе не было мальчишки несчастнее меня. Джиму все нипочем! А все его гордость, это она влечет его в замок. Он должен пойти хотя бы потому, что ни один человек в нашей округе на это не решится. Но у меня-то такой гордости нет. Я не храбрее других, и для меня провести ночь в замке с привидениями все равно, что провести ее у виселицы Джейкоба на пустыре Дичлинга. Но не мог же я обмануть Джима, и я слонялся по дому такой бледный и несчастный, что моя дорогая матушка решила, будто я наелся зеленых яблок и потому мне надо лечь пораньше, а вместо ужина выпить настой ромашки.

В те времена Англия укладывалась спать рано, ибо лишь очень немногие могли себе позволить роскошь покупать свечи. Когда пробило десять, я выглянул из окна — селение погружено было во тьму, только в гостинице еще горел огонь. Наши окна были совсем невысоко над землей, так что я выбрался из дому без труда. Джим уже ждал меня у кузницы. Мы вместе пересекли луг, миновали ферму Риддена и встретили по пути только двух или трех верховых. Дул свежий ветер, луна то пряталась, то проглядывала между облаками, дорога то серебрилась, то погружалась в непроглядную тьму, и мы забредали в заросли ежевики или вереска, росшего по обочинам. Наконец мы подошли к деревянным воротам с высокими каменными столбами и, поглядев сквозь решетку, увидели длинную дубовую аллею, а в глубине этого мрачного туннеля бледный лик дома, тускло светящийся под луной.

С меня было вполне достаточно одного вида этого дома и вздохов и стонов ночного ветра в ветвях. Но Джим распахнул калитку, и мы двинулись по аллее, а гравий поскрипывал у нас под ногами. Старый дом вздымался высоко в небо, на стеклах множества окошек мерцали лунные блики, три его стены омывал ручей. Вскоре мы приблизились к высокой двери под аркой, сбоку от нее висела на петлях решетка.

— Нам повезло, Родди, — прошептал Джим. — Одно окно открыто.

— А может, хватит, а, Джим? — сказал я, стуча зубами от страха.

— Я тебя подсажу.

— Нет-нет, я не хочу первый.

— Тогда я сам полезу.

Он ухватился за подоконник, и вот его колено уже на окне.

— Ну, Родди, давай руки.

Рывком он подтянул меня вверх, и в следующий миг мы были в доме с привидениями.

Деревянный пол гулко охнул, когда мы спрыгнули с подоконника, казалось, внизу глухими раскатами отдавалось эхо. Мы застыли на месте, но тут Джим расхохотался.

— Ну совсем как старый барабан! — воскликнул он. — Сейчас засветим огонь, Родди, и поглядим, что тут есть.

У него в кармане оказались свеча и трутница. Пламя разгорелось, и мы увидели каменный свод и широкие сосновые полки, уставленные запыленной посудой. Мы попали в буфетную.

— Сейчас я покажу тебе дом, — весело сказал Джим и, распахнув дверь, первым вступил в зал. Помню высокие, с дубовыми панелями стены, украшенные оленьими головами, и в углу — белый мраморный бюст, при виде которого у меня сердце ушло в пятки. Отсюда можно было попасть во многие комнаты, и мы переходили из одной в другую — кухня, посудная, малая гостиная, столовая, — и всюду так же удушливо пахло пылью и плесенью.

— Тут они играли в карты, Джим, — вполголоса сказал я. — Вот за этим самым столом.

— Смотри-ка, и карты еще лежат! — воскликнул Джим и снял со столика побуревшее полотенце. Под ним и в самом деле оказались игральные карты, колод сорок, не меньше, — они лежали на этом месте с той самой трагической ночи, когда здесь играли в последний раз — еще до того, как я родился.

— Интересно, куда ведет эта лестница? — сказал Джим.

— Не ходи туда! — закричал я и схватил его за руку. — Она, наверно, ведет в комнату, где его убили.

— Откуда ты знаешь?

— Священник говорил, что на потолке они увидели... Ой, Джим, и сейчас видно!

Он поднял свечу — прямо над нами на белой штукатурке темнело большое пятно.

— Кажется, ты прав, — сказал Джим, — но я все равно пойду погляжу.

— Не надо, Джим, не надо! — взмолился я.

— Замолчи, Родди! Если боишься, можешь не ходить. Я мигом вернусь. Что толку искать встречи с привидениями, если... Боже милостивый, кто-то спускается по лестнице!

Я тоже услышал шаркающие шаги в комнате наверху, потом под чьими-то ногами скрипнула ступенька — раз, другой, третий... Лицо

Джима было словно выточено из слоновой кости — рот полуоткрыт, глаза устремлены на черный проем двери, за которым начиналась лестница. Он все еще держал свечу в высоко поднятой руке, но пальцы его вздрагивали и тени прыгали со стен на потолок. У меня просто подкосились ноги — я опустился на пол и скорчился позади Джима, крик ужаса замер у меня в горле. А шаги приближались.

Потом, едва осмеливаясь смотреть и, однако, не в силах отвести глаза, я различил в углу, где начиналась лестница, смутные очертания человеческой фигуры. Стало так тихо, что я слышал, как бьется мое перепуганное сердце, а когда снова поднял глаза, фигура исчезла, и только вновь глухо поскрипывали ступени. Джим кинулся вдогонку, а я почти без чувств остался в комнате, освещенной теперь лишь луною.

Но так продолжалось недолго. Джим вернулся, взял меня под руку и потащил прочь из дома. Он заговорил лишь когда мы очутились в прохладном ночном саду.

— Можешь стоять на ногах, Родди?

— Могу, только меня трясет.

— Меня тоже, — сказал он, проводя рукой по лбу. — Прости меня, Родди. Напрасно я впутал тебя в такую историю. Но я думал, это все одни разговоры. Теперь-то и я вижу, что нет.

— Джим, а вдруг это был человек? — спросил я; на свежем воздухе, услышав лай собак на окрестных фермах, я немножко пришел в себя.

— Это был дух, Родди.

— Откуда ты знаешь?

— Я шел за ним по пятам — и он ушел в стену, точно угорь в песок. Родди, ты что, что с тобой?

Все мои страхи опять вернулись, и меня опять стала бить дрожь.

— Уведи меня отсюда, Джим! Уведи меня! — закричал я. А сам не мог отвести глаз от дубовой аллеи. Джим посмотрел туда же. В темноте кто-то шел под дубами прямо к нам.

— Тише, Родди! — прошептал Джим. — Клянусь богом, будь что будет, но теперь уж я его поймаю.

Мы замерли, неподвижные, точно стволы деревьев позади нас. Кто-то тяжело ступал по песку, и из тьмы на нас надвинулась коренастая фигура.

Джим кинулся на нее, как тигр.

— Уж ты-то, во всяком случае, не дух! — воскликнул он.

Человек удивленно вскрикнул, потом яростно взревел.

— Что за черт! Пусти, не то я сверну тебе шею.

Сама по себе эта угроза не подействовала бы на Джима, если бы не

знакомый голос.

— Дядя! — воскликнул он.

— Да это же Джим, черт меня подери! А еще кто? Провалиться мне на этом месте, да это же Родни Стоун! Какая нелегкая занесла вас сюда в такой час?

Мы вышли на освещенное луной место — перед нами стоял Чемпион Гаррисон собственной персоной, на плече большой узел, а лицо такое удивленное, что, не будь я до смерти напуган, я бы непременно улыбнулся.

— Мы исследуем, что тут скрывается, — ответил Джим.

— Исследуете, вон что? Да, капитана Кука из вас не выйдет, ни из одного, ни из другого, уж больно вы оба позеленели. Что с тобой, Джим, чего ты испугался?

— Я не испугался, дядя. Я ничего не боюсь, просто мне раньше не приходилось встречаться с духами и...

— С духами?

— Я был в доме, и мы видели привидение.

Чемпион присвистнул.

— Так вот что вам тут понадобилось! — сказал он. — Ну как, перемолвились вы с ним словечком?

— Оно исчезло.

Чемпион снова присвистнул.

— Слыхал я, что здесь водится какая-то нечисть, — сказал он, — но мой вам совет: держитесь от всего этого подальше. С людьми и на этом свете хлопот не оберешься, Джим, и нечего из кожи вон лезть, чтобы повстречаться еще и с выходцами с того света. Ну, а на Родни Стоуне совсем лица нет. Если б матушка увидела его сейчас, она бы уж больше никогда не пустила его в кузницу. Идите потихоньку, я вас догоню и провожу домой.

Мы прошли с полмили, когда Гаррисон нагнал нас, я заметил, что узла у него на плече уже не было.

Когда мы подошли почти к самой кузнице, Джим задал вопрос, который все время вертелся у меня на языке.

— А вы-то зачем ходили в замок, дядя?

— С годами у человека появляются обязанности, о которых несмышлениши, вроде вас, и понятия не имеют, — сказал он. — Когда вам будет под сорок, вы, может, и сами это поймете.

Больше нам ничего не удалось из него вытянуть; но хоть я был в ту пору еще совсем мальчишка, я слыхал разговоры про контрабандистов и про тюки, которые они ночью прячут в укромных местечках, так что с той

ночи стоило мне узнать, что береговая охрана поймала очередную жертву, я не успокаивался, пока не видел в дверях кузницы веселую физиономию Чемпиона Гаррисона.

Глава III

АКТЕРКА ИЗ ЭНСТИ-КРОССА

Я рассказал вам кое-что про Монахов дуб и про то, как мы там жили. Теперь, когда память возвратила меня в старые места, я с радостью задержусь там, ибо каждая нить из клубка прошлого тянет за собою другие нити. Когда я взялся за перо, меня одолевали сомнения, я не знал, достанет ли мне событий на целую книгу, но теперь вижу, что вполне мог бы написать книгу об одном только Монаховом дубе и о людях моего детства. Кое-кто из них был, без сомнения, суров и неотесан, но сквозь золотистую дымку времени все они кажутся мне милыми и славными. Вот наш добрый священник, мистер Джефферсон, он любил весь мир, кроме одного только мистера Слэка, баптистского проповедника в Клейтоне; или добросердечный мистер Слэк, — для него все люди были братья, кроме мистера Джефферсона, священника из Монахова дуба. А вот мосье Рюдэн, французский роялист, эмигрант, живший на Пэнгдинской дороге. Когда он узнал о поражении Буонапарте, с ним сделались судороги от счастья, а потом его сотрясла ярость, потому что это ведь было и поражение Франции; так что после битвы на Ниле он рыдал от восторга, а на другой день — от бешенства, то хлопая в ладоши, то топая ногами. Помню, какой он был худой, и как прямо держался, и как изящно помахивал тросточкой; его не могли сломить ни холод, ни голод, хотя и того и другого на его долю приходилось в избытке. Он был горд и обращался с людьми с такою важностью, что никто не осмеливался предложить ему еду или одежду. Помню, какие красные пятна выступили на его худых скулах, когда мясник преподнес ему говяжьи ребра. Он не мог от них отказаться, но, выходя из лавки с высоко поднятой головой, он через плечо метнул в мясника гордый взгляд и сказал:

— У меня есть собака, сударь!

Однако всю следующую неделю сытый вид был у самого мосье Рюдэна, а не у его собаки.

Помню еще фермера Пейтерсона, теперь бы его назвали радикалом, а в ту пору как только его не обзывали — и прихвостнем Пристли^[1], и прихвостнем Фокса^[2], а чаще всего изменником. Тогда мне и в самом деле казалось, что только очень дурной человек может хмуриться, услышав о победе англичан; и мы с Джимом не стояли в стороне, когда у ворот фермы

Пейтерсона сжигали соломенное чучело, изображавшее его самого. Но нам пришлось признаться, что он, может, и изменник, а все равно смельчак — как всегда, в коричневом сюртуке и в башмаках с пряжками, он большими шагами вышел из дому, прямо к нам, и отблески пламени плясали на его суровом лице школьного учителя. Ох, и задал же он нам головомойку, и как же мы были счастливы, когда наконец удалось потихоньку ускользнуть оттуда.

— Вы напичканы ложью! — сказал он. — Вы и вам подобные уже чуть не две тысячи лет проповедуете мир и только и делаете, что уничтожаете друг друга. Если бы все деньги, которые пошли на уничтожение французов, были потрачены на спасение англичан, вот тогда в самом деле стоило бы зажечь в окнах благодарственные свечи. Кто вы такие, как вы смели ворваться сюда и оскорбить человека, послушного закону?

— Мы народ Англии! — выкрикнул юный Овингтон, сын сквайра-тори.

— Это вы-то?! Да вы только и знаете, что скачки да петушинные бои, а что такое справедливость, об этом вы понятия не имеете! И вы осмеливаетесь говорить от имени народа Англии? Народ — это глубокий, могучий, безмолвный поток, а вы пена, пузыри, жалкая, бесполезная пена, которая плывет на поверхности.

Тогда он казался нам очень скверным человеком, но сейчас, оглядываясь назад, я склонен думать, что и мы, пожалуй, были не лучше.

А еще у нас были контрабандисты! Даунс кишел ими; ведь законная торговля между Францией и Англией была запрещена, и все шло теперь по этому каналу. Однажды вечером я лежал в темноте на общественном выгоне среди орляка, и мимо бесшумно, точно форель в ручье, проскользнуло мулов семьдесят, и каждого вел человек. Каждый контрабандист к тому же нес по крайней мере два бочонка настоящего французского коньяка, либо тюк лионского шелку, либо валансьенских кружев. Я знал Дэна Скейла, жоака контрабандистов, и Тома Хислопа, офицера береговой охраны, и помню, как однажды вечером они встретились.

— Будешь драться, Дэн? — спросил Том.

— Да, Том, так просто не сдамся.

И тогда Том вынул пистолет и выстрелил Дэну в голову.

— Не хотелось мне его убивать, — рассказывал он потом, — но я знал: мне с ним не справиться, нам ведь уже приходилось встречаться.

И Том сам заплатил какому-то стихотворцу из Брайтона, чтобы тот

сочинил эпитафию, и стихи эти всем нам казались очень искренними и хорошими. Они начинались так:

Увы! Не медлит пуля роковая,
Летит, чело младое пробивая, —
И пал он, вздох последний испустил,
Навеки очи томные смежил...

Там были и другие строчки, наверно, эпитафию еще и сегодня можно отыскать на Пэтчемском кладбище.

Однажды, вскоре после нашего похода в замок, я сидел дома, разглядывал всякие диковинки, которые отец развесил по стенам, и, как все ленивые мальчишки, от души жалел, что мистер Лилли не умер до того, как написал латинскую грамматику; матушка вязала что-то, сидя у окна, и вдруг удивленно вскрикнула:

— Боже милостивый! Какая вульгарная особа!

Матушка так редко говорила о ком-нибудь плохо (кроме генерала Буонапарте), что я вскочил и кинулся к окну. По улице медленно двигалась коляска, запряженная малорослой лошадкой, и в ней сидела чудная-пречудная дама. Сама толстая, поперек себя шире, а лицо такое красное, что багровые щеки и нос даже отсвечивают лиловым. На голове большущая шляпа с изогнутым белым страусовым пером, а из-под полей глядят дерзкие черные глаза. Глядят так гневно, с вызовом, точно она говорит каждому встречному: можете думать обо мне, что хотите, но уж я-то вас ни в грош не ставлю. На плечи ее накинуто было что-то вроде пунцовой мантильи, отделанной у шеи белым лебяжьим пухом, вожжи совсем провисли, а лошадь шла то по одной стороне дороги, то по другой — как вздумается. Коляска покачивалась, и голова в большущей шляпе тоже покачивалась в такт, и нам видно было то донце, то поля.

— Какой ужас! — воскликнула матушка.

— А что с ней?

— Да простит меня бог, если я ошибаюсь, но, по-моему, она пьяна, Родди.

— Смотрите-ка, — закричал я, — она остановилась у кузницы! Сейчас я все узнаю. — И, схватив шапку, я стремглав кинулся вон из дому.

В дверях кузницы Чемпион Гаррисон подковывал лошадь, и, когда я выскочил на улицу, он стоял на коленях, копыто было зажато у него под мышкой, а в руке он держал рашпиль. Женщина в коляске манила его

пальцем, он уставился на нее, и лицо у него было какое-то странное. Наконец он бросил рашпиль, подошел к ней, остановился у колеса и, покачивая головой, стал что-то ей говорить. А я проскользнул в кузницу, где Джим доделывал подкову, и стал смотреть, как он споро работает, как ловко загибает заклепки. Он все сделал, вынес подкову, а чудная женщина все разговаривала с его дядей.

— Это он? — донесся до меня ее вопрос.

Чемпион Гаррисон кивнул.

Она подняла на Джима глаза — в жизни я не видал у человека таких больших, таких черных, удивительных глаз. И хоть я был совсем мальчишка, я понял, что это обрюзгшее лицо было когда-то очень красивым. Она протянула руку (пальцы у нее шевелились, словно она играла на клавикордах) и тронула Джима за плечо.

— Надеюсь... надеюсь, ты здоров, — запинаясь, произнесла она.

— Совершенно здоров, сударыня, — ответил Джим, переводя взгляд с нее на дядю.

— И ты всем доволен?

— Да, сударыня, благодарю вас.

— И нет ничего такого, чего бы тебе очень хотелось?

— Да нет, сударыня, у меня все есть.

— Ну, иди, Джим, — строго сказал дядя. — Раздуй горн, эту подкову надо перековать.

Но женщина, видно, хотела еще поговорить с Джимом и рассердилась, что его отослали. Глаза ее сверкнули, она вскинула голову, а кузнец, казалось, пытался ее успокоить. Они долго шепотом переговаривались, и под конец она как будто утихомирилась.

— Так, значит, завтра? — громко спросила она.

— Завтра, — ответил он.

— Вы сдержите свое слово, а я сдержу свое, — сказала она и тронула кнутом лошадку.

И пока она не превратилась в красную точку далеко на белой дороге, кузнец все стоял с рашпилем в руках и смотрел ей вслед. Потом он обернулся, а лицо у него было печальное-печальное, никогда еще я его таким не видел.

— Джим, — сказал он, — это мисс Хинтон, она будет жить в «Кленах», возле Энсти-Кросса. Ты ей понравился, Джим, может, она тебе кой в чем поможет. Я ей пообещал, что завтра ты к ней сходишь.

— Не нужна мне ее помощь, дядя, и неохота мне ее видеть.

— Но ведь я пообещал, Джим! Ты ж не захочешь, чтоб я перед ней

оказался вралем. Ей бы только поговорить с тобой — ведь она совсем одна живет, скучно ей.

— Да о чем ей со мной говорить?

— Ну кто ее знает, а ей, видать, очень хочется, ведь женщине чего только не взбредет на ум. Вот уж Родни Стоун, верно, не отказался бы навестить добрую леди, ежели б думал, что станет от этого богаче.

— Ладно, дядя, если Родди пойдет со мной, я, пожалуй, схожу, — сказал Джим.

— Конечно, пойдет! Пойдете, Родни?

Одним словом, я согласился и понес все эти новости домой, моей матушке, — она была охотница до всяких безобидных сплетен. Узнав, куда я собираюсь, она покачала головой, но запрещать не стала, так что все уладилось.

До Энсти-Кросса было добрых четыре мили, но домик оказался премилый: уютный, весь в жимолости и диком винограде, крыльцо деревянное, на окнах частый переплет. Дверь нам отворила какая-то женщина, по виду служанка.

— Мисс Хинтон не может вас принять, — заявила она.

— Она сама нас позвала, — возразил Джим.

— А я-то тут при чем? — грубо ответила женщина. — Говорю вам, не может она вас принять.

Мы постояли в нерешительности.

— Вы ей все-таки скажите, что я здесь, — вымолвил наконец Джим.

— Скажите! Да как я ей скажу, когда ее и пушками теперь не разбудишь? Подите сами попробуйте, коли охота.

Она распахнула дверь, и в глубине комнаты в большом кресле мы увидели бесформенную фигуру и свесившиеся черные космы. И в уши нам ударил ужасающий храп, точно хрюкало стадо свиней. Мы только взглянули на нее и тут же выскочили за дверь и кинулись домой. Что до меня, я был еще совсем мальчишка и не понимал, смешно это или страшно; но Джим очень побледнел и расстроился.

— Никому ни слова, Родди, — сказал он.

— Только матушке.

— А я не хочу даже дяде говорить. Скажу, что она захворала, бедняжка. Довольно и того, что мы видели ее позор, не хватает еще, чтобы вся округа стала про нее сплетничать. Как подумаю, тошно становится и сердце щемит.

— Она и вчера была такая, Джим.

— Разве? А я и не заметил. Знаю только, что глаза у нее добрые и

сердце тоже, я это сразу увидал, когда она на меня поглядела. Может, она дошла до такого потому, что у нее нет друга.

Несколько дней он ходил как в воду опущенный. А я скоро совсем бы все это забыл, если бы не его несчастное лицо. Но это была не последняя наша встреча с женщиной в пунцовой мантилье; не прошло и недели, как Джим снова попросил меня пойти с ним в Энсти-Кросс.

— Она прислала дяде письмо, — сказал он. — Она хочет со мной поговорить, а мне легче, если ты тоже там будешь, Родди.

Я только обрадовался прогулке, но когда мы стали подходить к ее дому, Джим забеспокоился — боялся, как бы опять не вышло чего худого. Но страхи его скоро прошли, потому что, едва мы стукнули калиткой, она тут же выскочила из домика и побежала нам навстречу. Вид у нее был такой чудной — на плечах какая-то фиолетовая накидка, а лицо большое, красное и улыбается; будь я один, я б, наверно, пустился наутек. Джим и тот приостановился, словно не знал, как быть, но она встретила нас так сердечно, что мы скоро совсем освоились.

— Вы молодцы, что навелили старую одинокую женщину, — сказала она, — и мне надо перед вами извиниться, что во вторник вы зря потратили время, но отчасти вы сами тому виной: я подумала, что вы придете, и разволновалась, а стоит мне разволноваться, и у меня начинается нервная лихорадка. Бедные мои нервы! Вот смотрите, какие они у меня!

Она протянула вперед руки, пальцы все время подергивались. Потом взяла Джима под руку и пошла с ним по дорожке.

— Я хочу тебя узнать, узнать хорошенько, — сказала она. — С твоими дядей и тетей мы старые знакомые, и, хотя ты меня, конечно, не помнишь, я не раз держала тебя на руках, когда ты был еще младенцем. Скажи мне, дружок, — обернулась она ко мне, — как ты называешь своего приятеля?

— Малыш Джим, сударыня, — ответил я.

— Тогда я тоже стану звать тебя Малыш Джим, если ты не против. У нас, у людей пожилых, есть свои преимущества. А теперь пойдемте в комнаты и будем все вместе пить чай.

Она ввела нас в уютную комнату, ту самую, куда мы заглянули в прошлый раз, и там посредине стоял стол, накрытый белой скатертью, и на нем сверкало стекло, мерцал фарфор, на блюде громоздились краснощечие яблоки, а хмурая служанка только что внесла полную тарелку горячих сдобных булочек. Вы и сами понимаете, что мы отдали дань всему угощению, а мисс Хинтон опять и опять подливала нам чаю и подкладывала на тарелки то того, то другого. Дважды она вставала из-за стола и шла к буфету в дальнем углу комнаты, и оба раза Джим мрачнел,

ибо мы слышали, как стекло тихонько позвякивало о стекло.

— Послушай, дружок, — обратилась она ко мне, когда мы допили чай, — отчего это ты все озираешься по сторонам?

— Очень у вас красивые картины развешены по стенам.

— А какая тебе нравится больше всех?

— Вот эта! — Я показал на картину, висевшую прямо передо мной. На ней была изображена высокая стройная девушка; щечки у нее были такие румяные, глаза такие нежные и так она красиво была одета, что я в жизни не видел ничего прекраснее. В руке она держала букет цветов, а другой букет лежал у ее ног на деревянных мостках.

— Значит, эта лучше всех, да? — смеясь, переспросила мисс Хинтон. — Что ж, подойди и прочти вслух, что под ней написано.

Я подошел и прочитал:

— «Мисс Полли Хинтон в роли Пегги в день своего бенефиса в театре Хеймаркет, 14 сентября, 1782 г.».

— Так это актерка, — сказал я.

— Ах ты негодник! Ты это сказал так, будто актерка хуже других людей. А ведь совсем недавно герцог Кларенс, который в один прекрасный день может стать английским королем, женился на миссис Джордан, на актерке. А кто, по-вашему, изображен на этом портрете?

Она стояла прямо под картиной, скрестив руки на груди, и переводила взгляд огромных черных глаз с меня на Джима.

— Да где ваши глаза? — воскликнула она наконец. — Это я и есть мисс Полли Хинтон из театра Хеймаркет. Неужто вы никогда не слышали этого имени?

Пришлось нам признаться, что не слышали. Мы ведь выросли в провинции, и одного слова «актерка» было достаточно, чтобы привести нас в ужас. Для нас это было особое племя — о нем не принято говорить вслух, и над ним, точно грозовая туча, навис гнев небес. И сейчас, видя, какой была и какой стала эта женщина, мы воочию убедились, как господь карает неугодных ему.

— Ладно, — сказала мисс Хинтон, обиженно засмеявшись. — Можете ничего не говорить, и так вижу по вашим лицам, что вас учили обо мне думать. Так вот какое воспитание ты получил, Джим, — тебя учили считать дурным то, чего ты не понимаешь! Хотела бы я, чтобы в тот вечер ты был в театре: в ложах сидели принц Флоризель и четыре герцога — его братья, а все остроумцы и франты, весь партер стоя аплодировал мне. Если бы лорд Эйвон не посадил меня в свою карету, мне бы нипочем не довезти все цветы до моей квартиры на Йорк-стрит в Вестминстере. А теперь двое

неотесанных мальчишек смотрят на меня свысока!

Кровь бросилась Джиму в лицо, он был уязвлен: его называли неотесанным мальчишкой, намекнули, будто ему далеко до лондонской знати.

— Я ни разу не был в театре, — сказал он, — и ничего про них не знаю.

— И я тоже.

— Ладно, — сказала она, — я сегодня не в голосе, и вообще глупо играть в маленькой комнате да всего перед двумя зрителями, но все равно: представьте, что я перуанская королева и призываю своих соотечественников подняться против испанцев, которые их угнетают.

И тут прямо у нас на глазах эта неряшливая, распухшая женщина превратилась в королеву — самую величественную, самую надменную королеву на свете; она заговорила пылко и горячо, глаза ее метали молнии, и она так взмахивала белой рукой, что мы сидели как зачарованные. Поначалу голос ее звучал мягко и нежно, она словно убеждала нас в чем-то, потом заговорила о несправедливостях и свободе, о радости умереть за благородное дело, и он зазвенел громче, громче и наконец проник в самое сердце, и я уже хотел лишь одного — бежать отсюда, чтобы сейчас же умереть за отечество. И вдруг в одно мгновение все переменялось. Перед нами была несчастная женщина, которая потеряла свое единственное дитя и теперь оплакивает его. В голосе ее слышались слезы, она говорила так искренне, так безыскусственно, что нам обоим казалось, будто мы видим перед собой, тут, на ковре, мертвого ребенка, и сердца наши исполнились жалости и печали. Но не успели у нас на глазах высохнуть слезы, как она уже снова стала сама собой.

— Ну что, нравится? — спросила она. — Вот как я играла тогда, и Салли Сиддонс зеленела от злости при одном имени Полли Хинтон. «Пизарро» — хорошая пьеса.

— А кто ее написал, сударыня?

— Кто написал? Понятия не имею. Не все ли равно! Но для хорошей актрисы в этой пьесе есть великолепные строки.

— И вы больше не выступаете, сударыня?

— Нет, Джим, я бросила сцену, когда... когда она мне надоела. Но временами меня снова тянет на подмостки. Что может быть прекраснее запаха горящего масла в светильниках рампы и запаха апельсинов, доносящегося из партера! Но ты что-то совсем загрустил, Джим.

— Просто я все думаю про эту несчастную женщину и ее дитя.

— Полно, не надо! Сейчас я помогу тебе выкинуть ее из головы. Вот

озорница Присцилла из «Егозы». Представьте себе, что мать выговаривает дерзкой девчонке, а эта маленькая нахалка ей отвечает.

И она начала играть за обеих, столь точно изображая голос и повадки одной и другой, что нам казалось, будто перед нами вправду они обе: строгая старуха мать, которая приставляет к уху ладонь, точно слуховую трубку, и ее непоседа дочь. Несмотря на толщину, мисс Хинтон двигалась поразительно легко и, дерзко отвечая старой, согнутой в три погибели матери, совсем по-девичьи вскидывала голову и надувала губы. Мы с Джимом забыли про наши печали и покатывались со смеху.

— Вот так-то лучше, — сказала она, с улыбкой глядя на нас. — Мне не хотелось, чтобы вы пришли домой унылые, не то вас, пожалуй, в другой раз ко мне и не пустят.

Она сунулась в буфет, достала оттуда бутылку, стакан и поставила их на стол.

— Вы еще слишком молоды, чтобы пить молочко бешеной коровки, — сказала она, — но от этих представлений пересыхает в горле, так что...

И тут произошло нечто поразительное. Джим встал со стула и прикрыл бутылку рукой.

— Не надо! — сказал он.

Она взглянула ему прямо в лицо, и я никогда не забуду, как под его взглядом смягчился взгляд ее черных глаз.

— Ни капельки?

— Пожалуйста, не надо.

Она быстро выхватила у него бутылку и подняла так высоко, что на мгновение я подумал, будто она хочет выпить ее залпом. Но она швырнула бутылку в растворенное окно, и мы слышали, как та упала на дорожку и разлетелась вдребезги.

— Ну вот! — сказала мисс Хинтон. — Ты доволен, Джим? Давно уже никому не было дела, пью я или нет.

— Вы для этого слишком хорошая, слишком добрая, — сказал он.

— Хорошая! — воскликнула она. — Что ж, мне нравится, что ты так обо мне думаешь. И ты будешь рад, если я постараюсь не пить? Да, Джим? Что ж, раз так, я дам тебе обещание, если ты мне тоже кое-что пообещаешь.

— Что, сударыня?

— Поклянись, что будешь приходить ко мне два раза в неделю в дождь и вёдро, снег и ветер, чтобы я могла видеть тебя и разговаривать с тобой, — и я не возьму в рот ни капли. Ведь мне временами и в самом деле бывает очень одиноко.

Джим пообещал — и свято держал слово: не раз я, бывало, звал его

удить рыбу или ставить силки на кроликов, но он вдруг вспоминал, что сегодня должен быть у мисс Хинтон, и отправлялся в Энсти-Кросс. Поначалу ей, видно, трудно было удержаться, и Джим часто возвращался от нее чернее тучи, — наверно, все шло не совсем так, как ему хотелось. Но со временем бой был выигран, как выигрываешь все бои, когда воюешь достаточно упорно, и уже за год до возвращения моего отца мисс Хинтон сделалась другим человеком. И не только ее привычки изменились, она и на вид стала совсем другая: из нелепой особы, которую я описал вначале, она за этот год превратилась в самую красивую женщину во всей нашей округе. Джим гордился этим делом рук своих больше всего на свете, но делился своей радостью только со мной, ибо испытывал к мисс Хинтон нежность, какую всегда испытываешь к человеку, которому помог. И она, в свою очередь, тоже помогла ему: она рассказывала ему о разных местах, обо всем, что повидала на своем веку, и тем самым отвлекла его мысли от Суссекса, подготовила его к жизни в том широком мире, который расстилался за пределами нашего селения. Так обстояли дела к тому времени, когда был заключен мир и отец мой вернулся домой.

Глава IV

АМЬЕНСКИЙ МИР

Сколько женщин вознесли хвалу небесам, сколько женских сердец преисполнились счастья и благодарности, когда осенью 1801 года стало известно, что переговоры о мире закончены! Англия изливала свою радость в пляшущих на ветру флагах, в мерцающих в ночи огнях. Даже в Монаховом дубе мы вывесили флаги и в каждом окне выставили свечу, а над дверью гостиницы пылали на ветру две огромные буквы «G.R.»^[3]. Люди устали от войны — ведь мы воевали уже восемь лет, то с Голландией, то с Испанией, то с Францией, то со всеми вместе. И за все эти годы мы узнали только одно: что наша небольшая сухопутная армия не может справиться с французами на суше, зато французам вовек не справиться с нашим большим флотом на море. Мы вновь обрели кое-какое уважение к себе, а это было особенно важно после того, что произошло в Америке; и у нас прибавилось колоний, которые по той же причине оказались нам очень кстати; но наш государственный долг продолжал расти, а консоли — падать, и в конце концов даже Питт ужаснулся. Однако, знай мы тогда, что между Наполеоном и нами миру не бывать и что это лишь конец одного раунда, а вовсе не всего матча, было бы куда разумнее не делать этого перерыва, а сражаться до конца. Теперь же Франция получила назад двадцать тысяч своих отборных моряков, и они задали нам жару этим своим Булонским лагерем и десантным флотом прежде, чем нам удалось снова взять их в плен.

Батюшка мой был человек плотный, сильный, хоть и небольшого роста, не очень широкоплечий, но сложен крепко и ладно. Лицо его, красное от загара, блестело, и, хотя в ту пору ему сравнялось лишь сорок лет, оно было все иссечено морщинами, которые при малейшем волнении обозначались резче, так что он в один миг превращался из моложавого человека чуть ли не в старика. Особенно много морщинок было у глаз, да это и понятно: ведь он всю жизнь щурился из-за ветра и непогоды. Глаза у него были удивительные — ясные, очень голубые и на обветренном докрасна лице казались особенно яркими. От природы кожа у него была, вероятно, белая, ибо верхняя часть лба, обычно закрытая шляпой, была совсем такая же, как у меня, а коротко подстриженные волосы — рыжевато-каштановые.

Он с гордостью говорил, что служил на корабле, который последним покинул воды Средиземного моря в девяносто седьмом году и первым вошел в них в девяносто восьмом. Когда наш флот, точно свора гончих, ринулся из Сицилии в Сирию и обратно в Неаполь, пытаюсь найти потерянный след, мой отец служил третьим помощником на «Тезее», которым командовал Миллер. Вместе с тем же боевым капитаном он сражался на Ниле, и там его команда стреляла, таранила, дралась до тех пор, пока не опустился последний трехцветный флаг, и тогда они подняли запасный якорь и прямо у кабестана повалились друг на друга и заснули мертвым сном. Потом, уже вторым помощником на одном из тех грозных трехпалубников с почерневшими от пороха бортами и красными полосами под шпигатами, чьи рассевшиеся корпуса не рассыпались только потому, что были стянуты канатами, он вернулся в Неаполитанский залив и принес туда весть о победе на Ниле. Оттуда, в награду за верную службу, его перевели первым помощником на фрегат «Аврора», который блокировал Геную, и на этом корабле он служил до тех пор, пока наконец не был заключен мир.

Как хорошо я помню его возвращение домой! С тех пор прошло уже сорок восемь лет, но я вижу это яснее, чем события прошлой недели, — ведь память старика подобна подзорной трубе, которая отлично показывает все, что находится далеко, и затуманивает все, что вблизи.

С той минуты, как до нас докатился слух о переговорах, моя матушка была словно в лихорадке, так как понимала, что отец может явиться одновременно с письмом, извещающим о его приезде. Она говорила мало, но омрачала мою жизнь, требуя, чтобы я ходил чистый и аккуратный. Стоило ей услыхать стук колес на дороге, и взгляд ее тут же устремлялся на дверь, а руки сами собой начинали приглаживать красивые черные волосы. Она вышила белыми нитками по синему полю «Добро пожаловать», а по обеим сторонам красные якоря и окружила все это каймой из лавровых листьев; она хотела повесить эту ленту между двумя кустами сирени, что росли по обе стороны нашей двери. Лента была готова еще до того, как батюшка мог отплыть из Средиземного моря, и каждое утро, проснувшись, матушка первым делом смотрела, на месте ли лента и можно ли ее тотчас вывесить меж кустами.

Однако до подписания мира прошло еще много томительных месяцев, и для нашего семейства великий день наступил лишь в апреле следующего года. Помнится, все утро шел теплый весенний дождь, остро пахло землей, капли мягко стучали по набухавшим почкам каштанов позади нашего домика. К вечеру проглянуло солнце, я взял удочку и вышел из дому (я

пообещал Джиму пойти с ним на мельничную запруду), и что же, вы думаете, я увидел? У наших ворот стоял экипаж, запряженный двумя лошадьми, от которых шел пар, и в открытых дверцах кареты виднелась черная юбка и маленькие ножки моей матушки, а вместо кушака ее обхватили две руки в синем, и больше ничего было не видать. Я кинулся за лентой, прицепил ее к кустам, как было условлено, но когда кончил, снова увидел лишь юбку, ножки и две руки в синем, — все как было.

Наконец матушка спрыгнула на землю.

— Это Род, — сказала она. — Родди, милый, вот твой отец!

Я увидел красное лицо, на меня глядели добрые ярко-голубые глаза.

— Родди, мальчик мой, ты был совсем дитя, когда я в последний раз поцеловал тебя на прощание, а теперь тебя надо числить уже по другому разряду. Я от души рад видеть тебя, мой мальчик, а тебя, милая...

Руки в синем поднялись, и в дверцах уже опять были видны лишь ножки да юбка.

— Кто-то идет, Энсон, — покраснев, сказала матушка. — Может, ты выйдешь и пойдем все в дом?

И тут мы заметили, что хоть лицо у него веселое, но правая нога как-то неестественно вытянута и неподвижна.

— Ах, Энсон, Энсон! — вскричала матушка.

— Тише, тише, милая, это всего лишь кость, — сказал он и обеими руками приподнял колено. — Сломал в Бискайском заливе, но корабельный врач выудил оба конца и соединил, только они еще не совсем срослись. Господи боже мой, да что ж ты так побелела? Это пустяки, сейчас сама увидишь.

Он соскочил с подножки и, опираясь на палку, быстро поскакал на одной ноге по дорожке, нырнул под вышитую лавровыми листьями ленту и впервые за пять лет переступил порог собственного дома. Когда мы с кучером внесли его матросский сундучок и два дорожных мешка, он в старом, выдавшем виды мундире сидел в своем кресле у окна. Матушка плакала, глядя на его ногу, а он загорелой, коричневой рукой гладил ее по волосам. Другой рукой он обхватил меня и притянул к своему креслу.

— Ну вот, мир заключен, теперь я могу лежать и поправляться, пока снова не потребуюсь королю Георгу, — сказал он. — Это было в Бискайском заливе, дул брамсельный ветер, шла бортовая волна, и карронада сорвалась. Стали мы ее закреплять, она и прижала меня к мачте. Да, — прибавил он, оглядывая комнату, — все мои диковинки на местах: рог нарвала из Арктики, и рыба-пузырь с Молуккских островов, и гребки с острова Фиджи, и картина — «Ça ira»^[4], а за ним гонится эскадра лорда

Хотема. И рядом ты, Мэри, и ты тоже, Родди, и дай бог здоровья карронаде, которая привела меня в такую уютную гавань и из-за которой мне сейчас не грозит приказ сниматься с якоря.

Его длинная трубка, табак — все было у матушки наготове; он закурил и все переводил взгляд с матушки на меня и с меня опять на нее, словно никак не мог на нас наглядеться. Хоть я был еще совсем мальчишка, но и тогда понимал, что об этой минуте он часто мечтал, стоя в одиночестве на вахте, и что при мысли о ней у него становилось веселее на душе в самые тяжкие часы. Иногда он дотрагивался рукой до матушки, иногда до меня; так он сидел, и сердце его было переполнено, и словам не было места; а в комнате сгущались тени, и во тьме мерцали освещенные окна гостиницы. Потом матушка зажгла лампу и вдруг опустилась на колени, и батюшка тоже опустился на одно колено, и вот так, стоя рядом, они вознесли хвалу господу за его многие милости. Когда я вспоминаю своих родителей той поры, яснее всего я вижу их именно в эту минуту: нежное лицо матушки со следами слез на щеках и голубые глаза батюшки, обращенные к потемневшему потолку. Помню, углубившись в молитву, он покачивал дымящейся трубкой, и, глядя на него, я невольно улыбался сквозь слезы.

— Родди, мальчик мой, — заговорил он, когда мы отужинали, — ты уже становишься мужчиной и, надеюсь, как и все мы, пойдешь служить на флот. Ты уже подросток, настало время и тебе пристегнуть к поясу кортик.

— И оставить меня не только без мужа, но и без сына! — воскликнула матушка.

— Ну, у нас еще есть время, — сказал батюшка. — Сейчас, когда подписан мир, они предпочитают увольнять в отставку, а не набирать пополнение. Но я ведь совсем не знаю, какой вышел толк из твоего учения, Родди. Ты учился куда больше моего, а все же я, наверно, сумею тебя проверить. Историю ты изучал?

— Да, батюшка, — довольно уверенно ответил я.

— Тогда скажи: сколько линейных кораблей участвовало в Кампердаунской битве?

Я не знал, что отвечать, и он огорченно покачал головой.

— Что же это ты, на флоте есть люди, которые вовсе не ходили в школу, а сразу скажут, что у нас было семь семидесятичетырехпушечных кораблей, семь шестидесятичетырехпушечных и два пятидесятипушечных. Вон висит картина — погоня за «Са іга». Какие суда взяли его на абордаж?

И опять я должен был признаться, что не знаю.

— Что же, отец еще может поучить тебя кое-чему! — воскликнул он, торжествующе глядя на матушку. — А географию ты изучал?

— Да, батюшка, — ответил я уже без прежней уверенности.

— Так сколько миль от Маона до Альхесираса?

Я только головой покачал.

— Если Уэссан лежит от тебя в трех лигах по правому борту, какой английский порт к тебе ближе всего?

И этого я не знал.

— Да, — сказал он, — видно, в географии ты так же силен, как в истории. Эдак тебе нипочем не получить офицерского свидетельства. А считать ты умеешь? Ну ладно, поглядим, сумеешь ли ты хоть подсчитать мои призовые.

Он бросил лукавый взгляд на матушку, она положила вязанье на колени и серьезно взглянула на него.

— Ты меня даже не спросила про призовые, Мэри, — сказал он.

— Средиземное море для них не место, Энсон. Ты ведь сам говорил, за призовыми надо плыть в Атлантику, а в Средиземное море — за славой.

— Последнее плавание принесло мне и то и другое, потому что я сменил линейный корабль на фрегат. Ну-ка, Родди, мне полагается два фунта с каждой сотни фунтов, после того как призовой суд закончит свою работу. Когда мы сторожили у Генуи Массену, мы задержали семьдесят шхун, бригов и одномачтовых шхун с вином, продовольствием и порохом. Лорд Кейт, конечно, захочет получить кусок пожирнее, но это уж дело призового суда. Будем считать, что на мою долю придется по четыре фунта, что же я тогда получу с семидесяти?

— Двести восемьдесят фунтов, — ответил я.

— Да это ж целое богатство, Энсон! — воскликнула матушка и захлопала в ладоши.

— Испытание продолжается, Родди! — провозгласил батюшка, взмахнув трубкой. — Мы задержали барселонский фрегат «Хебек»; у него на борту было двадцать тысяч испанских долларов, то есть четыре тысячи фунтов стерлингов. Сам корабль стоит еще тысячу фунтов. Какова моя доля?

— Сто фунтов.

— Ого, сам корабельный эконо́м не сосчитал бы быстрее! — радостно воскликнул батюшка. — Счита́й дальше! Мы прошли Гибралтарский пролив и направились к Азорам, там мы встретились с «Сабиной» — она шла с острова Маврикия с грузом сахара и пряностей. Мне она даст не меньше тысячи двухсот фунтов, Мэри, и теперь тебе уже не надо будет пачкать твои тоненькие пальчики, дорогая, не надо будет выгадывать каждый грош из моего нищенского жалованья.

Все эти годы матушка без единой жалобы боролась с нуждой, но сейчас, когда всему этому так неожиданно пришел конец, она с рыданиями припала к плечу батюшки. Прошло много времени, прежде чем батюшка смог продолжить экзамен по арифметике.

— Считай, что все это уже у тебя в руках, Мэри, — сказал он, проведя ладонью по глазам. — Вот, ей-богу, девочка, дай только нога заживет, и мы съездим с тобой в Брайтон, развлечемся немного, и пусть мне больше не ступить на палубу, если ты не будешь там самая нарядная! Но почему же ты так хорошо считаешь, Родди, а историю и географию вовсе не знаешь?

Я попытался объяснить ему, что на суше и на море арифметика одна и та же, а история и география разные.

— Ладно, — заключил он, — чтобы не попасть впросак, тебе надо только уметь считать, а в остальном была бы лишь голова на плечах. В нашем роду все чувствовали себя в море как дома. Лорд Нельсон обещал мне тебя пристроить, а уж он своему слову хозяин.

Итак, мой отец вернулся домой, и он был такой хороший, такой добрый, что любой мальчишка мог бы мне позавидовать. Хотя родители мои поженились уже очень давно, они жили вместе так недолго, что походили скорее на новобрачных — любовь их не успела еще ни остыть, ни потускнеть. Позднее я убедился, что среди моряков есть люди неотесанные, любители посквернословить, но батюшка мой был не таков, и, хотя ему приходилось бывать во всяких переделках, он всегда оставался терпеливым, добродушным человеком и для всякого в нашем селении у него находились и улыбка, и веселое словцо. Он чувствовал себя хорошо в любом обществе: сживал за стаканом вина со священником и с сэром Джеймсом Овингтоном; а мог часами сидеть и с моими скромными друзьями в кузнице — с Чемпионом Гаррисоном, с Джимом и с другими — и рассказывать им про Нельсона и его моряков, и, слушая его, Чемпион Гаррисон в волнении сжимал ручищи, а глаза Джима разгорались, точно угли в кузнечном горне.

Батюшка, как и многие другие ветераны, был уволен в запас с сохранением половины жалованья, и, таким образом, он почти два года прожил дома. За все это время он лишь однажды слегка поспорил с матушкой. Причиной размолвки оказался я, а так как она послужила началом немаловажных событий, я вам о ней расскажу. Это было первое в цепи событий, которые сказались не только на моей судьбе, но и на судьбе людей куда более значительных.

Весна 1803 года выдалась ранняя, и уже в середине апреля каштаны покрылись густой листвой. Однажды вечером мы сидели и пили чай; вдруг

за окном послышался скрип песка и в дверях показался почтальон с письмом в руках.

— Это, наверно, мне, — сказала матушка.

И в самом деле, письмо было адресовано миссис Мэри Стоун в Монахов дуб, конверт надписан весьма изящным почерком, а на обороте красовалась алая печать величиной с полкроны и в середине ее — летящий дракон.

— Как ты думаешь, Энсон, от кого это?

— Я надеялся, что от лорда Нельсона, — ответил батюшка. — Мальчику пора бы уже получить патент. Ну, а раз письмо адресовано тебе, значит, оно не может быть от какого-нибудь важного лица.

— Вот как! — воскликнула матушка, делая вид, что обиделась. — Вам придется просить прощения за ваши слова, сэр, ибо письмо не от кого-нибудь, а от самого сэра Чарльза Треджеллиса, моего родного брата.

Имя своего замечательного брата матушка произнесла, почтительно понизив голос, и, сколько я помню, так было всегда, поэтому и я привык относиться к его имени с благоговением. И ничего удивительного: ведь имя это упоминали всякий раз лишь в связи с каким-нибудь особенным, необыкновенным событием. Однажды мы слышали, что он был в Виндзоре, у короля. Он часто бывал в Брайтоне с принцем. Случалось, до нас докатывались отголоски его славы, как, например, в случае, когда его Метеор обскакал в Ньюмаркете Игема, лошадь герцога Куинсберри, или когда он открыл в Бристоле Джема Белчера и показал его лондонским любителям бокса. Но чаще всего мы слышали о нем либо как о друге какой-нибудь знаменитости, либо как о законодателе мод, короле щеголей, человеке, который одевается лучше всех в Лондоне. Батюшка, однако, вовсе не разделял восторгов матушки.

— А-а, и что ему надо? — спросил он не слишком дружелюбно.

— Я написала ему, что Родди стал совсем взрослый; понимаешь, Энсон, ведь у него нет ни жены, ни детей, вот я и подумала, может, он захочет помочь нашему мальчику преуспеть в жизни.

— Мы можем прекрасно обойтись без него, — проворчал батюшка. — Он бросил нас в дурную погоду, а сейчас, когда светит солнце, он нам не нужен.

— Нет, ты его не знаешь, Энсон, — горячо возразила матушка. — У Чарльза на редкость доброе сердце; просто сам он живет очень благополучно и оттого не понимает, что у других могут быть какие-то затруднения. Все эти годы я отлично знала, что стоит мне только попросить, и он ни в чем не откажет.

— Слава богу, Мэри, что тебе ни разу не пришлось испытать такое унижение. Не нужна мне его помощь.

— Но ведь надо подумать о Родди.

— У Родди есть все, что требуется для матросского сундучка. А больше ему ничего не нужно.

— У Чарльза такие связи в Лондоне! Он мог бы познакомить Родди с самыми влиятельными людьми. Ну неужели ты станешь поперек дороги собственному сыну?

— Давай-ка сперва посмотрим, что он пишет, — сказал батюшка.

И вот что прочла вслух матушка:

*«Сент-Джеймс, Джермин-стрит, 14.
15 апреля 1803 года.*

Дорогая сестра Мэри!

В ответ на твое письмо заверяю тебя, что я отнюдь не лишен тех возвышенных чувств, которые составляют главное украшение человечества. Правда, последние годы я был занят чрезвычайно важными делами и редко брал в руки перо, и за это меня упрекали многие *des plus charmants*^[5] представительницы твоего очаровательного пола. В настоящую минуту я лежу в постели (вчера я допоздна оставался на балу у маркизы Дуврской, так как желал оказать ей внимание), и письмо это под мою диктовку пишет мой слуга Амброз, очень ловкая бестия.

Мне любопытно было услышать о моем племяннике Родди (*mon Dieu, quel nom*^[6]). И когда на следующей неделе я поеду в Брайтон с визитом к принцу, я сделаю остановку в Монаховом дубе, чтобы повидать вас обоих — тебя и его. Передай поклон супругу.

Твой неизменно преданный брат,

Чарльз Треджеллис».

— Ну, что ты на это скажешь? — дочитав письмо, торжествующе воскликнула матушка.

— Скажу, что письмо писал фат, — резко ответил батюшка.

— Ты слишком строг к нему, Энсон. Вот узнаешь его поближе и станешь о нем лучшего мнения. Но он пишет, что приедет на следующей неделе. Сегодня уже четверг, а у меня еще праздничные занавески не

повешены и простыни не переложены лавандой!

В растерянности матушка выбежала из комнаты, а отец, явно не в духе, остался сидеть, опершись подбородком на руки, и я уже вовсе не знал, что мне и думать о нашем знатном родиче и обо всем, что может принести нашей семье его приезд.

Глава V

ЩЕГОЛЬ ТРЕДЖЕЛЛИС

Мне шел семнадцатый год, я уже начал бриться, и сельская жизнь стала меня тяготить — я жаждал повидать мир. Жажда моя была тем сильнее, что я не смел заговаривать об этом, ибо при малейшем намеке на мой отъезд в глазах у матушки появлялись слезы. Но сейчас, когда вернулся отец, мне было легче покинуть родной дом, и я нетерпеливо ожидал дядю, надеясь, что он поможет мне наконец вступить в жизнь.

Вы, наверно, и сами понимаете, что все мои помыслы и надежды были связаны с профессией моего батюшки, ибо с самого детства, стоило мне увидеть, как вздымаются волны, или почувствовать соленый привкус моря на губах, и тотчас во мне начинала играть кровь пяти поколений моряков. Только подумайте, что маячило в ту военную пору перед глазами мальчика, живущего на побережье! Дойдя до Уолстонбери — а до него было рукой подать, — я видел паруса французских *masse-marées*^[7] и каперов. Не раз слышал я и гром пушек, доносящийся с моря. Моряки рассказывали нам, как, отплыв поутру из Лондона, они до наступления ночи уже принимали бой или как, отплыв из Портсмута и еще видя огни маяка Сент-Хеленс, они своими ноками реев уже задевали ноки реев противника. Вся их жизнь проходила в постоянной опасности, и именно это привлекало к ним наши сердца, и, сидя зимой у огня, мы без конца говорили о нашем дорогом Нельсоне, о Кадди Коллингвуде, о Джонни Джервисе и всех прочих не как о важных адмиралах, увенчанных титулами и званиями, но как о добрых друзьях, которых мы любили и почитали превыше всех. Во всей Англии не нашлось бы мальчишки, который не мечтал бы сражаться под их командой.

Но теперь, когда наступил мир и корабли, что совсем недавно бороздили Ла-Манш и Средиземное море, стояли расснащенные в гаванях, морские просторы манили нас куда меньше. Теперь я дни и ночи напролет мечтал о Лондоне, об этом огромном городе, где живут мудрецы и знаменитости, откуда стремится неиссякаемый поток экипажей и толпы запыленных людей, которые мелькают у нас перед окнами. Именно эта сторона столичной жизни открылась мне прежде всего, и поэтому в моем мальчишеском воображении Лондон был как бы огромной конюшней с бесчисленным множеством карет, которые разъезжались по всем дорогам Англии. Но потом я услышал от Чемпиона Гаррисона, что там живут

боксеры, и от батюшки, что там живут адмиралы, и матушка рассказала мне про жизнь брата и его знаменитых друзей, и в конце концов меня стало снедать нетерпение, я жаждал увидеть собственными глазами это поразительное сердце Англии. Поэтому приезд дяди казался мне лучом света во тьме, хотя я не смел надеяться, что он возьмет меня с собой на те высоты, где он обитал. Матушка же, напротив, так верила то ли в его доброе сердце, то ли в свою способность убеждать, что сразу принялась тайком готовить все необходимое для моего отъезда.

Но если даже меня, покладистого и спокойного, угнетала ограниченность сельского существования, то какой же мукой было оно для живого и пылкого Джима! Я впервые почувствовал, что в сердце у него угнездилась горечь, когда через несколько дней после того, как пришло письмо от дяди, мы с Джимом бродили по холмам.

— Что же мне делать, Родди? — воскликнул он. — Я кую подкову, и зачеканиваю кромку, и зажимаю ее клещами, и заклепываю ее, и пробиваю в ней пять дырок — и вот она уже готова. Потом я кую другую подкову и третью, и раздуваю мехи, и подсыпаю уголь в горн, и подпиливаю два-три копыта, и на том кончается дневная работа, а назавтра опять все сначала, и так изо дня в день. Ну неужели я только для этого родился на свет?

Я поглядел на его гордый орлиный профиль, на высокую гибкую фигуру и подумал, что, наверно, во всей Англии нет юноши красивее и привлекательнее.

— Твое место в армии или на флоте, Джим, — сказал я.

— Хорошо тебе говорить! — воскликнул он. — Но если ты пойдешь на флот, а, видно, так оно и будет, ты пойдешь офицером и, значит, будешь приказывать. А я буду среди тех, кто рожден лишь исполнять приказы.

— Офицер тоже исполняет приказы высших начальников.

— Но офицера никто не выпорот. Несколько лет назад я видел в трактире одного беднягу, у него вся спина была иссечена красными полосами — так боцман его отделал плетью. «Кто же это приказал вас выпороть?» — спросил я. «Капитан», — ответил он. «А что бы вам было, если б вы убили его на месте?» — спросил я. «Повесили бы на ноке рея», — ответил он. «Значит, я бы там и болтался, будь я на вашем месте», — сказал я и сказал это от чистого сердца. Я ничего не могу с собой поделат, Род! Сидит во мне что-то такое, и никуда от этого не денешься!

— Знаю я, ты горд, как Люцифер, — сказал я.

— Что ж, Родди, такой уж я уродился, и ничего тут не поделаешь. Конечно, так труднее жить. Я непременно должен быть сам себе хозяин, и

на свете есть только одно место, где я могу этого добиться.

— Где же, Джим?

— В Лондоне. Мисс Хинтон столько рассказывала мне про него, что, мне кажется, я его знаю, как свои пять пальцев. Она любит про него рассказывать, а меня хлебом не корми — дай послушать. Я все держу в голове, я прямо вижу, где театры, где река течет, где королевский дворец, а где дворец принца; и где живут боксеры, я тоже знаю. В Лондоне я мог бы добиться признания.

— Как?

— Неважно, Род. Я знаю, что мог бы, и непременно добьюсь. «Обожди! — говорит дядя. — Обожди, и ты получишь все, чего желаешь». Он всегда так говорит, и тетка тоже. А почему я должен ждать? Чего я здесь дождусь? Нет, Родди, не стану я больше губить свою молодость в этом захолустье, сниму-ка я фартук, да и пойду искать счастья в Лондоне, и уж вернусь в Монахов дуб не хуже вон того господина.

Он кивнул в сторону дороги; по ней из Лондона катила малиновая коляска, в которую цугом была впряжена пара гнедых кобыл. Вожжи и вся сбруя желтовато-коричневые, на самом джентльмене — редингот в цвет сбруи, а на запятках стоит слуга в темной ливрее. Они промелькнули мимо нас в облаке пыли, и я лишь мельком увидел бледное, красивое лицо хозяина и темную, высохшую физиономию слуги. Я бы никогда о них и не вспомнил, если бы, подойдя к селению, не увидел эту коляску снова: она стояла у ворот гостиницы, и конюхи суетливо выпрягали лошадей.

— Джим! Да это ж, наверно, мой дядя! — воскликнул я и со всех ног кинулся домой.

У наших дверей стоял темнолицый слуга. В руках у него была подушечка, а на ней — крошечная пушистая болонка.

— Прошу прощения, сударь, — обратился он ко мне самым учтивым тоном, — я не ошибся в своем предположении, это действительно дом лейтенанта Стоуна? В таком случае, быть может, вы будете так любезны передать миссис Стоун записку от ее брата, сэра Чарльза Треджеллиса — сэр Треджеллис сию минуту вверил эту записку моему попечению.

Его цветистая речь привела меня в полное замешательство — я в жизни не слыхал ничего подобного. На его иссохшем лице темнели глазки-буравчики, и он в одно мгновение просверлил ими меня, наш дом, испуганное лицо матушки, выглянувшей из окна. Родители были в гостинной, и матушка прочла нам записку дяди.

«Дорогая Мэри, — писал он, — я остановился в гостинице,

так как я несколько gavage^[8] из-за пыли на ваших суссекских дорогах. Надеюсь, после лавандовой ванны я вновь обрету возможность появиться перед дамой. А пока посылаю в залог Фиделио. Пожалуйста, дай ему полпинты подогретого молока и добавь туда шесть капель неразведенного коньяку. Существа милее и преданнее не сыскать в целом свете. Toujours à toi^[9]

Чарльз».

— Пусть он войдет! Пусть войдет! — радушно воскликнул батюшка и кинулся к дверям. — Входите, мистер Фиделио. У каждого свой вкус, и, по моему, грешно разводить шесть капель полпинтой — это ведь будет уже не грог, а так, водица. Но если вам нравится, сделайте одолжение.

По темному лицу слуги промелькнула улыбка, но в следующее мгновение на нем снова была почтительная маска.

— Вы находитесь во власти некоторого заблуждения, сэр, если мне позволено будет так сказать. Меня зовут Амброз, и я имею честь быть камердинером сэра Чарльза Треджеллиса. А Фиделио — вот он, на подушке.

— Тьфу, да это пес! — с отвращением сказал батюшка. — Положите его у камина. И почему его надо поить коньяком, когда столько христиан не могут себе этого позволить?

— Ну что ты, Энсон! — сказала матушка, принимая из рук слуги подушку. — Передайте, пожалуйста, сэру Чарльзу, что его желание будет исполнено и что мы ждем его в любое удобное ему время.

Слуга мгновенно исчез, но через несколько минут вернулся с плоской коричневой корзинкой.

— Это закуска, сударыня, — сказал он. — Вы позволите мне накрыть на стол? Сэр Чарльз привык к определенным блюдам и пьет лишь некоторые вина, так что, когда мы едем в гости, мы берем их с собой.

Он раскрыл корзинку, и через минуту стол уже сверкал серебром и хрусталем и уставлен был всевозможными деликатесами. Амброз все делал так быстро, ловко и бесшумно, что покорила не только меня, но и батюшку.

— Если вы так же отважны, как и скоры на руку, из вас вышел бы отличный моряк, — сказал он. — Вам никогда не хотелось иметь честь служить своему отечеству?

— Я имею честь, сэр, служить сэру Чарльзу Треджеллису, и другого хозяина мне не надо, — ответил Амброз. — Теперь я доставлю из гостиницы несессер, и тогда все будет готово.

Он вернулся, неся под мышкой большую, отделанную серебром шкатулку, и сразу же вслед за ним появился и сам джентльмен, чей приезд вызвал весь этот переполох.

Когда дядя вошел в комнату, я первым делом заметил, что один глаз у него распух и был величиною с яблоко. При виде этого чудовищного блестящего глаза у меня перехватило дыхание. Но почти тотчас я разглядел, что он просто держит перед глазом круглое стеклышко и оно-то и увеличивает глаз. Он оглядел всех нас по очереди, потом очень изящно поклонился матушке и поцеловал ее в обе щеки.

— Разреши сделать тебе комплимент, дорогая Мэри, — сказал он удивительно приятным, мелодичным голосом. — Уверяю тебя, деревенский воздух сотворил с тобой истинное чудо, и я буду горд видеть мою красавицу сестру на Пэл-Мэл. Ваш слуга, сэр, — продолжал он, протягивая руку отцу. — Всего неделю назад я имел честь обедать с моим другом, лордом Сент-Винсентом, и воспользовался случаем упомянуть ваше имя. Смею вас заверить, сэр, что в адмиралтействе вас помнят, и, надеюсь, вы в скором времени ступите на ют вашего собственного семидесятичетырехпушечного корабля. А это, видно, и есть мой племянник?

Он дружески положил руки мне на плечи и оглядел меня с ног до головы.

— Сколько тебе лет, племянник? — спросил он.

— Семнадцать, сэр.

— Ты выглядишь старше. На вид тебе меньше восемнадцати не дашь. Он выглядит вполне сносно, Мэри, право же, вполне сносно. Он не умеет себя подать, ему не хватает *tournure*^[10] — в нашем неуклюжем языке для этого нет слова. Но вид у него цветущий.

Дядя переступил порог нашего дома всего минуту назад, но уже успел поговорить с каждым из нас, причем сделал это так легко и изящно, что казалось, будто он знаком со всеми нами долгие годы. Теперь он стоял на коврике перед камином, между матушкой и отцом, и я мог его как следует разглядеть: очень крупный мужчина, широкоплечий, статный, с тонкой талией, широкими бедрами, стройными ногами и на редкость маленькими ступнями и руками. Лицо у него было бледное, красивое, выдающийся подбородок, резко очерченный нос, большие голубые, широко раскрытые глаза, в глубине которых все время плясали лукавые огоньки. На нем был темно-коричневый длиннополый сюртук с высоким, до самых ушей воротником; черные панталоны, шелковые чулки и очень маленькие остроконечные туфли, начищенные до такого блеска, что сверкали при

малейшем движении; жилет черного бархата открывал взгляду вышитую манишку и высокий гладкий белый галстук, завязанный под самым подбородком, так что он держал голову очень высоко. Дядя стоял легко, непринужденно, заложив большой палец одной руки в прорезь жилета, а два пальца другой — в кармашек. Я глядел на него с гордостью: такой великолепный господин с такими уверенными манерами приходится мне кровной родней! И по глазам матушки, когда они обращались на него, я видел, что она чувствует то же, что и я.

Все это время Амброз стоял в дверях, точно бронзовое изваяние, держа в руках большую, оправленную в серебро шкатулку. Теперь он переступил порог.

— Прикажете отнести это в вашу спальню, сэр Чарльз? — спросил он.

— Ах, прошу прощения, сестра, — воскликнул дядя, — я столь старомоден, что у меня есть свои принципы. В наш развращенный век это анахронизм, я знаю! Один из моих принципов: во время путешествий всегда держать при себе мою batterie de toilette^[11]. Никогда не забуду, какие муки я претерпел несколько лет назад из-за того, что забыл об этой предосторожности. Должен отдать справедливость Амброзу: это было еще до того, как он занялся моими делами. Мне пришлось два дня подряд надевать одни и те же манжеты. На третье утро слуга был так потрясен видом моих страданий, что разрыдался и принес пару манжет, которые он у меня украл.

Дядя рассказывал все это с печальным лицом, но в глазах у него плясали все те же лукавые огоньки. Он протянул батюшке раскрытую табакерку, а Амброз тем временем вышел из комнаты следом за матушкой.

— Если вы возьмете понюшку из моей табакерки, вы окажетесь сопричисленным к самому блестящему обществу.

— Неужели, сэр! — коротко ответил батюшка.

— Моя табакерка к вашим услугам, ведь вы мой свояк, и к твоим тоже, племянник, и я прошу тебя, возьми понюшку. Это знак самого искреннего моего благорасположения. Кроме здесь присутствующих, к ней допущены, пожалуй, всего четыре человека: принц, разумеется; потом мистер Питт; мосье Отто, французский посланник; и лорд Хоксбери. Правда, мне иногда кажется, что с лордом Хоксбери я поспешил.

— Весьма польщен, сэр, — сказал отец, подозрительно глядя на гостя из-под кустистых бровей: лицо у дяди серьезное, а в глазах бесенята, кто его знает, как следует отнестись к его словам.

— Женщина, сэр, может дарить любовь, — сказал дядя. — Мужчина — право пользоваться своей табакеркой. Ни то, ни другое нельзя

предлагать кому попало. Это дурной тон, нет, хуже, это безнравственность. Как раз на днях у Ватъе я положил на стол открытую табакерку, и вдруг какой-то ирландский епископ бесцеремонно запустил в нее пальцы. «Человек, — крикнул я, — мою табакерку замарали, уберите!» Епископ, разумеется, вовсе не желал меня оскорбить, но эти господа должны знать свое место.

— Епископ! — воскликнул батюшка. — Высоко берете, сэр.

— Да, сэр, — ответил дядя, — лучшей эпитафии на своей могиле я бы не желал.

Тут вошла матушка, и мы все направились к столу.

— Прости, что я привез с собой целую кладовую, Мэри, пусть это не покажется тебе неуважительным. Но я нахожусь под наблюдением Абернети и должен воздерживаться от ваших жирных сельских кушаний. Этот скаредный шотландец разрешает мне только немного белого вина и холодную птицу.

— Вот бы вам попасть на блокирующие суда, сэр, когда дует левантинец, сказал батюшка. — Одна солонина да червивые сухари, да иногда еще посыльное судно привезет ребра жесткого, как подошва, берберийского быка. Вот где вам была бы голодная диета, сэр.

Дядя сразу же принялся расспрашивать батюшку про флотскую службу, и все время, пока мы сидели за столом, отец рассказывал о Ниле, о блокаде Тулона и осаде Генуи — обо всем, что он видел и делал. И всякий раз, когда отец замолкал, подыскивая нужное слово, дядя тотчас ему подсказывал, так что трудно было понять, кто же из них осведомлен лучше.

— Нет, я почти ничего не читаю, — сказал дядя, когда батюшка с удивлением спросил, откуда ему все известно. — Стоит мне заглянуть в газету, и я сразу вижу: «Сэр Ч. Т. сделал то-то» или «Сэр Ч. Т. сказал то-то», — так что я совсем перестал просматривать газеты. Но к человеку моего положения все известия стекаются сами собой. Герцог Йоркский рассказывает мне утром о делах в армии, днем лорд Спенсер болтает со мной о флоте, а Дандес шепчет вечером мне на ушко, что произойдет на заседании кабинета министров, так что мне вовсе незачем читать «Таймс» или «Морнинг кроникл».

Тут он перешел к рассказам о лондонском высшем свете — он рассказывал батюшке о его начальниках из Адмиралтейства, а матушке — о городских красавицах и знатных дамах, которых он встречал на аристократических балах в залах Алмэка, и все это легким, беспечным тоном, так что никто не знал, то ли смеяться, то ли принимать все это всерьез. Ему, верно, льстило, что мы все трое с жадностью глотаем каждое

его слово. Одних людей он ставил высоко, других пониже, но даже и не пытался скрыть свое глубокое убеждение, что один человек выше всех, что именно в сравнении с ним надо оценивать всех прочих, и человек этот — сэр Чарльз Треджеллис.

— Что же касается короля, — сказал он, — я, разумеется, l'ami de famille^[12] и даже вам могу рассказать не все, ибо пользуюсь его особым доверием.

— Боже, благослови короля и храни его от всего дурного! — воскликнул батюшка.

— Приятно слышать, — сказал дядя. — Только в провинции можно найти искреннюю преданность, в городе сейчас модно насмехаться и подтрунивать над подобными чувствами. Король благодарен мне, потому что я всегда проявлял интерес к его сыну. Ему приятно сознавать, что среди людей, окружающих принца, есть человек со вкусом.

— А принц? — спросила матушка. — Он хорош собой?

— Он прекрасно сложен. Издали его даже принимают за меня. И одевается со вкусом, хотя, если мы долго не видимся, он начинает меньше следить за собой. Вот увидите, завтра я непременно обнаружу на его сюртуке какую-нибудь неразглаженную складку.

Вечер выдался прохладный, и мы перебрались поближе к камину. Зажгли лампу, батюшка попыхивал трубкой.

— Вы как будто впервые в Монаховом дубе? — спросил он дядю.

Лицо дяди вдруг стало очень серьезным и строгим.

— Впервые после многих лет, — ответил он. — В последний раз я побывал здесь, когда мне был всего двадцать один год. И этот свой приезд я никогда не забуду.

Я знал, что он говорит о посещении замка в день убийства, и по лицу матушки видел, что и она это понимает. Батюшка же либо никогда не слышал о случившемся, либо все забыл.

— Вы тогда останавливались в гостинице? — спросил он.

— Я останавливался у злополучного лорда Эйвона. Это было, когда его обвинили в убийстве младшего брата и он бежал из Англии.

Мы все притихли, а дядя оперся подбородком на руку и задумчиво глядел в огонь. Еще и сейчас, стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как играют отблески пламени на его гордом, красивом лице, как мой дорогой отец, огорченный тем, что коснулся такого ужасного воспоминания, искоса поглядывает на него между затылками.

— С вами это, верно, тоже случилось, сэр, — сказал наконец дядя. — Кораблекрушение или битва отнимали у вас дорогого друга, а потом за

ежедневными делами и занятиями вы забывали его, и вдруг какое-то слово или место напомнят вам о нем, и вы чувствуете, что боль ваша так же остра, как и в первый день потери.

Батюшка кивнул.

— Именно это случилось со мной сегодня. Я никогда не сходил близко с мужчинами (о женщинах я не говорю), и в жизни у меня был лишь один друг — лорд Эйвон. Мы были почти ровесники, он, быть может, двумя-тремя годами старше, но наши вкусы, суждения, характеры были схожи; только он отличался одной особенностью — он был отчаянно горд, другого такого гордеца мне встречать не приходилось. Если отбросить мелкие слабости, неизбежные в светском молодом человеке, *les indiscretions d'une jeunesse dorée*^[13], клянусь вам, я не знал человека лучше.

— Тогда как же он совершил такое преступление? — спросил отец.

Дядя покачал головой.

— Не раз и не два задавал я себе этот вопрос и сегодня понимаю это еще меньше, чем когда бы то ни было.

От изысканной беспечности дяди не осталось и следа, он вдруг стал печален и серьезен.

— Точно ли это сделал он? — спросила матушка.

Дядя пожал плечами.

— Я бы рад думать иначе. Иногда мне казалось, что виной всему его безмерная гордость, которая довела его до безумия. Вам известно, как он вернул нам деньги, которые мы проиграли в ту ночь?

— Нет, мы ничего не знаем, — ответил отец.

— Это очень давняя история, хотя она не кончилась еще и сегодня. Мы играли в карты два дня подряд. Было нас четверо — лорд Эйвон, его брат капитан Баррингтон, сэр Лотиан Хьюм и я. О капитане я знал только, что репутация у него не блестящая и что он по уши в долгу у ростовщиков. Сэр Лотиан... с того дня он успел завоевать дурную славу — ведь это тот самый сэр Лотиан, который застрелил на Меловой ферме лорда Кэртона. Но в те дни о нем еще не было известно ничего дурного. Старшему из нас едва ли минуло двадцать четыре года. И, как я уже говорил, мы играли до тех пор, покуда капитан совсем не очистил наши кошельки. Все мы отчаянно проигрались, но хуже всех пришлось хозяину дома.

Теперь я расскажу вам то, о чем ни за что бы не рассказал суду. В ту ночь мне все не удавалось забыться сном, как часто бывает, когда засиживаешься допоздна. Я снова и снова вспоминал, какая шла карта, и ворочался в постели с боку на бок, как вдруг со стороны комнаты капитана

Баррингтона донесся крик, за ним другой, громче. Минут через пять кто-то прошел по коридору; не зажигая света, я приоткрыл дверь и выглянул, опасаясь, что кому-то стало дурно. По коридору прямо на меня шел лорд Эйвон. В одной руке он нес оплывающую свечу, в другой — коричневый мешок, в котором при каждом его шаге что-то позвякивало. Лицо у него было такое страдальческое, искаженное, что вопрос застыл у меня на губах. И прежде чем я успел вымолвить хоть слово, он скрылся в спальне и тихонько притворил дверь.

Проснувшись утром, я застал его у своей постели. «Чарльз, — сказал он, — я не могу примириться с тем, что ты так проигрался у меня в доме. Все твои деньги у тебя на столе».

Я посмеялся над его щепетильностью, заявил, что, окажись я в выигрыше, я бы уж непременно потребовал выигранные деньги, и потому странно не дать мне расплатиться, когда я в проигрыше; но все было напрасно.

«Ни я, ни брат не притронемся к этим деньгам, — сказал он. — Вот они здесь лежат, и можешь делать с ними, что хочешь».

Он не стал слушать никаких возражений и как безумный кинулся из комнаты. Но, может, вам уже известны все эти подробности, а мне их пересказывать мука!

Отец не сводил с сэра Чарльза глаз, и забытая трубка дымилась у него в руке.

— Пожалуйста, сэр, доскажите все до конца! — попросил он.

— Хорошо. Я оделся, это заняло у меня не более часа — в те дни я был не так требователен, как теперь, — и за завтраком встретился с сэром Лотианом Хьюмом. С ним произошло то же, что и со мной, и он жаждал увидеть капитана Баррингтона и выяснить, почему он поручил брату вернуть нам деньги. Во время разговора я случайно взглянул на потолок и увидел... увидел...

Дядя весь побелел — так живо представилось ему все, что произошло в то утро, — и провел рукой по глазам.

— Потолок был красным, — сказал он, содрогнувшись, — красным с черными щелями, и из каждой щели... но тебе будут сниться страшные сны, сестра. Короче говоря, мы ринулись вверх по лестнице, которая вела прямо в комнату капитана, и там мы его увидели — в горле у него зияла рана. Неподалеку валялся охотничий нож — нож лорда Эйвона. Рука мертвого сжимала кружево — манжету лорда Эйвона. На каминной решетке были рассыпаны обгоревшие бумаги — бумаги лорда Эйвона... Несчастный мой друг, какое безумие толкнуло тебя на такой страшный шаг!

В глазах у дяди уже не плясали насмешливые огоньки, в манерах его не осталось и следа изысканного сумасбродства. Он говорил просто, ясно, без тени той лондонской манерности, которая вначале так меня поразила. То был совсем другой человек, человек с сердцем и умом, и таким он понравился мне куда больше прежнего.

— Что же сказал лорд Эйвон? — спросил мой отец.

— Ничего. Он бродил по дому, точно во сне, и в глазах у него застыл ужас. До конца следствия никто не решался его арестовать, но как только следственный суд признал его виновным в преднамеренном убийстве, констебли поскакали в замок. Однако лорда Эйвона там уже не было. На следующей неделе разнесся слух, что его видели в Вестминстере, потом — что он уплыл в Америку, и больше о нем ничего не известно. День, когда будет доказано, что лорда Эйвона нет в живых, станет самым радостным днем для сэра Лотиана Хьюма: ведь сэр Лотиан — его ближайший родственник, а без такого доказательства он не может наследовать ни титул, ни имущество.

От этой мрачной истории все мы погрузнели. Дядя протянул руки к огню, и я заметил, что они такие же белые, как обрамляющие их кружевные манжеты.

— Я не знаю, каково сейчас в замке, — задумчиво сказал он. — Он и прежде не очень-то веселил глаз — еще до того, как на него пала эта тень. Для подобной трагедии трудно было бы сыскать более подходящую сцену. Но прошло семнадцать лет, и, может быть, даже этот страшный потолок...

— Пятно все еще видно, — сказал я.

Не знаю, кто из них троих был поражен сильнее, — ведь матушка ничего не знала о событиях той ночи. Пока я рассказывал, они не сводили с меня изумленных глаз, а дядя сказал, что мы держались молодцами и что, по его мнению, в нашем возрасте мало кто вел бы себя столь отважно, и у меня прямо голова закружилась от гордости.

— Ну а призрак, должно быть, вам просто померещился, — сказал он. — Воображение играет с нами странные шутки; и хотя у меня, например, нервы крепкие, а и я не уверен, что мне ничего не привидится, окажись я в полночь в комнате, где на потолке расплылось кровавое пятно.

— Дядя, — сказал я, — я совершенно ясно видел какую-то фигуру, вот как вижу сейчас этот огонь, и слышал шаги так же отчетливо, как сейчас треск хвороста. И потом, не могли же мы оба так ошибиться.

— Да, это, пожалуй, верно, — задумчиво сказал он. — Так, говоришь, лица ты не разглядел?

— Было слишком темно.

— А фигуру?

— Только силуэт.

— И он поднялся по лестнице?

— Да.

— И исчез в стене?

— Да.

— В какой части стены? — воскликнул кто-то позади нас.

Матушка вскрикнула, батюшка уронил трубку на каминный коврик. Я вскочил так стремительно, что у меня перехватило дыхание, и увидел у самой двери дядиного камердинера Амброза — он стоял в тени, но на лицо его падал свет, в меня впились два горящих глаза.

— Как прикажете вас понять, милейший? — спросил дядя.

Странно было видеть, как погасло лицо Амброза, как огонь и нетерпение уступили место бесстрастной маске лакея. Глаза еще блестели, но лицо уже через мгновение выражало лишь привычную невозмутимость.

— Прошу прощения, сэр Чарльз, — сказал он. — Я пришел узнать, не будет ли от вас каких приказаний, но не решился прерывать рассказ молодого джентльмена. Боюсь, рассказ этот меня очень взволновал.

— В первый раз вижу, чтобы вы так забылись, — сказал дядя.

— Я надеюсь, вы простите меня, сэр Чарльз, если вспомните, кем для меня был лорд Эйвон.

Он сказал это с большим достоинством и, поклонившись, вышел вон.

— Придется, видно, его простить, — сказал дядя, к которому вдруг снова вернулся его изысканно беспечный тон. — Человек, умеющий сварить чашку шоколада или завязать галстук так, как Амброз, всегда заслуживает снисхождения. Бедняга был камердинером у лорда Эйвона и в ту роковую ночь тоже находился в замке, притом он питал глубокую привязанность к своему прежнему хозяину. Но наша беседа почему-то приняла печальный оборот, сестра, и теперь, если угодно, мы снова вернемся к туалетам графини Ливен и к дворцовым сплетням.

Глава VI

МОЕ ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В тот вечер батюшка рано отослал меня спать, а мне очень хотелось посидеть еще: ведь каждое слово дяди было мне интересно. Его лицо, манеры, широкие, плавные движения белых рук, врожденное чувство превосходства, которое ощущалось в нем, но не подавляло, причудливые речи — все вызывало во мне интерес, все поражало. Но, как я потом узнал, они собирались говорить обо мне, о моем будущем, так что я был отправлен наверх, и далеко за полночь до меня еще доносились глубокие раскаты отцовского баса, мягкий, выразительный голос дяди и изредка негромкие восклицания матушки.

Наконец я заснул, но почти сразу проснулся: что-то влажное коснулось моего лица и меня обхватили две теплые руки. Матушка прижалась щекой к моей щеке, я слышал ее всхлипывания, чувствовал, как она вся дрожит во тьме. При слабом свете, который пробивался сквозь оконный переплет, видно было, что она в белом и волосы ее распущены по плечам.

— Ты не забудешь нас, Родди? Не забудешь?

— О чем это вы, матушка?

— Твой дядя, Родди... хочет увезти тебя от нас.

— Когда?

— Завтра.

Да простит меня бог, но как радостно забилося мое сердце, а матушкино — и ведь оно было совсем рядом с моим — разрывалось от горя!..

— О, матушка! — воскликнул я. — Неужели в Лондон?

— Сперва в Брайтон, он хочет представить тебя принцу. А на следующий день в Лондон, там ты познакомишься с высокопоставленными особами, Родди, и научишься смотреть сверху вниз... смотреть сверху вниз на своих бедных, простых, старомодных родителей.

Я обнял ее, желая утешить, но она плакала так горько, что, хоть мне и минуло уже семнадцать и я считал себя мужчиной, я и сам не выдержал и заплакал, но у меня не было женского умения рыдать беззвучно, и я стал так громко и тонко всхлипывать, что в конце концов матушка совсем забыла свою печаль и рассмеялась.

— Вот бы Чарльз порадовался, если бы видел, как мы отвечаем на его

доброту! — сказала она. — Успокойся, милый, не то ты его разбудишь.

— Если вы так горюете, я не поеду! — воскликнул я.

— Нет, дорогой, тебе надо ехать, ведь, может, у тебя за всю жизнь не будет другого такого случая. И подумай, как мы будем гордиться, когда услышим твое имя среди имен высокопоставленных друзей Чарльза! Но только обещай мне не играть в карты, Родди. Ты ведь слышал сегодня, что́ из этого порой получается.

— Обещаю, матушка.

— И пить будешь с осторожностью, да, Родди? Ты молод и к вину непривычен.

— Да, матушка.

— А еще держись подальше от актерок, Родди. И не снимай теплого белья до самого июня. Молодой Овертон оттого ведь и умер. Одевайся со тщанием, Родди, чтоб дяде не пришлось за тебя краснеть, — он ведь славится своим вкусом. Делай все, как он тебе велит. А когда ты не в свете, надевай свое домашнее платье — коричневый сюртук у тебя еще совсем как новый; да и синий можно носить, только надо его погладить и сменить подкладку, — тебе их хватит на все лето. Я достала твой воскресный сюртук с нанковым жилетом, и коричневые шелковые чулки, и туфли с пряжками, ты ведь завтра поедешь к принцу. Смотри по сторонам, когда будешь в Лондоне переходить улицы. Говорят, там экипажи так мчатся, что и вообразить невозможно. Перед сном аккуратно складывай одежду, Родди, и не забывай помолиться на ночь — тебе предстоят многие искушения, милый, а меня поблизости не будет и я не смогу тебя от них уберечь.

Так, обхватив меня теплыми, мягкими руками, матушка учила и наставляла меня и напоминала мне о моих обязательствах перед нашим миром и перед миром иным, так готовила она меня к тому великому шагу, который мне предстояло совершить.

Дядя к завтраку не вышел, но Амброз сварил чашку шоколада и отнес к нему в спальню. Когда же в полдень он наконец появился, он был так хорош: волосы вьются, зубы блестят, глаза смеются и перед одним это чудное стекло, а манжеты кружевные, гофрированные, белые как снег, — что я не мог отвести от него глаз.

— Ну, племянник, как тебе нравится мысль поехать со мной в Лондон? — спросил он.

— Благодарю вас, сэр, за вашу доброту и участие ко мне, — сказал я.

— Но смотри же, не заставляй меня краснеть, Родди. Если мой племянник желает быть мне под стать, он должен выглядеть лучше всех.

— Он отпрыск доброго корня, сэр, — сказал мой батюшка.

— Придется его хорошенько отполировать. Вон топ^[14] — вот главное, дорогой мой. И тут дело не в богатстве. Одним богатством этого не добьешься. У Золоченого Прайса сорок тысяч фунтов годового дохода, а одевается он чудовищно. На днях я видел его на Сент-Джеймс-стрит и, поверите ли, так был шокирован его видом, что вынужден был зайти к Верне выпить стакан коньяка. Нет, все дело, разумеется, в природном вкусе и в умении следовать советам и примеру людей более опытных, нежели ты сам.

— Боюсь, Чарльз, что гардероб у Родди слишком провинциальный, — сказала матушка.

— Мы этим займемся в городе. Посмотрим, что для него смогут сделать Штульц или Уэстон, — ответил дядя. — Только придется Родди нигде не показываться, пока не будет готово его новое платье.

От такого пренебрежения к моему лучшему костюму матушка покраснела, и это не укрылось от дяди, ибо у него был глаз на подобные мелочи.

— Это отличный костюм для Монахова дуба, сестра, — сказал он. — Но пойми, на Пэл-Мэл он будет выглядеть несколько старомодно. Предоставь мне об этом позаботиться.

— Сколько денег нужно молодому человеку в Лондоне, чтобы одеваться? — спросил батюшка.

— Светский молодой человек, если он бережлив и благоразумен, вполне может обойтись восемьюстами фунтами в год, — ответил дядя.

У моего бедного батюшки вытянулось лицо.

— Боюсь, сэр, что Родди придется довольствоваться его нынешним гардеробом, — сказал он. — Даже при моих призовых...

— Что вы, сэр! — возразил дядя. — Я должен Уэстону больше тысячи, так что лишние несколько сот ничего тут не изменят. Раз мой племянник едет со мной, я беру на себя все заботы о нем. Это — дело решенное, и я отказываюсь продолжать этот разговор.

И он взмахнул своими белыми руками, словно отметаая все возражения.

Родители мои пытались его поблагодарить, но он не дал им и слова вымолвить.

— Кстати, раз уж я оказался в Монаховом дубе, надо мне тут сделать еще одно дело, — сказал он. — Тут ведь живет боксер по имени Гаррисон, который однажды чуть не сделался чемпионом. В те дни мы с несчастным Эйвоном были его главными поклонниками и покровителями. Я бы хотел с ним поговорить.

Вы, конечно, представляете, с какой гордостью я шествовал по улице,

сопровождая моего великолепного родича, и как радовался, видя уголком глаза, что все жители подходят к дверям и окнам, чтобы на нас поглядеть. Чемпион Гаррисон стоял подле кузницы и, увидев моего дядю, снял шапку.

— Господи боже мой! И как же это вас занесло в Монахов дуб, сэр? Вот увидал вас, сэр Чарльз, и сразу про старое вспомнил.

— Рад заметить, что вы прекрасно выглядите, Гаррисон, — сказал дядя, окинув его взглядом. — Что ж, неделя тренировки — и вам опять не будет цены. Думаю, вы весите не больше ста девяноста фунтов.

— Сто девяносто два, сэр Чарльз. Мне уже сороковой год, а руки и ноги у меня хоть куда, да и дыхание тоже. Если бы моя старуха освободила меня от зарока, я бы еще померялся силами с любым молодым. Слышал я, из Бристоля недавно понаехали сильные боксеры.

— Да, бристольский желтый платок последнее время всех забивает. Как поживаете, миссис Гаррисон? Вы меня, наверно, не помните?

Она вышла из дому, и при виде моего дяди ее усталое лицо, на которое давний страх, казалось, наложил свой отпечаток, стало вдруг жестким и словно бы окаменело.

— Я очень даже хорошо вас помню, сэр Чарльз Треджеллис, — сказала она. — Уж не за тем ли вы пожаловали, чтобы уговорить моего мужа вернуться на старую дорожку?

— Вот она всегда так, сэр Чарльз, — сказал Чемпион, положив свою ручищу на плечо жены. — Я ей пообещал, и уж она нипочем не вернет мне мое слово! Другой такой хорошей да трудолюбивой жены не сыскать в целом свете, только вот бокс она не жалуется, это уж верно.

— Бокс! — с горечью воскликнула женщина. — Для вас-то это — одно развлечение, сэр Чарльз. Приятно прокатились в деревню за двадцать пять миль, и корзинку с завтраком прихватили, и про вино не забыли, а вечером по холодку обратно в Лондон; день провели весело, хороший бой поглядели, есть о чем поговорить. А мне-то каково было с этим боксом! Сидишь, ждешь час за часом да слушаешь, не застучат ли колеса, не везут ли ко мне назад моего муженька. Когда сам в дом войдет, когда под руки его введут, а когда и вовсе внесут, только по одежде его и узнаешь...

— Будет тебе, женушка, — сказал Гаррисон, похлопав ее по плечу. — Конечно, доставалось мне, что и говорить, но уж не так, как ты расписываешь.

— А потом неделями прислушиваешься к каждому стуку в дверь: может, это пришли сказать, что тот, другой, помер и моему-то теперь не миновать суда за убийство!

— Да, нет в ней азарта, — сказал Гаррисон. — Не уважает она бокс! А

все Черный Барух виноват: он в тот раз чуть богу душу не отдал! Ну да ладно, я ей обещал, и коли она не освободит меня от обещания, значит, больше никогда не кидать мне шапку через канаты.

— Ты будешь носить свою шапку на голове, Джон, как и подобает честному, богобоязненному человеку, — сказала ему жена, уходя в дом.

— Боже меня упаси уговаривать вас нарушить обещание, — сказал мой дядя. — Однако если бы вы опять пожелали испытать свои силы в боксе, у меня есть для вас хорошее предложение.

— Толку, конечно, не будет, — сказал кузнец, — а послушать мне все одно интересно.

— Есть неподалеку от Глостера очень подходящий экземпляр, сто восемьдесят два фунта весу. Зовут его Уилсон, а прозвали его Крабом — за его стиль.

Гаррисон покачал головой.

— Нет, не слыхал про такого, сэр.

— Это понятно: он еще не выступал ни в одном призовом бою. Но на Западе его ценят очень высоко, и он может потягаться с любым из Белчеров.

— Ну, так это еще не настоящий бокс, — возразил кузнец.

— Мне говорили, он отлично дрался в любительской встрече с Ноем Джеймсом из Чешира.

— Гвардеец Ной Джеймс — боксер что надо, другого такого не сыщешь, сэр, — сказал Гаррисон. — У него челюсть была сломана в трех местах, а он после этого бился еще пятьдесят раундов. Это я своими глазами видел. Если Уилсон и впрямь его одолел, он далеко пойдет.

— На Западе так и думают и его хотят свести с лондонскими молодцами. Его покровитель — сэр Лотиан Хьюм; короче говоря, он заключил со мной пари, что я не найду Уилсону достойного молодого противника в его весе. Я ему сказал, что никакого хорошего молодого боксера у меня на примете нет, но я знаю одного немолодого, который уже много лет не ступал на ринг, и, однако, он бы заставил его протезе пожалеть, что тот явился в Лондон. «Молодой ли, старый ли, моложе двадцати или старше тридцати пяти — приводите кого хотите, был бы только вес подходящий, и я ставлю на Уилсона два против одного», — сказал сэр Лотиан. Я заключил с ним пари не на одну тысячу и вот приехал к вам.

— Ничего не выйдет, сэр Чарльз, — сказал кузнец, покачав головой. — Я бы всей душой, да вы ведь сами слыхали.

— Что ж, если вы не хотите драться, Гаррисон, мне надо найти какого-

нибудь новичка. Я был бы вам благодарен за совет. Кстати, в следующую пятницу я даю ужин любителям бокса в заведении «Карета и кони» на Сент-Мартин-лейн. Буду рад видеть вас среди моих гостей. Послушайте, а это кто? — и он быстро поднес к глазам лорнет.

С молотом в руке из кузницы вышел Джим. Ворот его серой фланелевой рубахи был расстегнут, рукава засучены. Мой дядя взглядом знатока осмотрел его с головы до ног.

— Это мой племянник, сэр Чарльз.

— Он живет с вами?

— Его родители умерли.

— Бывал он в Лондоне?

— Нет, сэр Чарльз. Он живет у меня с той поры, когда он был еще вот с этот молоток.

Мой дядя повернулся к Джиму.

— Говорят, вы еще не бывали в Лондоне? — сказал он. — В следующую пятницу я даю ужин любителям бокса, ваш дядя там будет. Не хотите ли тоже приехать?

Темные глаза Джима заблестели от удовольствия.

— Я был бы очень рад, сэр.

— Нет, нет, Джим! — быстро сказал кузнец. — Хотя мне и жалко, но ты останешься дома, с теткой. Есть у меня на то причины.

— Да что вы, Гаррисон, пусть он съездит!

— Нет, нет, сэр Чарльз! Это для него опасная компания, больно он ретивый. Да и когда я в отлучке, у него работы по горло.

Джим помрачнел и большими шагами зашагал в кузницу. Я проскользнул за ним: мне хотелось его утешить, хотелось рассказать ему обо всех неожиданных и удивительных переменах в моей жизни. Я дошел еще только до середины рассказа, и Джим, добрый малый, радуясь счастливой перемене в моей судьбе, стал было уже забывать о собственных огорчениях, но тут с улицы донесся голос моего дяди — пора было возвращаться. У наших ворот уже стояла запряженная цугом коляска, и Амброз успел погрузить в нее корзину с закусками, болонку и драгоценную туалетную шкатулку; сам он пристроился на запятках. Отец крепко пожал мне руку, матушка, всхлипывая, обняла меня напоследок, и я сел рядом с дядей в коляску.

— Отпускай! — крикнул конюху дядя.

Звякнула сбруя, застучали копыта, мы тронулись в путь.

Столько лет прошло, а я и сейчас вижу тот весенний день, зеленые поля, облачка, подгоняемые ветром, и наш желтый насупленный домик, в

котором я из мальчика превратился в мужчину! А у калитки стоит матушка — отворотилась и машет платочком, и отец, в синем мундире и белых штанах, оперся на палку и, козырьком приставив руку к глазам, напряженно глядит нам вслед. Вся деревня высыпала на улицу, всем хотелось поглядеть, как юный Родди Стоун едет со своим знаменитым лондонским родичем во дворец к самому принцу.

Семейство Гаррисон махало мне, стоя у кузницы, и Джон Каммингз — у гостиницы, и Джошуа Аллен, мой старый школьный учитель, показывал на меня людям, словно бы говоря: вот плоды моего учения. Ну и для полноты картины, кто бы, вы думали, проехал мимо нас, когда мы выезжали из селения? Мисс Хинтон, актерка; она сидела в том же фаэтоне и правила той же лошадкой, что и при первом появлении в Монаховом дубе, но сама она стала совсем другая, и я подумал тогда, что даже если бы Джим ничего больше не сделал в своей жизни, и то он не зря терял в захолустье золотые годы юности.

Она ехала к нему, на этот счет у меня не было сомнений — они очень сдружились в последнее время, и она даже не заметила, как я махал ей из коляски. Но вот дорога круто повернула, маленькое наше селение скрылось из глаз, и вдали, меж холмами за шпильями Пэтчема и Престона, глазам моим открылись широкое синее море и серые дома Брайтона, а между ними, посредине, вздымались причудливые восточные купола и минареты летней резиденции принца. Для всякого иного путешественника это было просто великолепное зрелище, для меня же новый мир, огромный, широкий, свободный, и сердце мое волновалось и трепетало, точно у птенца, когда он впервые слышит свист ветра при взмахе собственных крыльев и воспарит под голубыми небесами, над зелеными равнинами. Может, и настанет день, когда он с сожалением и раскаянием оглянется на уютное гнездышко в кустах терновника; но что ему до этого сейчас, когда в воздухе пахнет весной, и молодая кровь кипит в жилах, и ястреб тревоги еще не заслонил солнца мрачной тенью своих крыльев!

Глава VII

НАДЕЖДА АНГЛИИ

Некоторое время дядя правил молча, но я то и дело чувствовал на себе его взгляд и с тревогой думал, что он уже начинает сомневаться, будет ли из меня толк и не совершил ли он глупость, поддавшись уговорам сестры, мечтавшей приобщить сына к той великолепной жизни, которою живет он сам.

— Ты ведь, кажется, поешь, племянник? — вдруг спросил он.

— Да, сэр, немного пою.

— У тебя, я полагаю, баритон?

— Да, сэр.

— И твоя матушка говорила, что ты играешь на скрипке. У принца тебе это очень пригодится. У него в семье музыка в чести. Образование ты получил в сельской школе. Что ж, к счастью, в светском обществе не спрашивают греческую грамматику. Вполне достаточно знать цитату-другую из Горация или Вергилия: это придает пикантность беседе, как долька чеснока — салату. Ученость не считается хорошим тоном, а вот дать понять, что ты многое уже позабыл, — это очень элегантно. А стихи ты умеешь сочинять?

— Боюсь, что нет, сэр.

— За полкроны тебе кто-нибудь накропает книжонку стихов. *Vers de société*^[15] могут оказать молодому человеку неоценимую услугу. Если дамы на твоей стороне, совершенно неважно, кто против тебя. Тебе надо научиться открывать двери, входить в комнату, предлагать табакерку — при этом крышку открывать непременно указательным пальцем той руки, в которой ты ее держишь. Ты должен усвоить, как кланяться мужчине — с чувством собственного достоинства и как кланяться даме весьма почтительно и вместе с тем непринужденно. Тебе необходимо усвоить такую манеру обращения с женщинами, в которой чувствовалась бы и мольба и дерзкая уверенность. Есть у тебя какие-нибудь причуды?

Я рассмеялся — он спросил об этом так легко, мимоходом, словно обладать какой-либо причудой вполне естественно.

— Смех у тебя, во всяком случае, приятный и заразительный, — сказал он, но в наши дни причуда считается хорошим тоном, и если ты чувствуешь в себе какую-нибудь странность, мой совет — дай себе волю.

Не будь у Питерсхема особой табакерки на каждый день года и не подхвати он насморк из-за оплошности камердинера, который в холодный зимний день отпустил его с тоненькой, севрского фарфора табакеркой вместо массивной черепашей, он так и остался бы на всю жизнь никому не известным пэром. А это выделило его из толпы, понимаешь ли, и он был замечен. Иной раз даже самые незначительные причуды, ну, скажем, если у тебя в любое время года, в любой день можно отведать абрикосового торта или если ты тушишь свечу перед сном, засовывая ее под подушку, помогают отличить тебя от твоих ближних. Что до меня, я завоевал свое нынешнее положение благодаря безукоризненно точным суждениям во всем, что касается этикета и моды. Я не делаю вид, будто следую какому-то закону. Я сам устанавливаю закон. Вот, к примеру, я везу тебя сегодня к принцу в нанковом жилете. Как ты думаешь, что из этого впоследствии?

Я со страхом подумал, что впоследствии может только одно: я буду отчаянно смущаться, — но вслух этого не сказал.

— А вот что: вечерний дилижанс принесет эту новость в Лондон. Завтра утром о ней проведуют у Брукса и Уайта. Не пройдет и недели, как на Сент-Джеймс-стрит и на Пэл-Мэл проходу не будет от нанковых жилетов. Однажды со мной случилась пренеприятная история. Я не заметил, как на улице развязался галстук, и всю дорогу, пока я шел от Карлтон-Хауса до Ватъе на Братен-стрит, концы моего галстука свободно болтались. Ты думаешь, мне это повредило? В тот же вечер на улицах Лондона появились десятки молодых франтов с незавязанными галстуками. Если бы я на другой же день не привел в порядок свой галстук, сегодня во всем королевстве не было бы уже ни одного завязанного галстука и по чистой случайности было бы утрачено великое искусство. Ты ведь еще не пробовал в нем свои силы?

Я признался, что нет, не пробовал.

— Начинай сейчас, с юности. Я сам научу тебя *coup d'archet*^[16]. Если ты будешь отдавать этому ежедневно несколько часов, которые иначе все равно протекут у тебя меж пальцев, в зрелые годы у тебя будут превосходно завязанные галстуки. Весь секрет в том, чтобы как можно выше задрать подбородок, а затем укладывать складки постепенно его опуская.

Всякий раз, когда дядя рассуждал подобным образом, в его темно-синих глазах начинали плясать лукавые огоньки, и я понимал, что это обдуманная причуда, и хотя в основе ее лежит природный изощренный вкус, но он намеренно доведен до гротеска по той самой причине, по которой дядя и мне советовал развить в себе какую-либо странность. Когда

я вспоминал, как накануне вечером он говорил о своем несчастном друге лорде Эйвоне, с каким чувством рассказывал эту ужасную историю, я с радостью думал, что это и есть его истинная натура, как бы он ни старался ее скрыть.

И вышло так, что очень скоро мне снова представился случай увидеть, каков он на самом деле: когда мы подъехали к «Королевской гостинице», нас подстерегала неожиданная неприятность. Едва наша коляска остановилась, к нам ринулась целая толпа конюхов и грумов, и дядя, отбросив вожжи, достал из-под сиденья подушечку с Фиделио.

— Амброз, — окликнул он, — можете взять Фиделио.

Ответа не последовало. Позади никого не было. Амброз исчез. Мы видели, как он стал на запятки в Монаховом дубе, а ведь всю дорогу мы без остановки мчались во весь опор. Куда же он девался?

— С ним сделался припадок, и он свалился! — вскричал дядя. — Я бы повернул назад, но ведь нас ждет принц. Где хозяин гостиницы?.. Эй, Коппингер, сейчас же пошлите надежного человека в Монахов дуб, пусть скачет во весь дух и разузнает, что случилось с моим камердинером Амброзом. Пусть не жалеет ни сил, ни денег... А теперь мы позавтракаем, племянник, и отправимся в резиденцию принца.

Дядя был очень обеспокоен странным исчезновением камердинера еще и потому, что привык даже после самого короткого путешествия умываться, принимать ванну и переодеваться. Что до меня, то, помня советы матушки, я тщательно почистил свое платье и постарался придать себе аккуратный вид.

Теперь, когда мне с минуты на минуту предстояло увидеть такую важную, наводящую страх особу, как принц Уэльский, душа у меня ушла в пятки. Его ярко-желтое ландо много раз проносилось через Монахов дуб, и я, как и все, приветствовал его криками и махал шапкой, но даже в самых дерзких снах мне не снилось, что когда-нибудь мне доведется предстать пред его очи и разговаривать с ним. Матушка воспитала меня в почтении к принцу: ведь он один из тех, кого бог поставил управлять нами; но когда я сказал о своих чувствах дяде, он только рассмеялся.

— Ты уже достаточно взрослый, племянник, чтобы видеть все так, как оно есть, — сказал он. — Именно это понимание, эта осведомленность отличают представителей того узкого круга, в который я намерен тебя ввести. Я знаю принца, как никто, и доверяю ему меньше, чем кто бы то ни было. В нем уживаются самые противоречивые свойства. Он всегда спешит, и, однако, ему решительно нечего делать. Он хлопочет из-за того, что его совершенно не касается, и пренебрегает своими прямыми

обязанностями. Он щедр с теми, кому ничего не должен, но разоряет своих поставщиков, ибо отказывается им платить. Он мил и любезен со случайными знакомыми, но не любит своего отца, ненавидит мать и рассорился с женой. Он называет себя первым джентльменом Англии, но джентльмены Англии забаллотировали не одного его друга в своих клубах, а его самого вежливо удалили из Ньюмаркета, заподозрив в махинациях с лошадьми. Он целыми днями разглагольствует о благородных чувствах и обесценивает свои слова неблагородными поступками. О чем бы он ни рассказывал, он так бесстыдно преувеличивает свои заслуги, что объяснить это можно лишь безумием, которым отмечен весь его род. И при всем этом он может быть учтив, величествен, иной раз добр; я наблюдал в нем порывы истинного добросердечия, и это заставляет меня смотреть сквозь пальцы на его недостатки; они объясняются главным образом тем, что он занимает положение, для которого совершенно не подходит. Но это между нами, племянник, а теперь отправимся к принцу, и ты сможешь составить о нем свое собственное суждение.

До дворца было рукой подать, но дорога заняла у нас немало времени, ибо дядя шествовал с величайшим достоинством; в одной руке он держал отороченный кружевом носовой платок, а другой небрежно помахивал тростью с набалдашником дымчатого янтаря. Казалось, здесь его знали все до единого, и при нашем приближении головы тотчас обнажались. Он не очень-то обращал внимание на эти приветствия и лишь кивал в ответ или иной раз слегка взмахивал рукой. Когда мы подошли ко дворцу, нам повстречалась великолепная упряжка из четырех черных как вороново крыло лошадей; ею правил человек средних лет с грубыми чертами лица, в немало повидавшей на своем веку пелерине с капюшоном. С виду он ничем не отличался от обыкновенного кучера, только как-то уж очень непринужденно болтал с нарядной маленькой женщиной, восседавшей рядом с ним на козлах.

— А-а! Чарли! Как прокатились? — крикнул он.

Дядя с улыбкой поклонился даме.

— Я останавливался в Монаховом дубе, — сказал он. — Ехал в легкой коляске, запряженной двумя моими новыми кобылами.

— А как вам нравится моя вороная четверка?

— В самом деле, сэр Чарльз, как они вам нравятся? Не правда ли, чертовски элегантны? — спросила маленькая женщина.

— Могучие кони. Очень хороши для суссекской глины. Вот только бабки толстоваты. Я ведь люблю быструю езду.

— Быструю езду? — как-то уж слишком горячо воскликнула

женщина. — Так какого... — И с ее уст посыпалась такая брань, какой я и от мужчины-то ни разу не слыхал. — Выедем голова в голову — и мы будем уже на месте, и обед будет заказан, приготовлен, подан и съеден, прежде чем вы туда успеете добраться.

— Черт подери, Летти права! — воскликнул ее спутник. — Вы уезжаете завтра?

— Да, Джек.

— Что ж, могу вам кое-что предложить, Чарли. Я пускаю лошадей с Касл-сквер без четверти девять. Вы можете отправляться с боем часов. У меня вдвое больше лошадей и вдвое тяжелее экипаж. Если вы хотя бы завидите нас до того, как мы проедем Вестминстерский мост, я выкладываю сотню. Если нет, платите вы. Пари?

— Хорошо, — сказал дядя и, приподняв шляпу, пошел дальше.

Я последовал за ним, но успел заметить, что женщина подобрала вожжи, а мужчина посмотрел нам вслед и на кучерской манер сплюнул сквозь зубы табачную жвачку.

— Это сэр Джон Лейд, — сказал дядя, — один из самых богатых людей и умеет править лошадьми как никто. Ни один кучер не перещеголяет его ни в брани, ни в умении править, а его жена, леди Летти, не уступит ему ни в том, ни в другом.

— Ее просто страшно было слушать, — сказал я.

— О, это ее причуда. У каждого из нас есть какая-нибудь причуда, а леди Летти очень забавляет принца. Теперь, племянник, держись ко мне поближе, смотри в оба и помалкивай.

Мы с дядей проходили между двумя рядами великолепных лакеев в красных с золотом ливреях, и они низко нам кланялись: дядя шел, высоко подняв голову, с таким видом, точно вступил в свой собственный дом; я тоже пытался принять вид независимый и уверенный, хотя сердце мое трепетало от страха. Мы оказались в высоком просторном вестибюле, убранном в восточном стиле, что вполне гармонировало с куполами и минаретами, украшавшими дворец снаружи. Какие-то люди, собравшись кучками по несколько человек, прогуливались взад и вперед и перешептывались. Один из них, небольшого роста краснолицый толстяк, самодовольный и суетливый, поспешно подошел к дяде.

— У меня хороший нофость, сэр Чарльз, — сказал он, понизив голос, как делают, когда сообщают важные известия. — Es ist vollendet^[17], наконец-то все стелан как нато.

— Прекрасно, подавайте горячими, — сухо ответил дядя, — да смотрите, чтоб соус был лучше, чем когда я в последний раз обедал в

Карлтон-Хаусе.

— Ах, mein Gott^[18], вы тумает, я это об кухня? Нет, я коворю об теле принца. Это один маленький vol-an-vent^[19], но он стоит доброй сотни тысяч фунтов. Тесять процент и еще тва раз столько после смерть венценосный папочка. Alles ist fertig^[20]. За это взялся гаагский ювелир, и голландский публик собрал теньги по потписка.

— Помогите бог голландской публике! — пробормотал мой дядя, когда толстый коротышка суетливо кинулся со своими новостями к какому-то новому гостю. — Это знаменитый повар принца, племянник. Он великий мастер готовить filet santé aux champignons^[21]. И к тому же ведет денежные дела своего хозяина.

— Повар?! — изумился я.

— Ты, кажется, удивлен, племянник.

— Я думал, какая-нибудь уважаемая банкирская контора...

Дядя наклонился к моему уху:

— Ни одна уважаемая банкирская контора не пожелает им заняться...

А, Мелиш, принц у себя?

— В малой гостиной, сэра Чарльз, — ответил джентльмен, к которому обратился дядя.

— У него кто-нибудь есть?

— Шеридан и Фрэнсис. Он говорил, что ждет вас.

— Тогда мы войдем без доклада.

Я последовал за дядей через анфиладу престранных комнат, убранных с азиатской пышностью; тогда они показались мне и очень богатыми, и удивительными, хотя сегодня я, быть может, посмотрел бы на них совсем другими глазами. Стены были обиты алыми тканями в причудливых золотых узорах, с карнизов и из углов глядели драконы и иные чудища. Наконец ливрейный лакей растворил перед нами двери, и мы оказались в личных апартаментах принца.

Два джентльмена весьма непринужденно развалились в роскошных креслах в дальнем конце комнаты, а третий стоял между ними, расставив крепкие, стройные ноги и заложив руки за спину. Сквозь боковое окно падал свет солнца, и я, как сейчас, вижу все три лица — одно в сумраке, другое на свету и третье, пересеченное тенью. Вижу красный нос и темные блестящие глаза одного из сидящих и строгое, аскетическое лицо другого, и у обоих высокие воротники и пышнейшие галстуки. Но я взглянул на них лишь мельком и сразу же впился глазами в человека, стоящего между ними, так как понял, что это и есть принц Уэльский.

Георгу шел тогда уже сорок первый год, но стараниями портного и парикмахера он выглядел моложе.

При виде принца я как-то сразу успокоился — это был веселый и на свой лад даже красивый мужчина: осанистый, полнокровный, со смеющимися глазами и чувственными, пухлыми губами. Нос у него был слегка вздернут, что прибавляло ему добродушия, но отнюдь не важности. Бледные, рыхлые щеки говорили об излишествах и нездоровом образе жизни. На нем был однобортный черный сюртук, застегнутый до самого подбородка, плотные, облегающие его широкие бедра кожаные панталоны, начищенные до блеска ботфорты и большой белый шейный платок.

— А, Треджеллис! — как нельзя веселее воскликнул он, едва только дядя переступил порог, и вдруг улыбка сошла с его лица, глаза загорелись гневом.

— А это еще что такое, черт побери? — сердито закричал он.

У меня коленки подогнулись от страха; я решил, что эта вспышка вызвана моим появлением. Но принц смотрел куда-то мимо нас, и, оглянувшись, мы увидели человека в коричневом сюртуке и в парике; он шел за нами по пятам, и лакеи пропустили его, думая, очевидно, что он с нами. Он был очень красен и возбужден, и сложенный синий лист бумаги дрожал и шелестел в его руке.

— Да это ж Вильеми, мебельщик! — воскликнул принц. — Черт подери, неужели меня и в моих личных покоях будут тревожить кредиторы? Где Мелиш? Где Таунсенд? Куда смотрит Том Тринг, будь он неладен?!

— Я бы не посмел вас тревожить, ваше высочество, но мне необходимо получить долг или хотя бы одну тысячу в счет долга.

— Необходимо получить, Вильеми? Подходящее словечко, ничего не скажешь! Я плачу долги, когда мне вздумается, и терпеть не могу, когда меня торопят. Гоните его в шею! Чтоб и духу его здесь не было!

— Если к понеделнику я не получу свои деньги, я обращусь в суд вашего папеньки! — завопил несчастный кредитор.

Лакей выпроводил его вон, но из-за двери еще долго доносились дружные взрывы смеха и жалобные выкрики о суде.

— Скамья подсудимых — вот что должно бы интересоваться мебельщика в суде, — сказал краснолицый.

— И уж он постарался бы сделать ее побольше, Шерри, — ответил принц, — слишком многие подданные пожелали бы туда обратиться... Очень рад снова видеть вас, Треджеллис, но впредь все-таки смотрите, кого вы приносите на хвосте. Только вчера сюда появился какой-то проклятый

голландец и требовал какую-то там задолженность по процентам и черт его знает что еще. «Мой милый, — сказал я ему, — раз палата общин морит голодом меня, я вынужден морить голодом вас». На том дело и кончилось.

— Я думаю, сэр, что, если Чарли Фокс или я должным образом подадим этот вопрос палате, она теперь решит его в вашу пользу, — сказал Шеридан.

Принц обрушился на палату общин с такой яростью, какой едва ли можно было ожидать от человека со столь круглым, добродушным лицом.

— Черт бы их всех побрал! — воскликнул он. — Читали мне проповеди, ставили мне в пример образцовую, как они выражались, жизнь моего отца, а потом им пришлось платить его долги чуть не в миллион фунтов, а мне жалеют какую-то несчастную сотню тысяч! И вы только поглядите, как они заботятся о моих братьях! Йорк — главнокомандующий. Кларенс — адмирал. А я кто? Полковник чертова драгунского полка под началом моего собственного младшего брата! А все матушка! Всегда старается держать меня в тени!.. Но кого это вы с собой привели, Треджеллис, а?

Дядя взял меня за плечо и вывел вперед.

— Это сын моей сестры, сэр, — сказал он. — Его зовут Родни Стоун. Он едет со мной в Лондон, и я решил, что сначала следует представить его вашему высочеству.

— Совершенно верно! Совершенно верно! — сказал принц, добродушно улыбаясь, и дружески похлопал меня по плечу. — Ваша матушка жива?

— Да, сэр, — сказал я.

— Если вы покорный сын, вы никогда не сойдете со стези добродетели. Вы должны чтить короля, любить отечество и стоять на страже достославной британской конституции. Запомните мои слова, мистер Родни Стоун.

Я вспомнил, с каким жаром он только что проклинал палату общин, и едва удержался от улыбки; Шеридан прикрыл рот рукой.

— Чтобы жить счастливо и благополучно, вам надо только исполнять то, что я вам сказал, быть верным своему слову и не делать долгов. А чем занимается ваш батюшка, мистер Стоун? Служит в королевском флоте? Что ж, славная служба. Я ведь и сам немного моряк... Я вам не рассказывал, Треджеллис, как мы взяли на abordаж французский военный шлюп «Минерву»?

— Нет, сэр, — ответил дядя.

Шеридан и Фрэнсис переглянулись за спиной принца.

— Он развернул свой трехцветный флаг перед самыми моими окнами. В жизни не видал такой чудовищной наглости! Этого не вынес бы и не такой горячий человек, как я. Я вскочил в свою шлюпочку... вы знаете мой шестидесятитонный ял, Чарли, с двумя четырехфунтовыми пушечками по бортам и шестифунтовой на носу.

— Так, так, сэр! И что же дальше, сэр? — воскликнул Фрэнсис, человек, видимо, раздражительный и несдержанный.

— Уж позвольте мне рассказывать так, как это угодно мне самому, сэр Филип, — с достоинством сказал принц. — Да, так я вам уже говорил, артиллерия у нас была совсем легковесная. Право, джентльмены, в сущности, это было все равно, что пойти на противника с пистолетами. Мы подошли к французской громадине. Она палит из всех своих орудий, а мы идем напролом да еще отвечаем из наших пушчонок. Но толку чуть. Черт побери, джентльмены, наши ядра застревают в обшивке, точно камни в глиняной стене! Француз натянул бортовые сети, но мы мигом вскарабкались на борт и схватились врукопашную. Двадцать минут — и команда шлюпа заперта в трюмах, крышки люков задраены и шлюп отбуксирован в Сиам. Вы ведь были с нами, Шерри?

— Я в это время был в Лондоне, — невозмутимо ответил Шеридан.

— Тогда это можете подтвердить вы, Фрэнсис!

— Могу подтвердить, ваше высочество, что слышал эту историю из ваших уст.

— Славное было дельце! Мы пустили в ход абордажные сабли и пистолеты. Но я-то предпочитаю рапиры. Это — оружие джентльмена. Вы слышали о моей схватке с кавалером д'Эоном? Мы устроили бой у Анджело, и я держал его на кончике рапиры целых сорок минут. Он был одним из лучших клинков в Европе. Но у меня для него чересчур быстрая рука. «Слава богу, что на острие вашей рапиры есть шишечка», — сказал он, когда мы кончили. Кстати, Треджеллис, вы ведь тоже немножко дуэлянт! Вы часто деретесь?

— Всякий раз, как мне хочется поразмяться, — беспечно ответил дядя. — Но теперь я пристрастился к теннису. В последний раз со мной вышел досадный случай, и он отбил у меня охоту к дуэлям.

— Вы убили своего противника?

— Нет, нет, сэр, хуже. У меня был сюртук, ничего равного этому сюртуку еще не выходило из рук Уэстона. Сказать, что он хорошо сидел на мне, значит ничего не сказать. Он облегал меня, точно шкура — коня. С тех пор Уэстон сшил мне шестьдесят сюртуков, но ни один не выдерживает с тем никакого сравнения. Когда я впервые увидел, как на нем посажен

воротник, я прослезился от умиления, сэр, а талия...

— Ну а дуэль, Треджеллис? — нетерпеливо воскликнул принц.

— Да, так вот, сэр, по непростительной глупости, я надел его на дуэль. Я дрался с гвардейским майором Хантером, у нас с ним вышла небольшая tracasserie^[22] после того, как я ему намекнул, что нельзя приходить к Бруксу, когда от тебя разит конюшней. Я выстрелил первый и промахнулся. Выстрелил он и я вскрикнул от ужаса. «Он ранен! Доктора! Доктора!» — закричали все. «Портного! Портного!» — сказал я, ибо полы моего шедевра были пробиты в двух местах. И уже ничем нельзя было помочь. Можете смеяться, сэр, но больше я в жизни не увижу ничего подобного.

Принц еще раньше предложил мне сесть, и я сидел на маленьком диванчике в углу, радуясь, что на меня никто не обращает внимания и что можно не принимать участия в беседе, и слушал разговоры этих господ. Они разговаривали все в той же экстравагантной манере, приправляя свои речи множеством бессмысленных бранных слов, но я заметил, что если в речах дяди и Шеридана проскальзывал юмор, то в словах Фрэнсиса чувствовался дурной нрав, а в речах принца склонность к бахвальству. Наконец разговор обратился к музыке — думаю, что это дядя так искусно его повернул, — и, услышав от него о моих склонностях, принц пожелал, чтобы я сел за чудесное маленькое фортепьяно, отделанное перламутром, которое стояло в углу, и аккомпанировал ему. Песня его, помнится, называлась «Британец покоряет, чтоб спасти», он пел ее весьма приятным басом, остальные хором подпевали, а когда он кончил, заплодировали изо всех сил.

— Bravo, мистер Стоун! — сказал принц. — У вас отличное туше, можете мне поверить: в музыке я толк знаю. Только на днях Крамер, оперный дирижер, сказал, что из всех любителей он вручил бы свою дирижерскую палочку именно мне... Э, да это ж Чарли Фокс, черт возьми!

Он кинулся навстречу человеку весьма странного вида, который только что вошел в комнату, и с необычайной теплотой пожал ему руку. Вновь пришедший был плотен, широкоплеч, одет просто, даже небрежно, держался неуклюже, ходил вперевалочку. Ему шел, должно быть, шестой десяток, лицо его, смуглое, суровое, иссечено было глубокими морщинами — следами долгой или слишком бурной жизни. Мне никогда не доводилось видеть лицо, в котором так тесно сплелась бы добродетель с пороком. Большой, высокий лоб философа, из-под густых нависших бровей глядят пронизательные, насмешливые глаза. И тяжелая челюсть сластолюбца, двойной подбородок, упирающийся в галстук. Лоб принадлежал Чарльзу Фоксу — государственному мужу, мыслителю, филантропу, человеку,

который руководил либеральной партией и поддерживал ее дух в самое трудное ее двадцатилетие. Челюсть же принадлежала Чарльзу Фоксу, каким он был в частной жизни, — игроку, распутнику, пьянице. Но в самом страшном грехе — лицемерии — его никак нельзя было обвинить. В пороке и в добродетели он был равно откровенен. По странной прихоти природы в одном теле как бы уместились две души, в одной оболочке оказалось заключено и все лучшее, и все самое дурное, что было присуще его веку.

— Я приехал из Чертси, сэр, просто чтобы пожать вам руку и убедиться собственными глазами, что вас не уволокли тори.

— Черт возьми, Чарли! Вы же знаете, что я и в горе и в радости верен своим друзьям! Вигом я был, вигом и останусь.

Судя по выражению лица Фокса, он вовсе не был уверен, что принц так уж тверд в своих принципах.

— Насколько я понимаю, сэр, до вас добрался Питт.

— Добрался, будь он неладен! Меня мутит от одного вида его острого носа, который он вечно сует в мои дела. И он и Эддингтон опять попрекали меня моими долгами. Черт побери, Чарли, Питт держится так, будто глубоко меня презирает.

Улыбка, мелькнувшая на выразительном лице Шеридана, убедила меня, что так оно и есть. Но тут все они углубились в политику, замолкая лишь для того, чтобы выпить сладкого мараскино, которое внес на подносе лакей. Несмотря на прекрасный совет, поданный мне принцем относительно британской конституции, он проклинал сейчас всех подряд: короля, королеву, палату лордов и палату общин.

— Да ведь они дают мне такие крохи, что не хватает даже на содержание моего двора! Я ведь должен платить пенсии старым слугам, мне еле-еле удастся наскрести для этого деньги. Но как бы там ни было, — он горделиво выпрямился и многозначительно кашлянул, — мой финансовый агент сделал заем, который будет возвращен после смерти короля. Это вино не для нас с вами, Чарли. Мы оба чертовски раздобрели.

— Подагра обрекает меня на неподвижность, — сказал Фокс. — Каждый месяц мой лекарь пускает мне кровь, но я от этого только толстею. Сейчас, глядя на нас, вам даже и в голову не придет, Треджеллис, что мы вытворяли... Да, нам есть что вспомнить, Чарли!

Фокс улыбнулся и покачал головой.

— Помните, как мы мчались в Ньюмаркет перед скачками? Мы остановили почтовую карету, Треджеллис, засунули фореиторов в багажник, а сами вскочили на их места. Чарли правил передней лошадью, а

я коренником. Какой-то наглец не хотел пропустить нас через заставу, тогда Чарли соскочил и мигом скинул сюртук. Мошенник решил, что перед ним боксер, и не стал нас задерживать.

— Кстати, о боксерах, сэр: в пятницу в заведении «Карета и кони» я даю ужин любителям бокса, — сказал мой дядя. — Если вы окажетесь в городе и соблаговолите к нам заглянуть, все почтут это за великую честь.

— Я не был на боксе уже четырнадцать лет, с тех пор, как портной Том Тайн убил Графа. Я тогда дал зарок, а вы ведь знаете, Треджеллис, я человек слова. Конечно, я не раз потом бывал на боксе, но инкогнито, не как принц Уэльский.

— Мы почтем за честь, сэр, если вы пожелаете на наш ужин инкогнито.

— Ладно, ладно. Шерри, запишите, чтобы не забыть. В пятницу мы будем в Карлтон-Хаусе. Принц не приедет, вы это, надеюсь, понимаете, Треджеллис, но вы можете оставить кресло для графа Честера.

— Мы будем счастливы видеть у себя графа Честера, сэр.

— Кстати, Треджеллис, — сказал Фокс, — ходит слух, что вы с сэром Лотианом Хьюмом заключили какое-то пари. Что за пари?

— Да пустяки, две его тысячи против моей одной. Он в восторге от Краба Уилсона — это новый боксер из Глостера, — и я должен найти боксера, который его побьет. По условиям, ему может быть и меньше двадцати и больше тридцати пяти лет, лишь бы весил примерно сто восемьдесят фунтов.

— Тогда непременно спросите мнение Чарли Фокса, — сказал принц. — Когда дело идет о том, на какую лошадь или на какого петуха поставить, как выбрать партнера за карточным столом или боксера, у него самый верный глаз во всей Англии. Что вы скажете, Чарли, кто бы мог побить Краба Уилсона из Глостера?

Я был поражен, услышав, с каким интересом и знанием дела все эти вельможи говорят о боксе. Они знали наперечет все бои не только лучших боксеров того времени — Белчера, Мендосы, Джексона, Голландца Сэма, — но и самых безвестных; знали о них все, могли перечислить, когда и с кем кто дрался, и предсказать, что с кем будет дальше. Они никого не забыли, они обсудили всех старых и молодых — их вес, выносливость, силу удара, телосложение.

Глядя, с каким азартом Шеридан и Фокс спорили о том, выстоит ли Калейб Болдуин, вестминстерский уличный торговец, против Исаака Биттуна, еврея, невозможно было и подумать, что один из них глубочайший в Европе философ-политик, а другого будут помнить как автора

остроумнейшей комедии и самой знаменитой речи той эпохи.

Имя Чемпиона Гаррисона всплыло в самом начале разговора, и Фокс, который был очень высокого мнения о Крабе Уилсоне, полагал, что дядя выиграет пари только при одном условии: если ветеран снова выйдет на ринг.

— Он неповоротлив, но зато он умеет думать на ринге и удар у него сокрушительный. Когда он нанес решающий удар Черному Баруху, тот перелетел через все канаты и шлепнулся среди зрителей. Если он еще не вовсе выдохся, Треджеллис, лучшего боксера вам не найти.

Дядя пожал плечами.

— Будь тут несчастный Эйвон, кузнеца, может, и удалось бы уговорить: ведь Эйвон был его покровителем, и Гаррисон был очень ему предан. Но жена его — слишком для меня крепкий орешек. А теперь, сэр, разрешите откланяться. У меня сегодня беда: пропал мой камердинер, лучший во всей Англии; надо узнать, чем кончились розыски. Благодарю вас, ваше высочество, за то, что вы так милостиво обошлись с моим племянником.

— Значит, до пятницы, — сказал принц. — В пятницу мне все равно надо быть в городе, один бедняга — офицер на службе у Индийской компании — обратился ко мне за помощью. Если удастся раздобыть несколько сот фунтов, я с ним повидаюсь и все улажу... Что ж, мистер Стоун, перед вами еще вся жизнь, и, я надеюсь, вы проживете ее так, что дядя сможет вами гордиться. Читите короля и относитесь с должным уважением к конституции, мистер Стоун. И смотрите избегайте долгов и помните, что честь превыше всего.

Я сохранил его в памяти таким, каким видел в эту последнюю минуту: пухлое добродушное лицо, завязанный под самым подбородком шейный платок и широкие бедра, обтянутые кожаными штанами. Мы опять прошли через анфиладу диковинных комнат с позолоченными чудищами и великолепными ливрейными лакеями, и, когда я снова оказался на воздухе, увидел перед собой широкую синь моря и меня овеяло свежим вечерним ветерком, я испытал огромное облегчение.

Глава VIII

БРАЙТОНСКАЯ ДОРОГА

На другое утро мы с дядей поднялись рано; но он был явно не в духе: об Амброзе все не было никаких вестей. Я как-то читал об особой породе муравьев, которые привыкли, что их кормят муравьи помельче, и, лишившись своих нянек, погибают от голода; дядя напоминал мне сейчас такого муравья. Лишь с помощью слуги, которого где-то раздобыл для него хозяин гостиницы, и лакея, которого спешно отрядил к нему Фокс, ему наконец удалось кое-как совершить свой туалет.

— Я должен выиграть эти гонки, племянник, — сказал он, когда мы встали из-за стола. — Я не могу позволить, чтобы меня обошли. Выгляни в окно, посмотри, здесь ли Лейды.

— На площади стоит красная карета четверкой, а вокруг толпа. Да, на козлах та самая дама.

— А наша коляска подана?

— Да, ждет у дверей.

— Тогда идем, тебе предстоит незабываемая поездка.

Он остановился в дверях, натягивая длинные коричневые перчатки и отдавая распоряжения конюхам.

— Тут имеет значение каждая унция лишнего веса. Корзинку с завтраком не возьмем... Болонку оставляю на ваше попечение, Коппингер. Вы ее знаете и понимаете. Давайте ей, как обычно, теплое молоко с кюрасо... Тпру, милые, до Вестминстерского моста вам еще успеет надоесть это занятие.

— Прикажете принести туалетную шкатулку? — спросил хозяин гостиницы.

В душе дяди явно происходила борьба, но он остался верен своим принципам.

— Поставьте ее под сиденье, под переднее сиденье, — сказал он. — Держись как можно ближе к передку, племянник. Ты умеешь дудеть в рожок? Ну что ж, раз нет, значит, бог с ним. Подтяните эту подпругу, Томас. Вы смазали ступицы, как я велел? Ну, племянник, прыгай, мы их проводим.

На площади собралась огромная толпа — мужчины и женщины, торговцы и щеголи — придворные принца, офицеры из гавани, слышался взволнованный гул голосов, ибо сэр Джон Лейд и мой дядя славились

своим умением править лошадьми и состязанию между ними предстояло на много дней стать темой бесконечных разговоров.

— Принц будет огорчен, что не увидел старта, — сказал дядя. — Но до полудня он не показывается... А, Джек, доброе утро!.. Ваш слуга, сударыня! Прекрасный день для небольшой прогулки!

Когда наша коляска с двумя крепкими, запряженными цугом лошадьми, шерсть которых блестела и переливалась на солнце, точно шелковая, поравнялась с четверкой сэра Лейда, по толпе прокатился гул восхищения. Мой дядя, в желтовато-коричневом выездном рединготе, с упряжью в тон, был поистине великолепен: сразу видно великосветского кучера-любителя. А у сэра Джона Лейда было грубое, обветренное лицо, плащ со множеством накидок и белая шляпа; окажись он в трактире среди настоящих кучеров, он вполне сошел бы там за своего и никто бы не догадался, что это один из богатейших землевладельцев Англии. То был век всяческих чудачеств, но сэр Лейд выкинул такую штуку, которая поразила даже самых непревзойденных чудаков: он женился на возлюбленной знаменитого разбойника с большой дороги, когда виселица разлучила ее с другом сердца. Леди Лейд восседала сейчас рядом с мужем и в сером дорожном костюме и украшенной цветами шляпке выглядела весьма эффектно, а четверка великолепных вороных коней с отливающими золотом могучими крупами нетерпеливо била копытами.

— Ставлю сотню, что, если вы дадите нам четверть часа форы, вам не удастся завидеть нас раньше Вестминстера, — сказал сэр Джон.

— Ставлю еще сотню, что мы вас обойдем, — ответил дядя.

— Хорошо. Нам пора. До свидания!

Сэр Лейд прищелкнул языком, тряхнул вожжами, отсалютовал кнутом, как настоящий кучер, и тронул лошадей, да так искусно взял поворот с площади, что толпа разразилась восторженными криками. Грохот колес по булыжной мостовой становился все тише, тише, пока не затих совсем.

Никогда еще четверть часа не тянулась так бесконечно долго, но вот наконец церковные часы начали бить девять. Все это время я нетерпеливо вертелся и ерзал на сиденье, но бесстрастное, бледное лицо дяди, его голубые глаза были так же спокойны и невозмутимы, как у равнодушнейшего из зрителей. На самом же деле он был натянут как струна, и мне показалось, что он взмахнул кнутом одновременно с первым ударом часов, — он не хлестнул лошадей, лишь щелкнул кнутом — и сразу же загрохотали колеса, зазвенела сбруя, лошади понесли нас в наш пятидесятимильный путь. Я слышал крики позади, видел, как люди высовывались из окон и махали платками, и вдруг кончилась мощеная

улица, перед нами извивалась хорошая белая дорога, и с двух сторон к ней подступали зеленые холмы.

Дядя снабдил меня, шиллингами на случай, если нас остановят у заставы, но весь трудный подъем до Клейтон-Хилла он сдерживал лошадей и они шли легкой рысью. Он дал им волю лишь за Клейтон-Хиллом, и мы так молниеносно пронеслись через Монахов дуб и пустырь, что желтый домик, в котором осталось все, что я любил больше всего на свете, промелькнул мимо нас в один миг. Никогда еще я не ездил так быстро, никогда не испытывал такой радости от того, что в лицо с силой ударяет бодрящий воздух, а прямо передо мной мчатся великолепные животные; от того, что громко стучат копыта, и гремят колеса, и подпрыгивает и качается легкая коляска.

— Отсюда до Хэнд-Кросса добрых четыре мили, и все в гору, — сказал дядя, когда мы промчались через Какфилд. — Надо немного попридержаться лошадей, я не могу себе позволить погубить таких великолепных животных. В их жилах течет отличная кровь, и, если у меня хватит жестокости дать им волю, они будут мчаться, пока не упадут. Привстань на сиденье, племянник, и посмотри, не видно ли Лейдов.

Я встал, держась за плечо дяди, и хотя видел вперед на целую милю, а то и больше, четверки Лейда не было и следа.

— Если он через все эти холмы гнал лошадей во всю прыть, они у него выбьются из сил еще до Кройдона, — сказал дядя.

— У них четверка против нашей пары, — заметил я.

— Je suis bien aise^[23]. Вороные сэра Джона — хорошая, выносливая порода, но для быстрой езды они не созданы, не то что мои гнедые. Вон там, видишь, башни, это Какфилдский замок. Теперь мы идем в гору, так что садись в самый перед, племянник, прямо на щиток. Нет, ты только посмотри, как тянет эта коренная. Ты когда-нибудь видел такую легкость и красоту?

Мы поднимались на холм легкой рысцой, и все же возчик, шагавший по обочине в тени своего грузного фургона с массивными колесами, проводил нас недоуменным взглядом. Почти у самого Хэнд-Кросса мы обогнали дилижанс, который отправился из Брайтона в половине восьмого утра; он тяжело взбирался в гору, а пассажиры, которые брели позади, задыхаясь от пыли, проводили нас приветственными криками. В Хэнд-Кроссе хозяин гостиницы выбежал из дверей с джином и имбирным пряником, но мы промчались мимо; дорога наконец-то пошла вниз, и мы понеслись со всей быстротой, на какую были способны восемь превосходных лошадиных ног.

— Ты умеешь править, племянник?

— Очень скверно, сэр.

— Впрочем, на Брайтонской дороге это искусство ни к чему.

— Как так, сэр?

— Слишком хорошая дорога, племянник. Мне достаточно отпустить вожжи, и лошади сами домчат меня до Вестминстера. Раньше было не так. В дни моей молодости здесь, как и на любой другой дороге, можно было обучиться всем тонкостям этого искусства. Теперь южнее Лестершира уже нет настоящей езды. А вот если человек сумеет проехать в экипаже по дорогам Йоркшира, значит, он прошел хорошую школу.

Мы промчались через Кроли-Даун, на всем скаку въехали на главную улицу селения Кроли и так ловко проскочили между двумя фургонами, что мне стало ясно: умелому кучеру еще и сегодня есть где показать свое искусство. При каждом повороте я пристально смотрел вперед — не завижу ли наших противников, а дядя, казалось, совсем о них и не думал, он наставлял меня и пересыпал свои советы таким количеством специальных словечек, что я едва поспевал за его мыслью.

— Держи каждую вожжу на другом пальце, не то перепутаются, — говорил он. — А что до кнута, так чем меньше ты будешь им размахивать, тем лучше, если у тебя лошади сами рвутся вперед, но если тебе хочется ехать быстрее, смотри ударяй именно ту, какую требуется, но после этого кнутом не поигрывай. Я видел однажды, как всякий раз, когда кучер хотел хлестнуть пристяжную, доставалось пассажиру, сидевшему за ним на крыше с этого боку. Если не ошибаюсь, вон то облако пыли — это они.

Перед нами тянулась ровная лента дороги, перечеркнутая многочисленными тенями растущих по обочинам деревьев. Через зеленые поля катила ленивые голубые воды неторопливая река и прямо перед нами скрывалась под мост. Вдали молодые пихты, а за их оливковой гранью несясь вперед белый вихрь, точно облако в ветреный день.

— Да-да, это они! — воскликнул дядя. — Кто еще будет так мчаться? Знаешь, когда мы у Кимберхемского моста пересечем дамбу, это будет уже половина пути, и мы проделали ее за два часа четырнадцать минут. Принц доехал до Карлтон-Хауса на трех лошадях за четыре с половиной часа. Первая половина пути самая скверная, и, если все пойдет хорошо, мы побьем его время. Мы можем до Рейгета выиграть несколько минут.

И мы понеслись. Гнедые, казалось, понимали, что за белое облако вьется впереди, и гнались за ним, как борзые. Мы настигли какой-то фаэтон, запряженный парой и направлявшийся в Лондон, и вот он уже далеко позади, словно даже и не двинулся с места. Деревья, ворота, дома,

приплясывая, проносились мимо. Мы слышали крики людей, работавших в поле, — они, видно, думали, что мы удираем от погони. А мы неслись быстрее, быстрее, и копыта стучали точно кастаньеты, и развевались золотистые гривы, и колеса жужжали и скрипели, и стонали шарниры и заклепки, и коляску бросало из стороны в сторону, так что я в конце концов, сам того не заметив, уцепился за боковой поручень. Когда впереди, в ложбине, показались бурые дома и серые черепичные крыши Рейгета, дядя придержал лошадей и посмотрел на часы.

— Мы проделали последние шесть миль меньше чем за двадцать минут, — сказал он. — Теперь у нас есть в запасе время, и если попоить лошадей в «Красном льве», им это не повредит... Красная карета четверкой проехала? — спросил он конюха.

— Только что, сэр.

— Очень гнали?

— Прытко скакали, сэр! На углу Хай-стрит сбили колесо у тележки мясника. Мальчишка мясника еще и головы не успел повернуть, а их уже и след простыл.

Фью-у-у! — взвился длинный кнут; и вот мы снова мчимся во весь опор. В Редхилле был базарный день, и вся дорога оказалась забита повозками со всевозможной снедью, гуртами волов и фермерскими двуколками. Было на что посмотреть, когда мой дядя прокладывал путь в этой сутолоке. Мы промчались через базарную площадь, вслед нам неслись крики мужчин, визг женщин, испуганно кудахтали куры, а мы уже снова мчались по дороге, и перед нами был крутой редхиллский подъем. Дядя взмахнул кнутом и лихо гикнул.

Впереди, вверх по холму, катилось облако пыли, и в нем смутно маячили спины наших противников, сверкала медь, мерцало что-то алое.

— Ну, пари наполовину выиграно, племянник. Теперь надо их обойти... Наддайте жару, красавицы!.. Черт возьми, Китти охромела!

И правда, передняя лошадь вдруг стала припадать на одну ногу. В тот же миг мы выскочили из коляски и опустились на колени около лошади. Дело было всего лишь в камешке, который застрял в стрелке подковы, но, чтобы вытащить его, нам потребовалось минуты две. Когда мы снова заняли свои места, Лейды уже скрылись за холмом, и мы потеряли их из виду.

— Не повезло, — буркнул дядя. — Но далеко им не уйти! — Впервые за все время он хлестнул лошадей (до этой минуты он лишь взмахивал кнутом над их головами). — Если мы обгоним их на ближайших милях, дальше можно будет ехать тише.

Лошади уже заметно устали. Они дышали часто и хрипло, а прекрасные шкуры потемнели от пота. Однако, поднявшись на вершину холма, они снова помчались во весь дух.

— Куда, черт возьми, они девались? — воскликнул дядя. — Ты их видишь, племянник?

Перед нами расстилалась длинная белая лента дороги, вся испещренная точками — то двигались повозки и фургоны из Кройдона в Редхилл, но большая красная карета словно сквозь землю провалилась.

— Вон они! Свернули! Свернули в сторону! — закричал дядя, заворачивая гнедых на боковую дорогу, справа от той, по которой мы ехали. — Вот они, племянник! На вершине холма!

И в самом деле, справа от нас, где дорога, извиваясь, шла снова вверх, появилась четверка — лошади скакали во весь опор. Наши гнедые напрягли все силы, прибавили ходу — и расстояние между нами и Лейдом стало понемногу сокращаться. Я уже видел черную ленту на белой шляпе сэра Джона, а вот уже можно сосчитать складки на его плаще, и, наконец, я увидел хорошенькое личико его жены — она как раз оглянулась на нас.

— Мы на проселочной дороге, она ведет в Годстон и Уорлингем, — сказал дядя. — Лейд, должно быть, решил, что выиграет время, если свернет с дороги, по которой все едут на базар. Но впереди чертовски крутой спуск. Если я не ошибаюсь, племянник, тебе предстоит развлечение.

И в ту же минуту вдруг исчезли передние колеса четверки, потом исчез сам экипаж, потом фигуры людей на козлах, и все это так неожиданно и стремительно, словно карета запрыгала вниз по трем первым ступеням гигантской лестницы. Еще миг — и мы уже тоже на этом месте, а перед нами крутая и узкая дорога, извиваясь, длинными петлями спускается в долину. Красная карета, со свистом рассекая воздух, стремительно катится вниз.

— Так я и знал! — закричал дядя. — Раз он не тормозит, я тоже не стану... Ну-ка, милые, один добрый рывок — и они увидят лишь наши спины.

Мы перемахнули через гребень и бешено ринулись вниз, а перед нами с громом и грохотом неслась огромная красная карета. Вот мы уже в облаке поднятой ею пыли и ничего не видим, лишь смутно различаем какое-то алое пятно посередине, карету бросает из стороны в сторону, и с каждой секундой очертания ее становятся все более четкими. Мы слышим, как щелкает впереди кнут, как пронзительно понукает лошадей леди Лейд. Дядя не произносит ни слова; я бросаю на него быстрый взгляд и вижу, что губы его крепко сжаты, глаза блестят, а на бледных щеках проступил

неяркий румянец. Погонять лошадей незачем: они несутся так, что теперь их нельзя ни остановить, ни придержать. Голова передней лошади поравнялась с задними колесами красной кареты, потом с передними... Следующую сотню ярдов мы не выиграли ни единого дюйма, потом наши лошади сделали рывок, и передняя уже шла голова в голову с вороным коренником Лейда, а наше переднее колесо оказалось всего в каком-нибудь дюйме от их заднего.

— Пыльная работа! — спокойно сказал дядя.

— Погоняй, Джек, погоняй! — взвизгнула леди Лейд.

Сэр Джон вскочил и хлестнул лошадей.

— Берегитесь, Треджеллис! — закричал он. — Кому-то не миновать разбиться!

Теперь мы шли рядом с нашими противниками, круп к крупу, колесо к колесу. Нас разделяли каких-нибудь шесть дюймов, и я каждую секунду ожидал, что вот сейчас колесо со скрежетом ударится о колесо. Но теперь, когда мы вынырнули из облака пыли, нам видна была дорога впереди, и от того, что мы там увидели, дядя даже присвистнул.

Ярдах в двухстах перед нами лежал мост с деревянными столбами и перилами по обеим сторонам. У моста дорога сужалась, два экипажа рядом там проехать не могли. Кто-то должен будет уступить дорогу. Наши колеса уже поравнялись с коренниками Лейда.

— Я впереди! — закричал дядя. — Вам придется придержать лошадей, Лейд!

— Как бы не так! — прорычал тот.

— Ни за что! — пронзительно закричала его супруга. — Погоняй, Джек. Знай погоняй!

Мне казалось, мы все вместе устремляемся в пропасть. Но дядя сделал то единственное, что еще могло нас спасти. Отчаянным усилием мы еще могли вырваться вперед до съезда на мост. Дядя вскочил и стегнул обеих лошадей по бокам; обезумев от непривычной боли, они яростно рванулись вперед. Грохоча, наши экипажи рядом неслись вниз, и все мы, вне себя от возбуждения, наверно, громко кричали, но вот мы стали постепенно вырываться вперед и, почти обойдя наших противников, влетели на мост. Я оглянулся и увидел, как леди Лейд, сжав свои белые хищные зубки, вся подалась вперед и обеими руками вцепилась в вожжи.

— Прижми их, Джек! — вопила она. — Прижми этих... пока они еще не проскочили!

Схвати она вожжаи секундой раньше, мы неминуемо налетели бы на деревянные столбы и вместе с ними рухнули бы в речную глубь. Но теперь

нас задел не могучий круп пристяжной, а ее плечо, и ей не удалось сбить нас в сторону. Я увидел кровавый рубец — он вдруг проступил на вороной шкуре, но в следующее мгновение мы уже мчались по дороге, а четверка стояла на месте, и сэр Джон и его супруга, соскочив на землю, осматривали раненую лошадь.

— Поубавьте шаг, красавицы! — крикнул дядя, опускаясь на сиденье, и оглянулся через плечо. — Я бы никогда не поверил, что сэр Джон Лейд способен на подобную выходку — пустить пристяжную поперек дороги. Такого рода *mauvaise plaisanterie*^[24] непозволительны. Он сегодня же вечером получит от меня несколько строк.

— Это сделала леди Лейд, — сказал я.

Дядя просветлел и рассмеялся.

— Значит, это малютка Летти, вот как? — сказал он. — Я сам должен был это понять. Чувствуется рука покойного висельника. Ну, дамам я пишу совсем другие послания, так что просто поедем своей дорогой, племянник, и возблагодарим судьбу, что мы целыми и невредимыми переехали через Темзу.

Мы остановились в Кройдоне, в «Борзой», и там наших добрых гневных почистили, обласкали и накормили, после чего мы не спеша поехали дальше через Норбери и Стритем. Постепенно полей становилось меньше, ограды стали длиннее, виллы все теснее жались друг к другу, пока не сошлись вплотную, и вот мы уже едем между двумя рядами домов с богатыми магазинами на углах, и по улице стремится такой поток экипажей, какого я еще не видывал.

Потом мы вдруг оказались на широком мосту через темно-бурую, угрюмую реку, по которой плыли тупоносые баржи. Справа и слева по берегам, насколько хватал глаз, тянулась изломанная, неровная линия разноцветных домов.

— Это парламент, — сказал дядя, показывая кнутом на одно из зданий, — а вон те черные башни — Вестминстерское аббатство... Как поживаете, ваша светлость? Как поживаете?.. Вон тот дородный господин в синем, на коне с пышным хвостом — герцог Норфолкский. А теперь мы на Уайтхолле. Слева казначейство. Главный штаб английской армии, а вон, видишь, на тех воротах высечены каменные дельфины — это адмиралтейство.

Я, как и всякий юноша, воспитанный в провинции, думал, что Лондон — это сплошь дома, каменный лес, и был поражен, увидев зеленые лужайки между ними и прелестные деревья в нежной весенней листве.

— Да, это Королевские сады, — сказал дядя, — а вон окно, из которого

Карл сделал последний шаг — на эшафот. Даже и подумать нельзя, что гневные проделали пятьдесят миль, правда? Ты только взгляни, как les petites chéries^[25] выступают, чтобы сделать честь своему хозяину. Посмотри на господина с резкими чертами лица — вон он выглядывает из окна кареты. Это Питт, он направляется в парламент. Сейчас мы въезжаем на Пэл-Мэл, вон то огромное здание слева — Карлтон-Хаус, дворец принца. А это Сент-Джеймс — вон тот громадный закопченный дворец с часами, и перед ним два часовых в красных мундирах. Это знаменитая улица, она носит то же имя, Сент-Джеймс, это центр мира, племянник; вот начинается Джермин-стрит; а вот и мой домик, мы доехали из Брайтона меньше чем за пять часов.

Глава IX

У ВАТЬЕ

Особнячок дяди на Джермин-стрит был совсем маленький — пять комнат и мансарда. «Хороший повар и хижина — вот все, что требуется философу», — сказал сэр Чарльз. Но комнаты были обставлены с присущим ему изяществом и вкусом, так что его приятели, даже самые богатые, обнаруживали в этих маленьких комнатах нечто, после чего их собственные пышные особняки больше не казались им такими уж безупречными. Даже мансарда, где для меня устроили спальню, была хоть и крохотная, но на редкость изящная. Во всех комнатах было множество красивых, дорогих безделушек, так, что дом походил на прелестный маленький музей, который привел бы в восторг всякого истинного знатока. Видя, что я разглядываю эти милые вещицы, дядя пожал плечами и слегка махнул рукой.

— Это все *des petites cadeaux*^[26], - сказал он. — Но скромность не позволяет мне добавить еще какие-либо объяснения.

Нас ждала записка от Амброза, но она не пролила свет на его исчезновение, а, напротив, делала его еще более загадочным.

«Дорогой сэр Чарльз Треджеллис, — гласила она, — я всегда буду сожалеть, что обстоятельства вынудили меня так внезапно оставить службу у вас, но по дороге из Монахова дуба в Брайтон случилось нечто, заставившее меня поступить именно так, а не иначе. Я, однако, надеюсь, что через некоторое время смогу к вам вернуться. Рецепт желатина для манишек хранится в сейфе банка Драммонда.

Ваш смиренный слуга

Амброз».

— Да, — сердито сказал дядя, — придется искать ему замену. Но что же все-таки могло случиться прямо на дороге, когда мы скакали во весь опор? Конечно, такого искусника по части шоколада и галстухов мне не сыскать. *Je suis desolé!*^[27]. А теперь, племянник, надо послать за Уэстоном и заняться твоим гардеробом. Джентльмену не пристало ходить к мастеру,

мастер должен приходить к джентльмену. Пока тебя не оденут как следует, придется тебе жить затворником.

Меня обмерили с головы до пят, это оказалось весьма торжественной и серьезной процедурой, но не шло ни в какое сравнение с примеркой, которая происходила два дня спустя, — дядя терзался мрачными предчувствиями всякий раз, когда на меня надевали какую-нибудь часть костюма. Он спорил с Уэстоном о каждом шве, лацкане, фалде, и они крутили меня и вертели во все стороны, так что под конец у меня закружилась голова. Потом, когда все уже, как мне казалось, было решено, явился молодой мистер Бруммел, который обещал перещеголять в щегольстве даже моего дядю, и все началось сначала. Он был хорошо сложен, этот Бруммел, светлый шатен, с красивым, удлинённым лицом и рыжеватыми бакенбардами. Манеры его отличались некоторой томностью, говорил он медленно, и хотя превосходил дядю своеобразием речей, в нем не чувствовалось мужественности и решительности, которые сквозили за дядиной манерностью.

— А, Джордж! — воскликнул дядя. — Я думал, вы уже в своем полку.

— Я подал в отставку, — растягивая слова, ответил Бруммел.

— Я был уверен, что этого не миновать.

— Да. Десятый полк послали в Манчестер, и я, разумеется, не мог поехать в такую глушь. Кроме того, майор оказался чудовищным грубияном.

— То есть как?

— Он вообразил, что я должен знать наизуток все его нелепые правила маршировки, а у меня, как вы понимаете, и без того есть чем занять мысли. На плацу я сразу находил свое место, так как всегда прямо позади меня оказывался один красноносый кавалерист на чубаром коне. Это меня избавило от многих неприятностей. Но на днях, когда я явился на плац, я проскакал в одну сторону, в другую, но красноносый будто сквозь землю провалился! Наконец, когда я уже совсем не знал, что делать, я вдруг увидел — он стоял в стороне в полном одиночестве, ну, и я, конечно, тут же стал перед ним. Оказалось, его поставили охранять плац, и майор позволил себе так забыть, что сказал, будто я понятия не имею о своих обязанностях.

Дядя рассмеялся, а Бруммел придиричиво оглядел меня с головы до ног.

— Это вполне сносно, — сказал он. — Темно-желтый с синим — отличное сочетание для джентльмена. Но сюда больше подошел бы вышитый жилет.

— Не согласен, — горячо возразил дядя.

— Мой дорогой Треджеллис, вы непогрешимы во всем, что касается галстухов, но уж о жилетах разрешите мне иметь собственное суждение. Сейчас жилет выглядит превосходно, но небольшая красная вышивка придавала бы ему необходимую законченность.

Они спорили добрых десять минут, приводили множество примеров и сравнений, ходили вокруг меня, склоняли голову набок, подносили к глазам лорнеты. Наконец, они на чем-то помирились, и я вздохнул с облегчением.

— Мои слова, мистер Стоун, ни в коем случае не должны поколебать вашу веру в суждения сэра Чарльза, — с большим чувством заявил Брумел.

Я заверил его, что у меня этого и в мыслях не было.

— Будь вы моим племянником, я бы, разумеется, хотел, чтобы вы следовали моему вкусу. Но вы и так будете выглядеть превосходно. У меня есть молодой родственник, и в прошлом году он явился в город с письмом, кое препоручало его моим заботам. Но он не желал слушать никаких советов. На исходе второй недели я встретил его на Сент-Джеймс-стрит в сюртуке табачного цвета, сшитом у провинциального портного. Он мне поклонился. Я, разумеется, знал, как мне следует поступить. Я посмотрел сквозь него, и на этом его карьере в столице пришел конец. Вы ведь из провинции, мистер Стоун?

— Из Суссекса, сэр.

— А, Суссекс? Там живут мои прачки — где-то близ Хайуордс-Хит есть одна, которая отлично крахмалит рубашки. Я посылаю ей каждый раз две штуки, потому что, если послать больше, она разволнуется и будет уже не так внимательна. Стирать умеют только в провинции. Но если бы мне пришлось там жить, я был бы безутешен. Ну что там делать порядочному человеку?

— Вы не охотитесь, Джордж?

— Только за женщинами. А неужели вы охотитесь с гончими, Чарльз?

— Прошлой зимой я ездил на охоту с Бельвуаром.

— Что за радость — скакать в толпе засаленных фермеров? Конечно, у каждого свой вкус, но я, например, предпочитаю днем сидеть у Брукса, а вечером в уютном уголке за макао у Ватье — так я получаю все, что нужно для тела и для души. Вы слышали, как я пощипал пивовара Монтэга?

— Меня не было в городе.

— Я выиграл у него восемь тысяч за один вечер. «Теперь я буду пить ваше пиво, мистер пивовар», — сказал я. «Его пьют все лондонские мерзавцы», — ответил он. Это было чудовищно невежливо с его стороны, но не все умеют проигрывать изящно. Что ж, я иду на Кларджес-стрит —

хочу заплатить ростовщику Кингу часть процентов. Вы не собираетесь в ту сторону? Ну, тогда до свидания! Мы еще, разумеется, увидимся в клубе или на Пэл-Мэл. — И он неторопливо удалился.

— Этому молодому человеку суждено занять мое место, — мрачно сказал дядя, когда Брумел вышел. — Он еще слишком молод и незнатного рода, но завоевал положение в обществе хладнокровным бесстыдством, природным вкусом и изысканной манерой выражаться. Никто не умеет грубить столь любезно. Уже сейчас в клубах его суждения соперничают с моими. Что ж, каждому свое время, и, когда я почувствую, что мое миновало, я больше ни разу не покажусь на Сент-Джеймс-стрит: вторые роли не по мне. А теперь, племянник, в этом сюртуке ты можешь появиться где угодно, так что, если хочешь, сядем в коляску и я покажу тебе город.

Какими словами передать все, что мы видели и что делали в этот восхитительный весенний день! Казалось, меня перенесли в сказочный мир, и дядя, точно добрый волшебник в длинном сюртуке с высоким воротником, показывал мне этот мир. Он привез меня в Вест-Энд. Мимо проносились яркие кареты, спешили в разные стороны дамы в разноцветных нарядах и мужчины в темных сюртуках; они торопливо переходили улицу, возвращались обратно — мне казалось, я попал в муравейник, который разворошили палкой. Бесконечны были берега, образуемые домами, неиссякаем живой поток, стремящийся меж ними — ничего подобного я и вообразить не мог. Потом мы проехали по Стрэнду, где толпа была еще гуще, и даже проникли за Темплбар, в Сити, но дядя просил меня никому не говорить, что возил меня туда: он не хотел, чтобы это стало известно. Я увидел там биржу и Английский банк, кофейню Ллойда, торговцев в коричневых сюртуках, с резко очерченными лицами, торопливо шагающих клерков, могучих ломовых лошадей и усталых возчиков. То был совсем иной мир, непохожий на тот, что остался в западной части города, — мир энергии, силы, где нет места лени и праздности. И, хотя я был тогда очень молод, я понял, что именно здесь, среди леса мачт торговых кораблей, среди тюков, которые громоздятся до самых окон пакгаузов, среди нагруженных фургонов, что с грохотом катятся по булыжной мостовой, — именно здесь сосредоточено могущество Британии. Лондонское Сити — это тот главный корень, от которого пошли империя, богатство и многие иные прекрасные побеги. Могут меняться моды, речи, манеры, но дух предприимчивости, которым на этом небольшом пространстве проникнуто решительно все, должен остаться неизменным, ибо, если иссякнет он, иссякнет все, чему он дал начало.

Мы позавтракали у Стивена, в модной гостинице на Бонд-стрит, от дверей которой до конца улицы выстроилась вереница тильбюри и верховых лошадей. Оттуда мы отправились на Пэл-Мэл в Сент-Джеймском парке, потом к Бруксу, в знаменитый клуб вигов, а оттуда к Ватье, где собирались светские игроки. Повсюду я встречал людей одного сорта — очень прямых, с очень тонкими талиями; все они выказывали моему дяде величайшее почтение и ради него были учтивы со мной. Разговор всюду напоминал тот, что я уже слышал в Брайтоне у принца, — болтали о политике, о здоровье короля, о расточительности принца, о том, что скоро должна вновь начаться война, о скачках, о боксе. Я убедился также, что дядя был прав: чудачества вошли в моду, — и если в Европе нас по сей день считают нацией помешанных, то это потому, что в ту пору путешествовать отправлялись лишь лица из того круга, с которым мне тогда довелось познакомиться, и только по ним Европа составляла свое представление об англичанах.

То была эпоха героизма и безрассудства. С одной стороны, угроза нашествия Буонапарте, нависшая над Англией, выдвинула на передний план таких солдат, моряков и государственных деятелей, как Питт, Нельсон, а позднее Веллингтон. Мы были сильны оружием, и скоро нам предстояло прославиться литературой, ибо ни один европейский писатель не мог в то время сравниться с Вальтером Скоттом и Байроном. С другой стороны, примесь безумия, истинного или напускного, была тем ключом, который отворял двери, запертые для мудрости и добродетели. Один способен был войти в гостиную вверх ногами, другой подпиливал себе зубы, чтобы свистеть, как заправский кучер, третий говорил вслух все, что думал, и потому непрестанно держал в страхе гостей, — именно таким людям было легче всего выдвинуться в лондонском свете. Безрассудство не пощадило и героев — лишь немногие сумели устоять против этой заразы. В эпоху, когда премьер-министр был пьяница, лидер оппозиции — распутник, а принц Уэльский — и то и другое вместе, трудно было найти человека, который был бы образцом и в частной, и в общественной жизни. И однако, при всех своих несовершенствах то был век сильных духом, и можете считать, что вам очень повезло, читатель, если в ваше время появятся разом такие пять имен, как Питт, Фокс, Скотт, Нельсон и Веллингтон.

В тот вечер у Ватье, сидя подле дяди на красном бархатном диванчике, я впервые увидел кое-кого из людей, чьи слава и чудачества не забыты миром еще и по сей день. Длинный зал, с множеством колонн, с зеркалами и канделябрами, был переполнен полнокровными, громкоголосыми джентльменами во фраках, в белых шелковых чулках, в батистовых

манишках, с маленькими плоскими треуголками под мышкой.

— Старик с кислой миной и тонкими ногами — это герцог Куинсберри, — сказал дядя. — В состязании с графом Таафом он проехал в фаэтоне девятнадцать миль за один час, и ему удалось за полчаса передать письмо на расстояние в пятьдесят миль — письмо перебрасывали из рук в руки с крикетным мячом. А разговаривает он с сэром Чарльзом Бенбери из Жокей-клуба, который удалил принца из Ньюмаркета, так как заподозрил его жокея Сэма Чифни в мошенничестве. К ним сейчас подошел капитан Барклей. Это великий поклонник тренировки: он прошел девяносто миль за двадцать один час. Стоит взглянуть на его икры, и сразу станет ясно, что сама природа создала его для этого. А вон еще один любитель прогулок — у камина, в пестром жилете. Это Щеголь Уэлли, он ходил пешком в Иерусалим в длинном синем сюртуке, в ботфортах и в штанах из оленьей кожи.

— А зачем ему это понадобилось, сэр? — удивленно спросил я.

Дядя пожал плечами.

— Так ему вздумалось, — сказал он. — Эта прогулка раскрыла перед ним двери высшего света, что куда важнее Иерусалима. Человек с крючковатым носом — лорд Питерсхем. Он встает в шесть вечера, и у него лучшие в Европе запасы тончайших нюхательных табаков. Разговаривает он с лордом Пэнмьюром, который может в один присест выпить шесть бутылок кларета, а потом как ни в чем не бывало вести споры с епископом... Добрый вечер, Дадли!

— Здравствуйте, Треджеллис! — Пожилой, рассеянного вида человек остановился возле нас и смерил меня взглядом. — Чарли Треджеллис вывез из провинции какого-то юнца, — пробормотал он. — Не похоже, что юнец будет делать ему честь... Уезжали из Лондона, Треджеллис?

— Да, на несколько дней.

— Гм, — сказал этот господин, переведя сонный взгляд на дядю. — Выглядит скверно. Если он не займется собой всерьез, его в самое ближайшее время вынесут из дома ногами вперед! — Он кивнул и прошел дальше.

— Не падай духом, племянник, — со смехом сказал дядя. — Это старый лорд Дадли. Он имеет обыкновение думать вслух. Все привыкли к его оскорблениям и теперь уже просто не обращают на него внимания. Всего лишь на прошлой неделе он обедал у лорда Элгина и стал извиняться перед обществом за кушанья, приготовленные из рук вон плохо. Видишь ли, он думал, что обедает у себя дома. Все это помогло ему занять особое место в обществе. А сейчас он допекает лорда Хэйрвуда. Хэйрвуд известен

тем, что во всем подражает принцу. Однажды принц случайно заложил косичку парика за воротник сюртука, а Хэйрвуд тотчас взял и отрезал косичку от своего парика, решив, что они вышли из моды. А вот урод Ламли. В Париже его прозвали L'homme laid^[28]. Рядом с ним лорд Фоли, его называют «Номер одиннадцать», потому что у него очень тонкие ноги.

— Здесь и мистер Бруммел, сэр, — сказал я.

— Да, он сейчас к нам подойдет. У этого молодого человека есть будущее. Ты заметил, он так оглядывает залу из-под опущенных век, словно, придя сюда, оказал нам снисхождение? Мелкая самонадеянность невыносима, но, когда она доведена до предела, она уже заслуживает уважения. Как поживаете, Джордж?

— Вы слышали о Виркере Мертоне? — спросил Бруммел, подходя к нам в сопровождении еще нескольких щеголей. — Он сбежал с отцовской кухаркой и женился на ней!

— Как же поступил лорд Мертон?

— Сердечно поздравил сына и признался, что был излишне низкого мнения о его умственных способностях. Он намерен жить вместе с молодой четой и назначить им весьма солидное содержание при условии, что новобрачная будет исполнять свои прежние обязанности. Да, кстати, ходят слухи, что вы женитесь, Треджеллис!

— Пожалуй, нет, — ответил дядя. — Было бы ошибкой отдать все внимание одной, если оно доставляет удовольствие многим.

— Совершенно с вами согласен, точнее не скажешь! — воскликнул Бруммел. — Разве справедливо разбить дюжину сердец ради того, чтобы осчастливить одно? На будущей неделе я отбываю на континент.

— Судебные пристава?

— Какая жалкая фантазия, Пьерпойнт! Нет-нет, я просто решил соединить полезное с приятным. К тому же разные мелочи можно купить только в Париже, и надо сделать кое-какие запасы на случай, если опять начнется война.

— Совершенно справедливо, — сказал дядя, по-видимому, решив перещеголять Бруммела в чудачестве. — Зеленовато-желтые перчатки я обычно выписывал из Пале-Рояль. Когда в девяносто третьем году разразилась война, я на девять лет оказался отрезанным от своих поставщиков. Если бы мне не удалось нанять люггер и провезти перчатки контрабандой, мне пришлось бы все эти годы носить английские, рыжевато-коричневые.

— Англичане — прекрасные мастера, когда надо изготовить уют или кочергу, — сказал Бруммел, — но предметы более изящные им не по силам.

— У нас недурные портные, — заметил дядя, — но наши материи однообразны и в них чувствуется недостаток вкуса. Мы стали одеваться очень старомодно, и в этом виновата война. Она лишила нас возможности путешествовать, а ведь ничто так не расширяет кругозор, как путешествия. Вот, например, в прошлом году на площади Св. Марка в Венеции я увидел совершенно необычный жилет. Он был желтый, с очаровательным розовым мотивом. Да разве бы я его когда-нибудь увидел, если бы не путешествовал! Я привез жилет в Лондон, и некоторое время это был последний крик моды.

— Принц тоже носил такой.

— Да, он обычно следует моему примеру. В прошлом году мы так похоже одевались, что нас часто путали. Конечно, это мне не комплимент, но ничего не поделаешь. Принц часто жалуется, что на нем вещи выглядят хуже, чем на мне, но разве я могу ответить правду? Кстати, Джордж, я что-то не видел вас на балу у маркизы Дуврской.

— Нет, я проскучал там четверть часа. Странно, что вы меня не видели. Я, правда, почти не отходил от двери — ведь предпочтение вызывает ревность.

— Я пришел рано, — сказал дядя, — мне говорили, что там будет несколько сносных *débutantes*^[29]. А я всегда бываю рад, когда можно хоть одной сказать комплимент. Это случается не часто, ведь я очень разборчив.

Так они беседовали, эти удивительные люди, а я глядел то на одного, то на другого и не мог понять, как они ухитряются не рассмеяться в лицо друг другу. Но нет, напротив, оба сохраняли полную серьезность, то и дело обменивались полупоклонами, раскрывали и закрывали табакерки, взмахивали обшитыми кружевом носовыми платками. Вокруг них собралась толпа, все молча слушали, и я видел, что разговор их воспринимается как состязание двух соперников — законодателей моды. Конец этой беседе положил герцог Куинсберри: он взял Бруммела под руку и увел его, а дядя выставил напоказ обшитую кружевом батистовую манишку и вытянул кружевные манжеты, всем своим видом словно говоря, что поле боя осталось за ним. С того дня прошло сорок семь лет. Где теперь все эти франты, где их изящные маленькие шляпы, удивительные жилеты, сапожки, в которые можно было глядеться, как в зеркало? Они жили странной жизнью, эти люди, и умирали странной смертью: одни накладывали на себя руки, другие кончали жизнь нищими, третьи — в долговой тюрьме, четвертые — самые блистательные из них — в сумасшедшем доме в чужой стране.

— Это карточная зала, Родни, — сказал дядя, когда мы на обратном

пути проходили мимо какой-то открытой двери.

Я заглянул туда и увидел длинный ряд столиков, крытых зеленым сукном; вокруг каждого сидело несколько человек, а в стороне стоял стол подлиннее, и оттуда доносился приглушенный гул голосов.

— Здесь разрешается терять все, кроме мужества и самообладания, продолжал дядя. — А, сэр Лотиан, надеюсь, вам сопутствовала удача.

Из карточной залы вышел высокий, сухопарый человек с суровым аскетическим лицом. Густые брови нависли над бегающими серыми глазками, щеки и виски глубоко запали, точно выдолбленные водою в камне. Он был в черном и слегка покачивался, словно пьяный.

— Отчаянно проигрался, — коротко ответил он.

— В кости?

— Нет, в вист.

— Ну, в вист особенно много не проиграешь!

— Не проиграешь? — огрызнулся он. — Поиграйте-ка по сотне за взятку и по тысяче за роббер, и посмотрим, что вы скажете, если пять часов подряд вам будет идти скверная карта.

Отчаяние на лице этого человека явно поразило дядю.

— Надеюсь, все не так уж плохо, — сказал он.

— Достаточно плохо. Не будем об этом говорить. Между прочим, вы уже нашли боксера, Треджеллис?

— Нет.

— Вы что-то долго мешкаете. Не забывайте — играй или плати. Если ваш боец не выйдет на ринг, я потребую выигрыш.

— Соблаговолите назначить день, сэр Лотиан, и я предъявлю вам своего боксера, — холодно сказал дядя.

— Через четыре недели, считая с сегодняшнего дня, если угодно.

— Хорошо. Восемнадцатого мая.

— К тому времени я надеюсь изменить свое имя.

— Что это значит? — удивился дядя.

— Вполне возможно, что я стану лордом Эйвоном.

— Как! У вас есть новости? — воскликнул дядя, и голос его дрогнул.

— Мой агент пишет из Монтевидео, будто у него есть доказательства, что Эйвон умер именно там. Да и вообще нелепо полагать, будто оттого, что убийца предпочитает скрываться от правосудия...

— Соблаговолите не употреблять этого слова, сэр Лотиан, — оборвал его дядя.

— Вы были там, так же, как и я. Вы сами знаете, что он убийца.

— Говорю вам, я не желаю этого слышать.

Свирепые серые глазки сэра Лотиана опустились, не выдержав гневного взора моего дяди.

— Хорошо, не будем об этом, но ведь нелепо же думать, что титул и состояние могут вечно висеть в воздухе. Я наследник, Треджеллис, и, видит бог, я намерен получить то, что мне принадлежит по праву.

— А я, как вам известно, ближайший друг лорда Эйвона, — непреклонно возразил дядя. — Его исчезновение не изменило моих чувств к нему, и, пока судьба его не будет выяснена окончательно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы оградить его права от посягательств.

— Пеньковая веревка и сломанная шея — вот и все его права, — ответил сэр Лотиан и вдруг, совершенно переменив выражение лица, взял дядю за рукав и сказал другим тоном:

— Ну-ну, Треджеллис, я ведь тоже был ему другом, но изменить то, что случилось, мы не можем, и теперь уже поздно ссориться из-за этого. Ваше приглашение на ужин в пятницу остается в силе?

— Разумеется.

— Я приведу Краба Уилсона, и мы окончательно уговоримся об условиях нашего маленького пари.

— Хорошо, сэр Лотиан. Надеюсь вас там увидеть.

Они поклонились друг другу, и дядя постоял еще немного, глядя, как тот пробирается сквозь толпу.

— Он хороший охотник, племянник, — сказал он. — Бесстрашный наездник, лучший в Англии стрелок из пистолета, но... человек опасный!

Глава X

БОКСЕРЫ

В те годы, если джентльмен хотел прослыть покровителем спорта, он время от времени давал ужин любителям; такой вот ужин и устроил дядя в конце первой недели моего пребывания в Лондоне. Он пригласил не только самых в ту пору знаменитых боксеров, но и таких великосветских любителей бокса, как мистер Флетчер Рейз, лорд Сэй энд Сил, сэр Лотиан Хьюм, сэр Джон Лейд, полковник Монтгомери, сэр Томас Эприс, высокородный Беркли Крейвен, и многих других. В клубах уже знали, что на ужине будет присутствовать принц и все жаждали получить приглашение.

Заведение «Карета и кони» было хорошо известно любителям спорта, его держал бывший боксер-профессионал. Этот низкопробный трактир мог удовлетворить самым богемным вкусам. Люди, пресыщенные роскошью и всяческими удовольствиями, находили особую прелесть в возможности спуститься в самые низы, так что в Ковент-Гардене или на Хеймаркет под закопченными потолками ночных кабаков и игорных домов зачастую собиралось весьма изысканное общество — это был один из многих тогдашних обычаев, которые теперь уже вышли из моды. Изнеженным сибаритам нравилось иной раз махнуть рукой на кухню Ватье, Уда, на французские вина и пообедать в портерной грубым бифштексом, запивая его пинтой эля из оловянной кружки, — это вносило разнообразие в их жизнь.

На улице собралась толпа простолюдинов, желавших поглазеть на боксеров, и, когда мы шли сквозь эту толпу, дядя шепнул мне, чтобы я глядел в оба и не забывал о своих карманах. Мы вошли в большую комнату — выцветшие красные гардины на окнах, пол посыпан песком, стены увешаны олеографиями, на которых изображены боксеры и скаковые лошади. Повсюду темные, в винных пятнах столы; за одним из них сидят человек шесть весьма грозной наружности, а самый страшный взгромоздился на стол и непринужденно болтает ногами. Перед ними стоит поднос со стаканами и оловянными кружками.

— Ребят одолела жажда, сэр, так что я подал им пива, — шепнул дяде хозяин гостиницы. — Я думаю, вы не против, сэр.

— Конечно, нет, Боб! Как поживаете, ребята? Как дела, Мэддокс? Как

дела, Болдуин? А, Белчер, очень рад вас видеть.

Боксеры все разом поднялись и сняли шапки. Только тот, который сидел на столе, так и остался сидеть, по-прежнему болтая ногами, и хладнокровно глядел дяде прямо в лицо.

— Как поживаете, Беркс?

— Не жалуюсь, а вы как?

— Говори «сэр», когда обращаешься к джентльмену, — сказал Белчер и вдруг рывком наклонил стол, так что Беркс соскользнул чуть ли не в объятия дяди.

— Эй-эй, Джем, поосторожней, — хмуро сказал он.

— Я тебя выучу хорошим манерам, Джо, твой-то папаша, видать, тебя мало учил. Ты ведь не на попойке, ты среди благородных джентльменов, так что уж и сам води себя как джентльмен.

— Меня и так все считают джентльменом, — хрипло ответил Беркс, — а если я чего не так сказал или сделал...

— Ладно, ладно, Беркс, все в порядке, — поспешно сказал дядя, стараясь все сгладить и предотвратить ссору, готовую вспыхнуть в самом начале вечера. — А вон и еще наши друзья... Как поживаете, Эприс? Как поживаете, Полковник? А, Джексон, вы нынче выглядите куда лучше... Добрый вечер, Лейд. Надеюсь, наша приятная поездка пошла на пользу леди Лейд... А, Мендоса, судя по вашему виду, вы готовы сию минуту перебросить шляпу через канаты. Рад вас видеть, сэр Лотиан. Вы встретите здесь кое-кого из старых друзей.

Среди великосветских любителей спорта и боксеров, толпящихся в комнате, я заметил крепко сбитую фигуру и широкое добродушное лицо Чемпиона Гаррисона. Вместе с ним в эту низкую, пропахшую краской комнату словно ворвалась струя свежего воздуха с Южного Даунса, и я кинулся пожать ему руку.

— Мистер Родни... Да нет, видно, вас теперь надо величать мистером Стоуном, вас теперь и не узнать вовсе. Неужто это и впрямь вы приходили к нам да раздували мехи, пока мы с Джимом стучали по наковальне? Да вы просто красавчик стали, вот ей-богу!

— Что нового в Монаховом дубе? — нетерпеливо спросил я.

— Ваш отец навестил меня, мистер Родни; он говорит, быть войне, и думает повидать вас в Лондоне; он собирается к лорду Нельсону — узнать, скоро ли его назначат на корабль. Матушка ваша пребывает в добром здравии, в воскресенье я видел ее в церкви.

— А Джим как?

Добродушное лицо Чемпиона Гаррисона омрачилось.

— Очень он хотел поехать со мной, да я его не взял; есть у меня на то причина, так что считайте, между нами кошка пробежала. В первый раз это у нас с ним, мистер Родни. А я не зря его не пускаю, уж вы мне поверьте, он малый гордый, да еще забрал в голову всякое, а стоит ему разок побывать в Лондоне, он и вовсе покой потеряет. Вот я и велел ему остаться дома да задал разную работу, чтоб хватило, покуда не вернусь.

К нам направлялся высокий, превосходно сложенный человек, одетый весьма элегантно. Он с изумлением взглянул на моего собеседника и протянул ему руку.

— Кого я вижу? Джек Гаррисон! — воскликнул он. — Какими судьбами? Откуда ты взялся?

— Рад тебя видеть, Джексон, — ответил мой собеседник. — Ты все такой же, ни чуточки не постарел.

— Благодарствую, мне грех жаловаться. Я так и ушел с ринга непобитым — некому было со мной тягаться, вот и стал тренером.

— А я теперь кузнецом в Суссексе.

— Я все удивлялся, почему это ты ни разу не попытался побить меня. И скажу по чести, как мужчина мужчине, я очень этому рад.

— Приятно слышать такие слова от тебя, Джексон. Я-то, может, и попытался бы, да моя старуха не велела. Она добрая жена, и я не могу идти поперек ее воли. А здесь мне что-то невесело, я этих ребят, почитай, никого и не знаю.

— Ты и сейчас мог бы уложить кое-кого из них, — сказал Джексон, щупая бицепсы моего друга. — На двадцатичетырехфутовом ринге еще не бывало боксера с лучшими данными. Я бы с превеликим удовольствием поглядел, как ты разделался бы кое с кем из этих юнцов. Может, попробуешь, а?

Глаза Гаррисона заблестели, но он покачал головой.

— Нет, Джексон, не пойдет. Я обещал своей старухе. А это Белчер? Вон тот красивый парень в больно ярком сюртуке?

— Да, это Джем. Ты его даже не видал? Ему цены нет.

— Слышал. А рядом с ним это кто? Складный паренек.

— Это новичок с Запада, Краб Уилсон.

Чемпион Гаррисон с интересом его оглядел.

— Слышал, — сказал он. — Говорят, на него пари держат, так, что ли?

— Да. Сэр Лотиан Хьюм, вон тот джентльмен с худым лицом, ставит на него против любого боксера сэра Треджеллиса. Мы, верно, еще услышим сегодня про эту встречу. Джем Белчер очень высоко ценит Краба Уилсона. А это младший брат Белчера, Том. Он тоже посматривает, с кем

бы сразиться. Говорят, он быстрее Джема, а вот удар у него полегче. Я это про твоего брата, Джем.

— Мальчик свое возьмет, — сказал Белчер, подходя к нам. — Вот затвердеют у него хрящи, тогда он никому не уступит. В Бристоле молодых боксеров что бутылок в винном погребе. У нас еще два на подходе, Галли и Пирс, они вашим лондонским покажут где раки зимуют.

— А вот и принц, — сказал Джексон, увидав, что у дверей поднялась суета.

Георг быстро вошел в комнату, на его приятном лице сияла добродушная улыбка. Дядя сердечно его приветствовал и представил ему кое-кого из любителей бокса.

— Не миновать скандала, старшой, — сказал Белчер Джексону. — Джо Беркс тянет джин из пивной кружки, а ты и сам знаешь, он настоящая свинья, когда упьется.

— Одернул бы ты его, старшой, — слышались голоса боксеров. — Он и трезвый-то не золото, а уж когда налакается, вовсе удержу не знает.

За отвагу и такт боксеры выбрали Джексона своим старостой и даже называли его своим главнокомандующим. Вместе с Белчером он тотчас направился к столу, на котором все еще восседал Беркс. Лицо грубияна уже пылало, глаза потускнели и налились кровью.

— Сегодня надо держать себя в руках, Беркс, — сказал Джексон. — Здесь сам принц, а...

— Я его никогда не видывал, — завопил Беркс и чуть не свалился со стола. — Где он тут, старшой? Скажи ему, мол, Джо Беркс желает удостоиться чести пожать ему руку.

— Нет-нет, Джо, — сказал Джексон, придерживая Беркса, который начал было проталкиваться сквозь толпу. — Не забывайся, Джо, не то мы спровадим тебя подальше, и уж тогда кричи сколько хочешь.

— Это куда ж, старшой?

— На улицу. Через окошко. Мы хотим сегодня тихо посидеть вечером, и если ты примешься за свои уайт-чепелские фокусы, мы с Белчером тебя выставим.

— Все будет в аккурате, старшой, — проворчал Беркс, — зря, что ли, меня называют джентльменом.

— И я всегда то же говорю, Джо Беркс. Так что смотри, таким себя и оказывай. Ну, ужин подан, и вон принц и лорд Сил уже пошли. По двое, ребята, и не забывайте, в каком вы сегодня обществе.

Ужин был накрыт в большой комнате, стены которой были увешаны государственными флагами и девизами. Столы стояли буквой «П»; дядя

сидел посредине главного стола, принц — по правую руку от него, лорд Сил — по левую. Он заранее мудро распределил места, так что знатные господа сидели вперемежку с боксерами, и не надо было бояться, что рядом окажутся два врага или что боксер, потерпевший поражение в недавнем бою, будет соседом своего удачливого противника. Мое место оказалось между Чемпионом Гаррисоном и толстым краснолицым человеком, который шепотом сообщил мне, что он «Билл Уорр, хозяин трактира на Джермин-стрит и боксер первостатейный».

— Жир меня губит, сэр, — сказал он. — Прибывает не по дням, а по часам. При ста девяноста фунтах я бы еще мог драться, а во мне уже двести тридцать восемь. Дело мое виновато. Стоишь весь день за стойкой и то с одним пропустишь стаканчик, то с другим, а отказаться нельзя: как бы не обидеть посетителя. Это и до меня многих хороших боксеров сгубило.

— Вам бы мою работенку, — сказал Гаррисон. — Я кузнец и за пятнадцать лет ни фунта не прибавил.

— Всяк по-своему свой хлеб добывает, да только наших ребят все больше тянет завести трактир. А вот Уилл Вуд, которого я победил на сороковом раунде на Нэйвстокской дороге во время снежного бурана, он возчик. Головорез Ферби служит в ресторации. Дик Хемфри торгует углем — он всегда был вроде как джентльмен. Джордж Инглстоун — возчиком у пивовара. Каждый по-своему добывает кусок хлеба. Но есть в городе одна штука — в провинции вам это не грозит, — господа вечно бьют тебя по роже.

Я никак не думал услышать подобную жалобу от знаменитого боксера, но силачи с бычьими шеями, сидевшие напротив, согласно закивали.

— Верно говоришь, Билл, — подтвердил один из них. — Я уж столько от них натерпелся, небось больше всех. Вечером вваливаются в мое заведение, а уж в голове хмель. «Ты Том Оуэн, боксер?» — это один какой-нибудь спрашивает. «К вашим услугам, сэр», — отвечаю. «Тогда получай», — говорит он и как даст в нос! Или тыльной стороной по челюсти заедет, да так, что искры из глаз. А потом всю жизнь хвастаются: я, мол, нокаутировал Тома Оуэна!

— Ну, а ты сдачи даешь? — спросил Гаррисон.

— А я им объясняю. Я говорю: «Послушайте, господа, бокс — моя работа, я не бьюсь задаром. Вот ведь лекарь не станет лечить задаром или там мясник — не отдаст он задаром филейную часть. Выкладывают денежки, хозяин, и я отделаю вас по всем правилам. Но не надейтесь, что чемпион среднего веса станет вас тузить за здорово живешь».

— Вот я тоже так, Том, — сказал мой дородный сосед. — Коли они

выкладывают на прилавок гинею, а они, когда уж очень пьяные, могут и выложить, я отделяваю их сколько положено за гинею и беру денежки.

— А если не выкладывают?

— Ну, тогда это оскорбление действием подданного его величества, Уильяма Уорра, и утречком я его волоку к судье, и тогда уж, коли не хочешь сидеть неделю в каталажке, выкладывай двадцать шиллингов.

Ужин меж тем был в полном разгаре — ели солидно, основательно, как принято было во времена ваших дедов, которых, кстати, по этой самой причине некоторым из вас не довелось увидеть.

Громадные ломти говядины, седло барашка, копченые языки, телячьи и свиные паштеты, индейки, цыплята, гуси, а к ним всевозможные овощи, разные огненные настойки да крепкий эль всех сортов. За столом с такими кушаньями четырнадцать веков назад могли сидеть их норманнские или германские предки; сквозь пар, поднимавшийся от тарелок, я глядел на эти жестокие, грубые лица, на могучие плечи, и мне легко было вообразить, что это одна из тех оргий, о которых я читал, — когда буйные сотрапезники жадно обгладывали кость, а потом потехи ради бросали остатки узникам. Бледные, тонкие лица кое-кого из джентльменов напоминали скорее норманнов, но больше здесь было лиц тупых, с тяжелыми челюстями; то были лица людей, вся жизнь которых — непрерывное сражение, и сегодня они, как ничто другое, напоминали о тех свирепых пиратах и разбойниках, от которых пошли все мы.

И, однако, внимательно вглядываясь в лица сидящих передо мной людей, я убедился, что боксом занимаются не одни англичане, хоть их тут и было десять к одному, — другие нации тоже рождали бойцов, которые вполне могли занять место среди достойнейших.

Правда, самыми красивыми и мужественными в этой комнате были Джексон и Джем Белчер: у одного великолепная фигура, тонкая талия и могучие плечи; другой — изящный, точно древнегреческая статуя, голова такой поразительной красоты, что ее пытались изваять уже многие скульпторы, а тело ловкое и гибкое, как у пантеры. Я глядел на него и, казалось, видел на его лице тень трагедии, словно предчувствие того дня, отделенного от нас всего несколькими месяцами, когда удар мяча навсегда лишил его одного глаза. Если бы он остановился тогда — непобежденный чемпион, — вечер его жизни был бы так же восхитителен, как и заря. Но его гордое сердце не могло согласиться уступить без борьбы высокое звание. Если сегодня вы прочтете о том, как этот доблестный боксер, который, лишившись глаза, уже не мог рассчитывать дистанцию, тридцать пять минут дрался со своим молодым грозным противником и как,

потерпев поражение, он никого не донимал своим горем и говорил о нем лишь с другом, который поставил на него все свое состояние, — и если рассказ этот оставит вас равнодушным, значит, вам недостает чего-то, что делает человека человеком.

Но если за этими столами не было никого, кто мог бы сравниться с Джексонсом или с Джемом Белчером, тут были другие, люди иных рас, обладавшие качествами, которые делали их опасными бойцами. Чуть поодаль я видел черное лицо и курчавую голову Билла Ричмонда, облаченного в лиловую с золотом ливрею, — ему предстояло стать предшественником Молино, Саттона, всей плеяды чернокожих боксеров, доказавших, что сила мускулов и нечувствительность к боли, которая отличает африканцев, дают им особые преимущества на ринге. Он вдобавок мог похвастать тем, что был первым американцем по рождению, завоевавшим лавры на английском ринге. А вот резкие черты Дэна Мендосы, еврея, который незадолго перед тем совсем покинул ринг; он прославился изяществом и ловкостью приемов, и они не превзойдены по сей день. Правда, его ударам не доставало силы, чего уж никак нельзя было сказать о его соседе — длинное лицо, нос с горбинкой и сверкающие черные глаза выдавали его принадлежность к тому же древнему племени. Это был грозный Голландец Сэм; он весил всего сто двадцать девять фунтов, но удар его обладал такой мощью, что позднее его почитатели готовы были поставить на него в бою против тяжеловеса Тома Крибба при условии, что оба будут привязаны к скамьям. Я увидел еще пять или шесть бледных еврейских лиц, из чего было ясно, что евреи Хаундсдитча и Уайтчепела весьма энергично завоевывали себе место среди боксеров усыновившей их страны и так же, как и во всех других, более серьезных областях человеческой деятельности, оказывались среди лучших из лучших.

Всех этих знаменитостей, отголоски славы которых доносились даже до нашего суссекского захолустья, мне весьма любезно называл мой сосед Уорр.

— Вон тот, Эндрю Гэмбл, ирландский чемпион, — сказал он. — Это он победил гвардейца Ноя Джеймса, а потом его самого чуть не убил Джем Белчер на Уимблдонском лугу, в лощине, у виселицы Аббершоу. Двое рядом с ним — тоже ирландцы — Джек О'Доннел и Билл Райан. Нет на свете боксера лучше хорошего ирландца, но вообще-то они страх какие запальчивые. Вон тот коротышка с хитрой мордой — Калед Болдуин, уличный торговец, тот самый, кого называют «Гордостью Вестминстера». Он всего пяти футов и семи дюймов ростом, и весу в нем двадцать девять

фунтов, но у него сердце великана. Никто еще его не победил, и нет в его весе человека, который мог бы его победить, разве что Голландец Сэм. А это Джордж Мэддокс, тоже ирландец и тоже боксер что надо. Вон тот, который ест вилкой и похож на джентльмена, только переносица малость подкачала, — это Дик Хемфри: он был первый в среднем весе, пока Мендоса не сбил с него спесь. А вон, видите, седой, со шрамами на лице?

— Да это ж старина Том Фолкнер, игрок в крикет! — воскликнул Гаррисон, поглядев, куда указывал толстый палец Билла Уорра. — Он лучший подающий во всех южных графствах, а когда был в расцвете, мало кто из боксеров мог против него устоять.

— Верно говоришь, Джек Гаррисон. Он из тех троих, которые приняли вызов, когда лучшие боксеры Бирмингема вызвали на бой лучших боксеров Лондона. Он и не старится вовсе, Том-то. Он вышел против Джека Торнхилла, когда ему стукнуло пятьдесят пять годов, и победил на пятидесятой минуте, а Джек запросто справлялся и с молодыми. Лучше быть старше, да тяжелее, чем моложе, да легче.

— Молодость лучше всего, — протяжно сказал кто-то на другом конце стола. — Эх, ребята, молодость лучше всего!

Здесь было много удивительных личностей, но человек, который произнес эти слова, казался самым странным из всех. Он был очень-очень стар, настолько старше всех прочих, что и сравнивать невозможно, и по его пожелтевшей, высохшей физиономии и рыбьим глазам никто бы не определил, сколько же ему лет.

На его восковой лысине торчало несколько жалких волосков. Все черты стерлись, утратили определенность; одутловатость и глубокие морщины — следы долгих прожитых лет — изуродовали лицо, и без того фантастически уродливое да к тому же еще обезображенное бесчисленными ударами кулаков, и сейчас в нем едва ли оставалось что-нибудь человеческое. Я заметил этого старика в самом начале ужина — он налег грудью на край стола, словно радуясь опоре, и нетвердой рукой ковырял в тарелке. Однако соседи усердно потчевали его вином, и вот плечи его раздались вширь, спина распрямилась, глаза заблестели, он удивленно огляделся по сторонам — видно, не мог вспомнить, как он сюда попал; потом приставил ладонь к уху и стал прислушиваться к разговорам со все возрастающим интересом.

— Это старик Бакхорс, — зашептал Чемпион Гаррисон. — Двадцать лет назад, когда я вышел на ринг, он был совсем такой же. А было время, наводил ужас на весь Лондон.

— Это верно, — подтвердил Билл Уорр. — Дрался как бык и такой

был здоровущий, за полкроны позволял бить себя всякому щеголю. За лицо-то ему все равно бояться было нечего: другого такого уroda ни в жизнь не увидишь. Он уж лет шестьдесят, как сошел, да и перед этим били его, били, пока он наконец понял, что сила у него уже не та.

— Молодость лучше всего, ребята, — бубнил старик, горестно покачивая головой.

— Налейте ему, — сказал Уорр. — Эй, Том, дай старику Бакхорсу глоток живой водички. Пусть его развеселится.

Старик опрокинул в свою ссохшуюся глотку стакан неразбавленного джину и тотчас преобразился. В тусклых глазах загорелись огоньки, на восковых щеках появился легкий румянец, и, разинув беззубый рот, он вдруг издал удивительно музыкальный клич, похожий на звон бубенчика. Ответом ему был хриплый хохот всего общества, и разгоряченные лица повернулись в одну сторону — каждому хотелось взглянуть на ветерана.

— Бакхорс! — кричали они. — Бакхорс опять за свое!

— Смейтесь, ребята, коли охота! — кричал он в ответ, подняв над головой тонкие, со вздутыми венами руки. — Да только вам недолго осталось смотреть на мои кулаки, а ведь я ими долбал и Джека Фикка, и Джека Бротона, и Гарри Грея, и многих других настоящих боксеров. Они дубасили друг друга и этим зарабатывали себе на хлеб еще до того, как ваши папаши научились сосать соску.

Снова раздался хохот, и старика стали подзадоривать криками, в которых звучала дружеская насмешка.

— Правильно, Бакхорс! Выкладывай все как есть. Пускай знают, как в твоё время молотили кулаками.

Старый гладиатор обвел всех презрительным взглядом.

— Гляжу я на вас, — закричал он высоким, надорванным фальцетом, — и вижу, тут такие есть, что и муху-то не сгонят с тарелки! Вам бы в горничные идти, а не в боксеры.

— Заткните ему глотку! — раздался чей-то хриплый голос.

— Джо Беркс, — сказал Джексон, — если б тут не было его высочества, я бы свернул тебе шею, чтобы избавить палача от лишней работы.

— Ну так чего же, старшой, — ответил полупьяный буян, пытаясь встать. — Если я сказал чего не так, не по-благородному...

— Сядьте, Беркс! — крикнул мой дядя так властно, что тот сразу сел.

— Эх вы, кто из вас может прямо поглядеть в глаза Тому Слэку? — шамкал старик. — Или Джеку Бротону, тому самому, кто сказал герцогу Камберлендскому: желаю мол, биться с гвардией прусского короля день за

днем, год за годом, пока не уложу всех до единого, а из них самый маленький шести футов ростом. Да среди вас немного найдется таких, кто может ударом оставить вмятину в куске масла, а если вас стукнут разок, вы уж с копыт долой. Помню, итальянский лодочник свалил Боба Уиттекера — кто из вас поднялся бы после такого удара?

— Расскажи, как было дело, Бакхорс! — закричали несколько голосов,

— Он заявился к нам из заморских стран, и плечи у него были уж такие широченные, что в дверь мог пролезть только боком. Вот разрази меня гром, коли вру. Такой был силач — как ударит, так кость пополам, а уж когда он разбил две-три челюсти, все решили, что нет ему ровни во всей стране. Тогда король послал одного своего приближенного к Фикку, и тот говорит ему: «Тут у нас парень появился, всем подряд кости ломает; неужто у лондонских ребят вовсе гордости нет, неужто он так и уйдет победителем?» Встает тогда Фикк и говорит: «Не знаю, — говорит, — хозяин, может, он и свернул челюсть какому-нибудь деревенщине, а вот я приведу настоящего лондонца, так этот ваш силач ему и кузнечным молотом челюсть не своротит». Дело было в кофейне Слотера, мы сидели там с Фикком, так он и говорил это все королевскому посланному, так и сказал, слово в слово! — И тут старик снова издал тот же странный клич, похожий на звон бубенчика, и снова джентльмены и боксеры засмеялись и стали ему рукоплескать.

— Его высочество... то есть граф Честер хотел бы слышать, чем все это кончилось, Бакхорс, — сказал дядя, которому принц что-то шепнул на ухо.

— Чего ж, ваше высочество, дело было так: наступил назначенный день, и все повалили в амфитеатр Фикка, на Тоттенхем-Корт-роуд, и Боб Уиттекер был уже там, и итальянский лодочник тоже, а публика сошлась самая что ни на есть отборная, самый цвет, двадцать тысяч народу — все сидят, шеи вытянули, окружили ринг со всех сторон. Я тоже пришел, чтоб было кому поднять Боба, если потребуется, и Джек Фикк тоже пришел, хотел, чтобы с малым из чужих краев все по справедливости было. Народ столпился, а для господ все одно проход оставили. Помост был деревянный, раньше всегда был деревянный, высокий, выше человеческого роста, чтобы всем было видать. Так вот, стал Боб супротив этого итальянского верзилы. Я и говорю: «Вдарь ему подвздошки, Боб», — потому как я враз увидал, какой он пухлый, ну, что твоя ватрушка. Боб только изготовился, а этот чужестранец ка-ак вдарит его в нос. Слышу, глухо так шмякнуло и вроде что-то мимо меня пролетело. Гляжу, а итальянец стоит середь помоста, мускулы свои щупает, а Боба нет, будто

корова языком слизнула.

Все затаив дыхание слушали рассказ старого боксера.

— Ну, — слышались голоса, — а дальше-то, дальше что, Бакхорс? Съел он его, что ли?

— Я и сам спервоначалу так подумал, ребятки. Да вдруг вижу, далеко эдак, торчат из толпы ноги, вот глядите — вот как мои два пальца. Я враз их признал. На Бобе-то были желтые короткие штаны в обтяжку, у колен синие банты. Синий — это был его цвет. Поставили его на ноги, проход очистили и кричат ему всякое, чтоб подбодрить, да бодрости и храбрости ему не занимать стать. А он никак не очухается, никак не поймет, где это он — в церкви, что ли, или в кутузке. Я тогда укусил его за ухо и он живо оклемался. «Попробуем еще разок, Бак», — говорит. «Давай», — говорю. И он подморгнул подбитым левым глазом. Итальянец ка-ак размахнется, а Боб как отскочит да как даст ему в толстый живот чуть повыше пояса, и, видать, всю свою силушку вложил в этот удар.

— Ну? Ну?

— Ну, у итальянца в горле вроде как забулькало, и он так и сложился пополам, как двухфутровая железная линейка. Потом распрямился да как завопит, отродясь я не, слышал такого вопля. Да как соскочит с помоста и кинулся вон, прямо будто на крыльях летел. Тогда все повскакали — и за ним, бегут со всех ног, а бежать-то как следует и не могут от смеха, а потом все легли в глубоченной канаве вдоль Тоттенхем-Корт-роуд, так и лежали, ухватясь за бока, чтоб не лопнуть со смеху. Да, а мы за ним гнались по Холборну, по всей Флит-стрит, по Чипсайду, мимо биржи до самого Уоппинга и догнали только в корабельной конторе — он там спрашивал, скоро ли будет корабль в чужие края.

Когда старик Бакхорс кончил, все долго хохотали и стучали стаканами о стол, а принц Уэльский вручил что-то слуге, старик пошел и сунул это в сухую руку ветерана, тот поплевал на подарок, а уж потом опустил его в карман. Стол тем временем очистили от всех объедков, устали бутылками и стаканами и начали обносить всех длинными глиняными трубками и ящичками с табаком. Дядя никогда не курил, опасаясь, как бы не пожелтели зубы, но многие джентльмены, и прежде всех принц, тотчас закурили, чем подали пример остальным. Забыта была всякая сдержанность; боксеры, побагровевшие от вина, громко переговаривались через стол, шумно приветствовали приятелей в другом конце комнаты. Любители поддались общему настроению и вели себя так же шумно: громко спорили о достоинствах разных бойцов, прямо в глаза обсуждали их стиль, заключали пари об исходе будущих боев.

Вдруг среди этого гама раздался повелительный стук по столу, и поднялся мой дядя. Никогда еще не представлял он передо мной в таком выгодном свете, как теперь, среди этих неистовых буянов, — он был бледен, бесстрастен, элегантен, от него исходила спокойная и властная сила; он был точно охотник, который хладнокровно идет своим путем, а вокруг прыгает и лает свора собак. Он выразил удовольствие по поводу того, что под одной крышей собралось так много любителей бокса, и поблагодарил высокую особу — он будет ее называть графом Честером — за честь, которую сия особа оказала своим присутствием гостям и ему, Чарльзу Треджеллису. К сожалению, сезон сейчас не охотничий и он не мог угостить все общество дичью, но они уже так долго сидят за столом, что теперь вряд ли заметили бы, что едят (смех и веселые возгласы). По его мнению, бокс воспитывает презрение к боли и опасности, так много способствовавшее безопасности отечества, и, если его сведения верны, качества эти могут понадобиться в самое ближайшее время. У нас очень небольшая армия, и, если враг высадится на наших берегах, мы должны надеяться прежде всего на нашу национальную доблесть, которую состязания по боксу — этому самому мужественному из всех видов спорта — обращают и у участников, и у зрителей в дерзкую отвагу. В мирные времена ринг тоже способствует славе отечества, ибо он утверждает правила честной игры, воспитывает в обществе нетерпимость к грубой драке и поножовщине, столь распространенным в других странах. Дядя предложил поэтому выпить за процветание бокса и, кстати, за Джона Джексона, который может служить образцом всего самого лучшего, что есть в английском боксе.

Джексон поблагодарил с легкостью и непринужденностью, какой могли бы позавидовать многие парламентские ораторы; потом снова поднялся дядя.

— Мы собрались здесь сегодня, — сказал он, — не только затем, чтобы отпраздновать прошлые триумфы нашего ринга, но и затем, чтобы уговориться о будущих состязаниях. Сейчас, когда покровители бокса и боксеры собрались под одной крышей, нам будет легко обо всем условиться. Я подаю пример: заключаю с сэром Лотианом Хьюмом пари, условия которого вам сообщит он сам.

Поднялся сэр Лотиан, в руках у него был лист бумаги.

— Ваше королевское высочество, джентльмены, — начал он, — условия вкратце таковы. Яставляю Краба Уилсона из Глостера, он никогда еще не участвовал в призовых боях. Восемнадцатого мая он готов сразиться с любым бойцом в любом весе по выбору сэра Чарльза

Треджеллиса. Сэр Чарльз Треджеллис вправе выставить любого бойца до двадцати лет или старше тридцати пяти, то есть в состязании не смогут участвовать Белчер и прочие кандидаты на звание чемпиона. Ставки — две тысячи против тысячи, выигравший пари платит своему боксеру двести фунтов. Играй или плати.

Странно было видеть, с какой серьезностью все они, боксеры и покровители бокса, склонив головы, слушали и взвешивали условия боя.

— Мне известно, — сказал сэр Джон Лейд, — что Крабу Уилсону двадцать три года и что, хотя он еще не участвовал в призовых боях, он все же много раз дрался и на него заключали пари.

— Я видел его раз шесть, не меньше, — сказал Белчер.

— Именно по этой причине, сэр Джон, я ставлю два к одному.

— Могу я узнать, — спросил принц, — каковы точно рост и вес Уилсона?

— Рост — пять футов одиннадцать дюймов, вес — сто восемьдесят два фунта, ваше королевское высочество.

— И рост и вес достаточные, чтобы вызвать любого, — сказал Джексон, и все профессионалы дружно с ним согласились.

— Прочитайте правила боя, сэр Лотиан.

— Бой состоится во вторник, восемнадцатого мая, в десять часов утра, место боя будет назначено позднее. Ринг — двадцать на двадцать футов. Падать разрешается лишь при нокдауне, по определению судьи. Трех судей выбирают на месте, поименно, двух боковых и одного на ринге. Вы согласны на такие правила, сэр Чарльз?

Дядя поклонился.

— Хотите что-нибудь прибавить, Уилсон?

Молодой боксер, на удивление высокий и стройный, со скуластым, худощавым лицом, провел рукой по коротко остриженным волосам.

— С вашего позволения, сэр, для человека весом в сто восемьдесят два фунта двадцатифутовый ринг маловат.

Среди профессионалов пронесся шепот одобрения.

— А какой вы предлагаете, Уилсон?

— Двадцатичетырехфутовый, сэр Лотиан.

— У вас есть какие-нибудь возражения, сэр Чарльз?

— Ни малейших.

— Что-нибудь еще, Уилсон?

— С вашего позволения, сэр, я хотел бы знать, с кем буду драться.

— Как я понимаю, вы еще не назвали своего боксера, сэр Чарльз?

— Я сделаю это лишь утром в день боя. Это ведь не противоречит

условиям нашего пари?

— Конечно, нет, если вам так угодно.

— Да, я предпочитаю так. Я был бы очень признателен, если бы мистер Беркли Крейвен согласился быть хранителем наших ставок.

Названный джентльмен выразил согласие, и тем самым было покончено со всеми формальностями подобных скромных турниров.

Мало-помалу вино стало разбирать этих полнокровных силачей, засверкали грозные взгляды, сквозь сизые клубы табачного дыма свет падал на возбужденные ястребиные лица евреев и разгоряченные, свирепые лица англосаксов. Снова вспыхнул старый спор — по правилам или против правил Джексон схватил за волосы Мендосу во время состязания в Хорнчерче, восемь лет назад. Голландец Сэм швырнул на стол шиллинг и заявил, что готов сразиться за этот шиллинг с Гордостью Вестминстера, если тот посмеет сказать, будто бой, в котором Мендоса проиграл, велся по всем правилам. Джо Беркс, который становился чем дальше, тем шумнее и задиристей, с отчаянными ругательствами попытался перелезть через стол — он хотел тут же, на месте, расправиться со старым евреем по прозвищу Вояка Юсеф, который тоже участвовал в этом споре. Еще немного, и разразилось бы всеобщее неистовое побоище, однако Джексону, Белчеру, Гаррисону и другим наиболее спокойным и уравновешенным боксерам все-таки удалось его предотвратить.

Но теперь, когда этому спору был положен конец, возник новый спор — о том, кого считать чемпионом в том или ином весе, — и опять зазвучали гневные возгласы, опять запахло дракой. Отчетливых границ между легким, средним и тяжелым весом в ту пору не существовало. Однако положение боксера очень серьезно менялось в зависимости от того, считался ли он самым тяжелым среди легковесов или самым легким среди боксеров тяжелого веса. Один объявил себя чемпионом среди боксеров весом в сто сорок фунтов, другой был готов сразиться с любым противником весом в сто пятьдесят четыре фунта, но не стал бы тягаться с боксером ста шестидесяти восьми фунтов, потому что это уже мог быть непобедимый Джем Белчер. Фолкнер объявил себя чемпионом среди стариков, и в общем гаме послышался даже диковинный клич старого Бакхорса: он вызывал на бой любого, кто весит больше тысячи ста двадцати или меньше девяноста фунтов, чем развеселил всю компанию.

Однако, несмотря на эти проблески солнца, в воздухе пахло грозой, и Чемпион Гаррисон шепнул мне, что, по его мнению, без драки не обойдется, и посоветовал, если дело будет совсем плохо, укрыться под столом; но тут в комнату поспешно вошел хозяин заведения и вручил дяде

какую-то записку.

Дядя прочел и передал ее принцу; тот, прочитав, удивленно поднял брови, пожал плечами и вернул записку дяде. Дядя, улыбаясь, встал, в руках он держал все ту же записку.

— Джентльмены, — сказал он, — внизу ожидает какой-то незнакомец, он хочет драться до полной победы с самым лучшим из присутствующих здесь боксеров.

Глава XI

БОЙ В КАРЕТНОМ САРАЕ

После этого короткого сообщения воцарилась удивленная тишина, потом все захохотали. Можно было спорить о том, кто чемпион в том или ином весе, но не было никаких сомнений, что все чемпионы любого веса сидят сейчас в этой комнате. Дерзкий вызов, обращенный ко всем, без различия веса и возраста, трудно было воспринять иначе как шутку, но шутка эта могла дорого обойтись шутнику.

— Это всерьез? — спросил дядя.

— Да, сэр Чарльз, — отвечал хозяин. — Он ждет внизу.

— Да это мальчишка! — слышались голоса. — Какой-то малый нас разыгрывает.

— Ну нет! — возразил хозяин. — По одежде он настоящий господин, и сразу видать, что не шутит, или я уж вовсе ничего не смыслю в людях.

Дядя пошептался с принцем Уэльским.

— Что ж, джентльмены, — сказал он наконец, — время еще раннее, и, если кто-нибудь из вас не прочь показать свое искусство, случай самый подходящий.

— Сколько в нем весу, Билл? — спросил Джем Белчер.

— Росту футов шесть, и нагишом он должен весить фунтов сто восемьдесят.

— Крепкий орешек! — воскликнул Джексон. — Кто хочет сразиться?

Сразиться хотели все, вплоть до самого легкого — всего сто двадцать девять фунтов — Голландца Сэма. Раздались хриплые выкрики, каждый доказывал, почему надо остановить выбор именно на нем. Что может быть желаннее драки, когда вино уже ударило в голову и чешутся кулаки? А тут к тому же предстояло драться перед столь избранным обществом, перед самим принцем — такой случай не каждый день представится. Только Джексон, Белчер, Мендоса да еще два-три из самых старших и самых знаменитых боксеров сохраняли спокойствие, они не хотели ронять свое достоинство, вступая в столь странное состязание с никому не ведомым пришельцем.

— Не можете же вы все принять его вызов, — заметил Джексон, когда гомон стих. — Пусть председатель скажет, кому с ним драться.

— Может быть, это предпочтете сделать вы, ваше королевское

высочество? — спросил дядя.

— Да я бы и сам с ним сразился, но, увы, мой титул не позволяет, — сказал принц. Он тоже раскраснелся, а в глазах появился тусклый блеск. — Вы-то видели меня в боксерских перчатках, Джексон! Знаете, что я кое на что гожусь.

— Да, конечно, я вас видел, ваше королевское высочество, и испытал ваши удары, — отвечал учтивый Джексон.

— Может быть, нам устроит представление Джем Белчер?

Белчер с улыбкой покачал красивой головой:

— Тут мой брат Том, в Лондоне ему еще ни разу не пускали кровь, сэр. Он больше подходит для такого случая.

— Дайте его мне! — заорал Джо Беркс. — Я весь вечер ждал случая и буду биться со всяким, кто попытается занять мое место. Это моя добыча, хозяева. Коли желаете поглядеть, как разделявают голову телка, дайте его мне. А коли пустите вперед Тома Белчера, я буду драться с Томом Белчером, или с Джемом Белчером, или с Биллом Белчером, или с любым другим Белчером, который пожаловал сюда из Бристоля.

Было ясно, что Беркс допился до того состояния, когда уже просто необходимо с кем-нибудь подраться. Ярость исказила его грубые черты, на низком лбу вздулись вены, и свирепые серые глазки шарили по лицам — ему не терпелось затеять ссору. Подняв красные, шишковатые ручищи, он потряс над головой огромными кулаками и обвел пьяным взглядом сидящих за столами собутыльников.

— Я думаю, вы все со мной согласитесь, джентльмены, что Джо Берксу полезно глотнуть свежего воздуха и поразмяться, — сказал дядя. — Если его королевское высочество и все прочее общество не возражают, будем считать Беркса нашим представителем в этом бою.

— Вы делаете мне честь, — сказал Беркс, с трудом поднимаясь на ноги и пытаясь стянуть с себя сюртук. — Да не видать мне Шропшира, если я не разделаю его под орех за пять минут.

— Не торопись, Беркс! — раздались голоса кое-кого из любителей. — Где будете драться?

— Где угодно, хозяева. Если желаете, могу хоть в яме, хоть на крыше дилижанса. Вы нас только поставьте нос к носу, а уж дальше мое дело.

— Здесь не годится, здесь слишком тесно, — сказал дядя. — Где они будут драться?

— Да полно, Треджеллис! — закричал принц. — У нашего неизвестного друга могут быть на этот счет свои соображения. Нельзя же обойтись с ним так бесцеремонно, пусть хоть предложит свои условия.

— Вы правы, сэр. Надо его позвать.

— Чего проще, — сказал хозяин, — вон он сам идет.

Я оглянулся и увидел обращенный к нам профиль высокого, хорошо одетого молодого человека в длинном коричневом дорожном сюртуке и черной фетровой шляпе. Молодой человек повернулся, и я обеими руками вцепился в плечо Чемпиона Гаррисона.

— Гаррисон! — ахнул я. — Это наш Джим.

И, однако, его появление не было для меня неожиданностью, скорее, я с самого начала почему-то этого ждал, и Чемпион Гаррисон, наверно, тоже, ибо едва только начался разговор о незнакомце, ожидающемся внизу, он помрачнел и на лице его отразилась тревога. И сейчас, едва утих ропот удивления и восторга, вызванный лицом и фигурой Джима, Гаррисон вскочил на ноги.

— Это мой племянник Джим, джентльмены, — сказал он, взволнованно размахивая руками. — Ему еще нет двадцати, и не моя вина, что он сюда пришел.

— Оставь его в покое, Гаррисон, — сказал Джексон. — Он уже не маленький, у него у самого голова на плечах.

— Дело зашло слишком далеко, — сказал мой дядя. — Мне думается, вы, как старый спортсмен, Гаррисон, не станете мешать вашему племяннику, пусть покажет, достоин ли он своего дяди.

— Он совсем не в меня! — в отчаянии воскликнул Гаррисон. — И вот что я вам скажу, джентльмены: я думал больше никогда не выходить на ринг, но, чтобы поразвлечь общество, я с радостью померяюсь сейчас с Берксом.

Джим подошел к Гаррисону и положил руку ему на плечо.

— Я сделаю, как задумал, дядя, — долетел до меня его шепот. — Прости, что поступаю против твоей воли, но я решился и должен довести дело до конца.

Гаррисон пожал своими широкими плечами.

— Джим, Джим, ты не ведаешь, что творишь! Но я уже не в первый раз слышу от тебя такое и знаю, что в конце концов ты все равно сделаешь по-своему.

— Итак, вы больше не противитесь, Гаррисон? — спросил сэр Чарльз.

— Может, я все-таки могу его заменить?

— Неужто ты позволишь, чтобы люди говорили, что я вызвался драться, а потом уступил это право другому? — прошептал Джим. — Это мой единственный случай. Бога ради, не становись мне поперек дороги!

На широком, всегда таком невозмутимом лице Гаррисона было

написано смятение. Наконец он грохнул кулаком по столу.

— Не моя вина! — крикнул он. — Чему быть, того не миновать. Джим, мой мальчик, ради всего святого, не подпускай его слишком близко, не позволяй вести ближний бой, ведь он тяжелее тебя на целых четырнадцать фунтов.

— Я был уверен, что спортсмен возьмет в Гаррисоне верх, — сказал мой дядя. — Мы рады, что вы пришли, — обратился он к Джиму. — Давайте же обсудим условия боя, чтобы ваш чрезвычайно смелый вызов не остался без должного ответа.

— С кем я буду драться? — спросил Джим и оглянулся по сторонам. Все общество было уже на ногах.

— Не бойся, малец, ты меня еще узнаешь, я тебя разделаю под орех! — крикнул Беркс, неуклюже протискиваясь сквозь толпу. — Когда я с тобой покончу, придется позвать твоих дружков, чтоб опознали тебя.

Джим взглянул на Беркса с нескрываемым отвращением.

— Надеюсь, вы не собираетесь выставить против меня пьяного? — сказал он. — Где Джем Белчер?

— Я самый, молодой человек.

— Если можно, я хотел бы сразиться с вами.

— Ты еще не дорос до меня, мой милый. На лестницу не вспрыгивают, а поднимаются по ступенькам. Докажи, что ты мне достойный противник, тогда я выйду против тебя.

— Я вам очень признателен, — сказал Джим.

— Ты мне нравишься, желаю тебе удачи, — сказал Белчер и протянул ему руку.

Они стояли рядом, высокие, гибкие, чисто выбритые, и, хотя бристолец был несколькими годами старше, все заметили в них какое-то сходство: оба были так хороши, что по толпе прокатился гул восхищения.

— Где вы хотели бы драться? — спросил мой дядя.

— Где вам угодно, сэр, — ответил Джим.

— Почему бы не отправиться на Файвз-корт? — предложил сэр Джон Лейд.

— Верно, пойдемте на Файвз-корт.

Но это совсем не устраивало хозяина заведения: ведь он надеялся, что ему подвернулся хороший случай собрать новую жатву со своих расточительных посетителей.

— Зачем ходить в такую даль? — вмешался он. — У меня за домом каретник, он совсем пустой, лучшего места для боя не найти в целом свете, было бы только ваше желание.

Все радостно завопили, и те, кто стоял ближе к двери, стали выходить, надеясь захватить места получше. Мой дородный сосед, Билл Уорр, поманил Гаррисона в сторонку.

— На твоём месте я бы его удержал, — прошептал он.

— Я бы рад. Не хочу, чтобы он дрался. Но уж если он что решил, его не отговоришь.

Никогда ещё Гаррисон так не волновался, даже когда сам выходил на ринг.

— Тогда не отходи от него ни на шаг, и чуть что не так — кидай губку. Ты же знаешь Беркса.

— Да, он начинал при мне.

— Ну вот, он зверь зверем, иначе про него не скажешь. С ним один Белчер справляется, больше никто. Сам видишь, какой он — шесть футов росту, сто восемьдесят фунтов весу и злобный как черт. Белчер два раза его побил, но во второй раз ему пришлось здорово поработать.

— Чего ж теперь говорить, дело уже сделано. Видал бы ты, как Джим орудует кулаками, ты бы так за него не боялся. Ему ещё и шестнадцати не было, когда он отдубасил «Коновода Южного Даунса», а с той поры он много чему научился.

Все уже протискивались к двери и с шумом и грохотом спускались по лестнице. Мы тоже пошли. Лил дождь, и на мокром булыжнике двора лежали желтоватые отблески света, падавшего из окон.

После зловонной духоты комнаты, где мы ужинали, особенно приятно было вдохнуть свежего сырого воздуха. В глубине двора резким пятном выделялась открытая настежь дверь каретного сарая, освещённого фонарями, и, отталкивая друг друга, стремясь занять места получше, к этой двери устремились все: и любители, и боксеры. Я был невысок ростом, и если бы мне не посчастливилось найти в углу перевернутую кадушку, я бы так ничего и не увидел; я взгромоздился на нее и стал, прислонясь к стене. Каретник был просторный, с деревянным полом; из большого отверстия в потолке свешивались головы конюхов, которые расположились наверху, в помещении, где хранилась сбруя. Во всех углах подвесили и зажгли каретные фонари, к балке на самой середине потолка прицепили огромный фонарь из конюшни. Принесли бухту каната, Джексон подозвал четверых боксеров и велел им его держать.

— Какую площадь вы огораживаете? — спросил мой дядя.

— Двадцать четыре фута: они ведь оба крупные, сэр.

— Хорошо, и между раундами, я думаю, дадим полминуты. Если сэр Лотиан Хьюм не возражает, мы с ним будем боковыми судьями, а вы,

Джексон, — судьей на ринге.

Народ был опытный, и все приготовления прошли быстро и умело. Мендосу и Голландца Сэма поставили секундантами к Берксу, а Чемпиона Гаррисона — к Джиму. Губки, полотенца, коньяк — все через головы толпы передали секундантам.

— А вот и ваш молодец! — воскликнул Белчер. — Эй, Беркс, выходи и ты, не то мы тебя выволочем!

Джим появился на ринге, обнаженный по пояс и подпоясанный пестрым платком. Когда зрители увидели, как он прекрасно сложен, гул восхищения прокатился по толпе, и я поймал себя на том, что кричу вместе со всеми. Плечи у него были не слишком прямые, скорее покатые, грудь тоже не такая уж широкая, но что касается мускулатуры, он был что надо — длинные, крепкие мускулы перекачивались под кожей от шеи до плеч и от плеч до локтей. Работа в кузнице развила мышцы его рук до предела, а здоровая сельская жизнь сделала чуть смуглую кожу гладкой и блестящей, и сейчас, в свете фонарей, она так и лоснилась. Лицо Джима выражало решимость и уверенность, а на губах застыла та ничего доброго не сулившая улыбка, которую я знал со времен нашего детства и которая означала, что в нем выиграла гордость и что ему скорее изменят силы, нежели мужество.

Тем временем на ринг нетвердой походкой прошествовал Джо Беркс и, сложив руки на груди, встал в противоположном углу между своими секундантами. На лице его не было и следа нетерпеливой настороженности, не то что у его противника, а мертвенно-бледная кожа, висящая тяжелыми складками на груди и на ребрах, ясно говорила даже моему неопытному глазу, что он не из тех, кто может драться без тренировки. Беззаботная, праздная жизнь чемпиона сделала его тучным и обрюзгшим. Но вместе с тем он славился ретивостью и могучим, точным ударом, так что, несмотря на преимущество Джима — юность и натренированность, можно было ставить три против одного, что победит Беркс. Чисто выбритое лицо его с тяжелой челюстью выражало свирепость и отвагу; он стоял, устремив на Джима злобные, налитые кровью глазки, слегка ссутулив бугристые плечи, точно гончая на сворке, готовая ринуться вперед.

В сарае стоял гул голосов: все заключали пари, перекликались из конца в конец, условливались о ставках, махали руками, стараясь привлечь чье-то внимание или в знак того, что согласны заключить пари на тех или иных условиях, и скоро эти выкрики заглушили все. Сэр Джон Лейд, стоявший как раз передо мной, громко предлагал любые пари против

Джима тем, кого покорила внешность этого новичка.

— Я видел Беркса в деле, — сказал он достопочтенному Беркли Крейвену. — Ни одному провинциальному мужлану не победить боксера, прошедшего такую школу.

— Пусть он провинциальный мужлан, — возразил сэр Крейвен, — но я знаю толк не только в четвероногих, но и в двуногих и говорю вам, сэр Джон: я в жизни не встречал человека, который, если судить по виду этого малого, был бы так щедро одарен природой. Вы все еще хотите ставить против него?

— Три против одного.

— Триста против ста!

— Принимаю, Крейвен! Вон они идут!.. Беркс! Беркс! Браво, Беркс! Браво! Боюсь, вам придется распрощаться со своей сотней, Крейвен.

Противники заняли позицию друг против друга: Джим держался на ногах легко, точно горный козел; он стал вполоборота к противнику и выставил вперед левую руку, а правой прикрывал нижнюю часть грудной клетки; Беркс же стал прямо, расставив ноги, слегка согнув обе руки в локтях, чтобы можно было нанести удар любой рукой. Они окинули друг друга взглядом, и Беркс, убрав голову в плечи, ринулся на Джима и, обрушив на него серию ударов, поочередно левой и правой, оттеснил его в угол. Это не был нокдаун, он просто загнал Джима в угол, но изо рта у Джима потекла тоненькая струйка крови. Секунданты мгновенно растащили противников в разные стороны.

— Не желаете ли удвоить ставки? — спросил Беркли Крейвен; он из всех сил вытягивал шею, чтобы взглянуть на Джима.

— Четыре против одного за Беркса! Четыре против одного за Беркса! — кричали окружавшие ринг зрители.

— Ставки возросли, как видите. Согласны, четыре против одного в сотнях?

— Хорошо, сэр Джон.

— Кажется, после нокдауна он стал вам нравиться еще больше.

— Это не был нокдаун, он просто пихнул его на канат, и вообще ни один удар Беркса по-настоящему не достиг цели; к тому же мне понравилось выражение лица этого юноши, когда он поднялся.

— Ну, а я больше верю в опыт. Бой продолжается! Он дерется красиво и недурно прикрывается, но для победы одной красоты мало.

Они снова дрались, и я, не помня себя, подпрыгивал на своей кадушке. Беркс явно надеялся справиться с молокососом играючи, но Джим, которому подавали советы два самых опытных боксера в Англии, старался

измотать грубияна: пусть думает, что выигрывает, и ослабит внимание.

Беркс свирепо наносил удар за ударом и всякий раз удовлетворенно рычал; все это было очень страшно, и после каждого удара я взглядывал на Джима с таким же волнением, как некогда на выброшенное на суссекский берег судно: на него обрушивалась волна за волной, и я с ужасом ждал, что вот сейчас его уж непременно разнесет в щепы. Но при свете фонарей я видел настороженное лицо юноши, его широко раскрытые глаза и твердо сжатый рот и замечал, что удары приходятся то в его подставленное плечо, то свистят мимо, когда он быстро наклоняет голову. Однако Беркс был не только неистов, но и искусен. Он постепенно загнал Джима в угол, прижал к канатам — отсюда не ускользнешь — и, убедившись, что пригвоздил противника к месту, ринулся на него, как тигр. Дальше все произошло так быстро, что я не могу рассказать об этом ясно и последовательно. Джим как бы нырнул под рассекавшие воздух ручищи Беркса, раздался гулкий удар — и вот уже Джим приплясывает посреди ринга, а Беркс лежит на боку, прижав руки к глазу.

Ну и крик поднялся! Боксеры, любители, принц, конюхи, хозяин — все орали как сумасшедшие. Старик Бакхорс, подпрыгивая на ящике рядом со мной, визгливо подавал советы противникам на диковинном, давно устаревшем боксерском жаргоне, которого уже никто не понимал. Тусклые глаза его блестели, желтое, точно пергамент, лицо кривилось от возбуждения, и странные выкрики перекрывали невообразимый гам, поднявшийся в сарае. Противников растащили по углам, секунданты обтирали их губками и обмахивали полотенцами, а они, расслабив и свесив руки и вытянув ноги, старались за короткое мгновение передышки набрать в легкие как можно больше воздуха.

— Ну, что вы скажете о мужлане? — с торжеством воскликнул Крейвен. — Видели вы когда-нибудь такую мастерскую работу?

— Да, он, конечно, не новичок, — покачивая головой, сказал сэр Джон. — Как вы ставили на Джо Беркса, лорд Сил?

— Два против одного.

— Ставлю против него вдвое — в сотнях.

— Ого, сэр Джон Лейд желает страхуется! — крикнул мой дядя и улыбнулся мне через плечо.

— Бой! — объявил Джексон, и противники тотчас вскочили и вышли на середину ринга.

Этот раунд был много короче предыдущего. Берксу, видно, было велено любой ценой кончать как можно скорее, воспользоваться преимуществами своего веса и силы, пока еще не сказалось полностью

превосходство его противника. С другой стороны, Джиму после последнего раунда уже не хотелось тратить силы на то, чтобы не давать Берксу навязывать ему ближний бой. Он с ходу ринулся на Беркса и нацелил удар ему в голову, но промахнулся и получил взамен жестокий удар по корпусу, оставивший на его ребрах отпечаток яростного железного кулака. Противники сблизилась, и на мгновение Джим зажал голову Беркса под мышкой и нанес ему несколько коротких ударов, но тут Беркс навалился на него всей тяжестью, и оба, прерывисто дыша, упали наземь. Джим тут же вскочил и быстрым шагом направился в свой угол, а Беркс, обессиленный попойкой, шел тяжело, опираясь одной рукой на Мендосу, другой — на Голландца Сэма.

— Пора чинить старые мехи! — крикнул Джем Белчер. — Ну где теперь ваши четыре против одного?

— погоди еще, дай срок, мы тебе всыплем по первое число, — отвечал Мендоса. — Мы еще вас позабавим!

— Похоже на то! — воскликнул Джек Гаррисон. — Вон у него уже и глаз закрылся. Один против одного за моего мальчика!

— А сколько? — спросили сразу несколько человек.

— Два фунта четыре шиллинга и три пенса! — крикнул Гаррисон, подсчитав свой капитал.

— Бой! — снова раздался голос Джексона.

И в то же мгновение оба противника оказались в центре ринга: на лице Джима по-прежнему бодрая уверенность, на бульдожьей морде Беркса — неизменная усмешка, а в единственном открытом глазу — злобный огонек. За полминуты он не успел отдышаться, и его могучая волосатая грудь порывисто, тяжело вздымалась и опускалась, точно у забегавшей собаки.

— Начинай, малец! Живее! — кричали Гаррисон и Белчер.

— Отдышись, Джо, отдышись! — орали сторонники Беркса.

Теперь на ринге все переменялось: нападал Джим, нападал со всем пылом молодой силы и нерастраченной энергии, а свирепый Беркс расплачивался за пренебрежение, с которым он относился к своему естеству. Задыхаясь и с хрипом втягивая воздух, багровый от напряжения, он старался защититься от ударов своего молодого противника, вытянув левую руку и прикрываясь правой.

— Как ударит — падай! — кричал Мендоса. — Падай! Дай себе передышку.

Но Беркс никогда не робел и не ловчил в бою. Он был груб, но честен и, пока ноги его держали, считал ниже своего достоинства падать перед противником. Он не подпускал Джима близко, и Джим, хотя легко

приплясывал вокруг него, выискивая незащищенное место, все же не мог подойти ближе, словно между ними был железный сорокадюймовый барьер. Теперь каждая секунда была в пользу Беркса, он дышал уже не с таким свистом, с лица постепенно сходила багровая синева. Джим понимал, что надежда на скорую победу от него ускользает, и снова стремительно насккивал на Беркса, но не мог пробиться сквозь защиту этого опытного боксера. Сейчас, именно сейчас ему нужно было знание приемов, и, к счастью для него, рядом были два настоящих знатока.

— Бей левой по поясу, малец! — закричали они. — А потом правой в голову.

Джим тотчас последовал их совету. Р-раз! Он угодил левой прямо в нижнее ребро противнику. Беркс локтем наполовину ослабил силу удара, но дело было сделано: его голова оказалась незащищенной. Бац! Это уже правой — четкий, жесткий звук, точно столкнулись два бильярдных шара; Беркс пошатнулся, взмахнул руками, перевернулся вокруг своей оси — и огромная мясистая туша рухнула на пол. К нему тут же подскочили секунданты, приподняли и посадили, но голова у него беспомощно моталась из стороны в сторону и, наконец, запрокинулась, а подбородок задрался кверху. Сэм протолкнул горлышко коньячной бутылки между его зубами, а Мендоса тем временем безжалостно тряс его и выкрикивал оскорбления ему в самое ухо, но ни спиртное, ни обида не могли нарушить безмятежное спокойствие Беркса. Отсчитали положенные десять секунд, и, видя, что надеяться больше не на что, секунданты отпустили голову Беркса, она со стуком упала на пол, и так он и остался лежать, неуклюже раскинув большие руки и ноги, а любители и боксеры обходили его и устремлялись к победителю, чтобы пожать ему руку.

Я тоже хотел пробиться к Джиму, но это было нелегко, ибо все были там сильнее и крупнее меня. Вокруг любители и боксеры горячо обсуждали бой и перспективы Джима.

— Отличный боец, я такого не видал с того самого раза, когда четыре года назад в апреле Джем Белчер впервые выступил в Уормвуд-Скрабс против Джона Паддинтона, — сказал Беркли Крейвен. — Если до того, как ему исполнится двадцать пять, он не наденет пояс победителя, значит, я ничего не смыслю в боксе.

— Я потерял на этом красавчике ровным счетом пятьсот фунтов стерлингов, — проворчал сэр Джон Лейд. — Кто бы мог подумать, что у него такой сокрушительный удар!

— И все-таки, — сказал кто-то еще, — я уверен: если бы Джо Беркс не был пьян, он бы показал ему, где раки зимуют. К тому же парень был

натренирован, а Джо — точно разваренная картофелина: стукни по ней, и она лопнет. В жизни не видел у боксера такого дряблого тела и такого дыхания. Дайте им потренироваться, и ставлю лошадь против петуха за Беркса.

Одни с ним соглашались, другие нет, вокруг меня кипели страсти. В самый разгар споров уехал принц; это послужило сигналом, и большинство стало двигаться к дверям. Теперь мне удалось наконец пробиться в угол, где Джим кончал одеваться, а Чемпион Гаррисон, все еще со слезами радости на щеках, помогал ему натянуть сюртук.

— За четыре раунда! — все повторял и повторял он, точно в забытии. — Джо Беркса — в четыре раунда! А Джемму Белчеру понадобилось для этого четырнадцать.

— Ну как, Родди? — воскликнул Джим, протягивая мне руку. — Я же тебе говорил, что приеду в Лондон и добьюсь известности.

— Это было великолепно, Джим!

— Родди, дорогой! Я видел, ты не сводил с меня глаз, и лицо у тебя было совсем белое. Ты ничуть не изменился, хоть у тебя теперь богатое платье и полно друзей в Лондоне.

— А вот ты изменился, Джим, — сказал я. — Когда ты вошел, я тебя едва узнал.

— И я! — воскликнул кузнец. — Откуда у тебя это роскошное оперение, Джим? Ручаюсь, что это не тетушка помогла тебе сделать первый шаг к рингу.

— Мне помогла мисс Хинтон, она мой самый лучший друг.

— Хм! Я так и думал! — проворчал кузнец. — Но я-то тут, во всяком случае, ни при чем, и когда мы вернемся домой, ты это подтвердишь, Джим. Хотя... Да что тут говорить, дело сделано, вспять не повернешь. В конце концов она... А, черт, двух слов связать не могу!

Не знаю, было ли тому причиной вино, выпитое за ужином, или радость, вызванная победой Джима, но всегда безмятежно спокойное лицо Чемпиона Гаррисона выражало сейчас совершенно необычное волнение, и по всем его словам, по всей повадке чувствовалось, что он счастлив и смущен. Джим смотрел на него удивленно, видно, пытаясь понять, что за этим кроется, почему он все чего-то недоговаривает, все замолкает на полуслове. Тем временем каретный сарай опустел, Беркс с проклятиями кое-как поднялся наконец на ноги и нетвердой походкой, сопровождаемый двумя дружками-боксерами, поплелся к выходу; только Джем Белчер остался и о чем-то серьезно беседовал с моим дядей.

— Хорошо, Белчер, — услышал я ответ дяди.

— Для меня это будет истинным удовольствием, сэр, — сказал прославленный боксер, когда они подходили к нам.

— Я хотел спросить вас, Джим Гаррисон, не хотите ли вы быть моим бойцом и выступить против Краба Уилсона из Глостера? — спросил дядя.

— Я только об этом и мечтаю, сэр Чарльз, это для меня случай выйти в настоящие боксеры.

— Ставки на этот раз очень высокие, чрезвычайно высокие, — сказал дядя. — Если победите, получите двести фунтов. Вас это устраивает?

— Я буду драться ради чести и ради того, чтобы меня сочли достойным сразиться с Джемом Белчером.

Белчер добродушно рассмеялся.

— Правильно, парень, — сказал он. — Но помни: сегодня у тебя была легкая добыча — пьяный, да еще не в форме.

— Я и не хотел с ним драться, — вспыхнув, возразил Джим.

— Знаю, знаю, ты готов был сразиться с кем угодно, храбрости тебе не занимать, я, как поглядел на тебя, сразу это понял. Но запомни: бороться с Крабом Уилсоном — значит бороться с самым многообещающим боксером из западных графств, а лучший боксер Запада чаще всего — лучший боксер Англии. Он такой же быстрый и такой же высокий, как ты, и руки у него такие же длинные, и уж он будет тренироваться до тех пор, покуда каждая капля жира не превратится у него в мускулы. Я говорю это тебе сейчас, потому что, если я за тебя возьмусь...

— Возьметесь за меня?

— Да, — сказал мой дядя. — Если ты готов выступить, Белчер согласен быть твоим тренером.

— Я бесконечно признателен вам! — с жаром воскликнул Джим. — Если дядя не захочет быть моим тренером, я ни о ком другом и не мечтаю.

— Нет, Джим. Я побуду с тобой денек-другой, но в этом деле мне с Белчером не тягаться.

— Где вы будете жить?

— Я думаю, тебе удобно будет, если мы расположимся в Подворье короля Георга в Кроли. А если нам можно будет выбирать место боя, лучше всего Кролийские холмы, ведь, кроме холма Мосли и, может, еще Смитемской ложбины, это самое подходящее место для бокса во всей Англии. Согласен?

— Конечно, согласен, — отвечал Джим.

— Значит, с этой минуты ты мой, понимаешь? — спросил Белчер. — Еда, питье, сон — все по моему слову, и вообще ты теперь во всем должен меня слушаться. Нам нельзя терять ни часу, Уилсон уже месяц назад был

почти в форме. Видал сегодня — он ни капли в рот не взял.

— Джим может хоть сейчас драться до последнего, — сказал Гаррисон. — Но все равно завтра мы оба поедем с тобой в Кроли. Доброй ночи, сэр Чарльз.

— Доброй ночи, Родди, — сказал Джим. — Приезжай ко мне в Кроли, ладно?

И я горячо пообещал, что навещу его непременно.

— Тебе следует быть осмотнительнее, племянник, — сказал дядя, когда мы с грохотом неслись домой в его нарядной коляске. — В *premiere jeunesse*^[30] человек склонен руководствоваться доводами сердца, а не рассудка. Джим Гаррисон производит впечатление весьма достойного молодого человека, но он как-никак всего лишь подручный кузнеца и кандидат в профессиональные боксеры. Между его положением и положением моего кровного родича — пропасть, и ты должен дать ему почувствовать свое превосходство.

— Он мой самый старый и самый любимый друг, сэр, — отвечал я. — Мы вместе росли, и между нами никогда не было секретов. И как же я могу дать ему почувствовать мое превосходство, когда я прекрасно знаю, что это он меня во всем превосходит!

Дядя весьма сухо хмыкнул и в этот вечер уже больше не сказал со мной ни слова.

Глава XII

КОФЕЙНАЯ ФЛЭДДОНГА

Итак, Джим отправился в Кроли под присмотром Джема Белчера и Гаррисона, чтобы тренироваться и подготовиться к великому бою с Крабом Уилсоном, а тем временем во всех лондонских клубах и пивных только и разговору было, что о том, как он появился на ужине и за четыре раунда нокаутировал грозного Джо Беркса. Джим сказал мне однажды, что непременно прославится, и слова его сбылись скорее, чем он предполагал: куда ни пойдешь, всюду говорили только о пари сэра Лотиана Хьюма с сэром Чарльзом Треджеллисом и о достоинствах будущих противников. Огромное большинство ставило на Уилсона, ибо одной-единственной победе Джима он мог противопоставить целый ряд побед; кроме того, знатоки, видевшие его в учебных боях, полагали, что редкостная защитная тактика, благодаря которой он заслужил свое прозвище, совершенно собьет с толку его неопытного противника. Рост, сила, ловкость — тут они мало чем отличались друг от друга, но Уилсон был много опытнее.

За несколько дней до боя отец исполнил наконец свое обещание и приехал в Лондон. Моряк не жаловал города, ему куда больше нравилось бродить по Суссекским холмам и следить в бинокль за каждым марселем, который показывался на горизонте, чем пробираться в уличной сутолоке, где, как он сетовал, невозможно проложить путь по солнцу и уж тем более что-нибудь упомянуть. Но в воздухе снова запахло войной, и надо было воспользоваться своим знакомством с лордом Нельсоном, чтобы получить место для себя или для меня.

На город спустился вечер, дядя облачился в зеленый костюм для верховой езды с пуговицами накладного серебра, в сапоги из кордовской кожи и круглую шляпу и, как всегда в этот час, вскочил на свою лошадку с подрезанным хвостом и отправился на Пэл-Мэл людей посмотреть и себя показать. Я остался дома — я уже успел понять, что светская жизнь не по мне. Все эти господа с тонкими талиями и заученными жестами, живущие какой-то странной жизнью, порядком мне прискучили, и даже дядя с его холодно-покровительственным тоном вызывал у меня довольно смешанные чувства. Я унесся мыслями в Суссекс и с тоской вспоминал простую, естественную сельскую жизнь, как вдруг раздался стук молотка в парадную дверь, потом послышался сердечный голос, и вот уже в дверях показалось

улыбающееся обветренное лицо и голубые, с прищуром глаза.

— Ишь, каким ты щеголем, Родди! — воскликнул отец. — Но я предпочел бы видеть тебя в синем морском кителе, а не в этих галстуках и кружевах.

— Да и я тоже, отец, — отвечал я.

— Рад это слышать. Лорд Нельсон обещал мне найти для тебя место, и завтра мы постараемся с ним повидаться и напомним ему об этом. Но где же твой дядя?

— Катается верхом по Мэлу.

На простодушном лице отца отразилось облегчение: в присутствии шурина он всегда чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я был в адмиралтействе и, когда начнется война, надеюсь получить под свое начало корабль, а судя по всему, ждать осталось недолго. Так мне сказал сам лорд Сент-Винсент. Я остановился у Флэддонга, Родни. Если хочешь, пойдем ко мне поужинаем, и ты увидишь там моих однокашников, с которыми я плавал в Средиземном море.

Если вы вспомните, что в последний год войны у нас на флоте служило сорок тысяч моряков и солдат морской пехоты под командой четырех тысяч офицеров и, едва был подписан Амьенский мир, половину из них списали на берег, а корабли поставили на прикол в Хэймоузе или в Портсдауне, вам станет ясно, что в Лондоне, как и в других портовых городах, было полным-полно моряков. На улицах то и дело попадались люди с зоркими глазами и обветренными, обожженными солнцем лицами; их более чем скромная одежда яснее ясного говорила о том, что кошельки у них пусты, а безразличие, написанное на их лицах, выдавало усталость, вызванную непривычным, вынужденным бездельем. На темных узких улицах среди кирпичных домов они выглядели как-то неуместно, точно морские чайки, которых непогода загнала далеко на сушу. И, однако, пока призовые суды будут мешкать с решением или пока жива будет надежда, что, наведываясь в адмиралтейство, скорее можно быть зачисленным на корабль, они будут вразвалку прогуливаться по Уайтхоллу или, собравшись вечером на Оксфорд-стрит в гостинице Флэддонга, где останавливались одни только моряки, как у Слотера — сухопутные военные, а у Иббитсона — служители церкви, будут спорить о событиях прошлой войны и надеждах на будущую.

Поэтому я не удивился, когда увидел, что большая комната, в которую мы вошли, полным-полна морских офицеров, однако, помнится, меня поразило, что все они, хоть и служили в самых разных условиях и бороздили самые разные моря и океаны земного шара от Балтики до Вест-

Индии, походили друг на друга больше, нежели родные братья, и образовали один определенный тип. Все, как им и полагалось, были чисто выбриты, все в напудренных париках, у всех на шее сзади — небольшая косичка из собственных волос, перевязанная черной шелковой лентой. Кожа их потемнела от жгучих ветров и тропического солнца, а привычка командовать и постоянно смотреть в глаза опасностям наложила на лица печать властности и настороженности. Попадались и веселые лица, но офицеры постарше, с крупными носами и щеками в глубоких морщинах, напоминали суровых, неприступных отшельников, познавших и холод, и зной. Одинокое вахты и строжайшая дисциплина, которая обрекала их на жизнь вне общества, наложили особый отпечаток на эти опаленные солнцем, красные, точно у индейцев, лица. Мне так интересно было их наблюдать, что я почти не прикоснулся к ужину. Хотя я и был тогда очень молод, однако понимал, что если в Европе и сохранились какие-то остатки свободы, то лишь благодаря этим людям, и на их мрачных, суровых лицах я, казалось, видел следы десятилетней борьбы, которая завершилась изгнанием трехцветного французского флага со всех морей.

Мы поужинали, и отец повел меня в огромную кофейню, где собралось не меньше сотни офицеров; все потягивали вино, курили длинные глиняные трубки, и скоро здесь стало вовсе нечем дышать, словно на батарейной палубе во время ближнего боя.

— Тут немало людей, Родни, чьи имена скорее всего никогда не попадут ни в какую книгу, разве что в судовой журнал, но вели они себя лучше любого адмирала, — сказал отец, поглядев по сторонам. — Мы их знаем и говорим о них у себя на флоте, хотя их никто не стал бы приветствовать на улицах Лондона. На одномачтовом куттере требуется не меньше искусства и мужества, чем на линейном корабле, хотя за это не удостоивают ни титулами, ни благодарностями. Возьми, к примеру, Гамильтона, вон он прислонился к колонне — такой тихий, с бледным лицом. Он с шестью пробными шлюпками под дулами двухсот береговых пушек гавани Пуэрто Кабелло отрезал от берега сорокачетырехпушечный фрегат «Гермион». Это был самый искусный маневр за всю войну. А вон тот, с бакенбардами, — Бриритон. На своей бригантине он атаковал двенадцать испанских кораблей и заставил четыре из них сдаться в плен. А вот Уокер, командир куттера «Роза», у него под командой было тринадцать человек, и он вступил в бой с тремя французскими каперами, а у французов было сто сорок шесть человек. Один капер он потопил, другой взял в плен, а третий обратил в бегство... Как поживаете, капитан Белл? Надеюсь, вы в добром здравии?

Кое-кто из знакомых отца, сидящих неподалеку, пододвинул к нам стулья, и скоро образовался небольшой кружок, — все громко разговаривали, спорили, обсуждали свои морские дела, а разгорячась, потрясали длинными дымящимися трубками. Отец шепнул мне на ухо, что его сосед — капитан «Голиафа» Фоли, тот самый, который на Ниле шел в авангарде эскадры, а высокий, худощавый, рыжеволосый человек напротив — это лорд Кокрейн, самый лихой капитан фрегата на всем английском флоте. Даже до Монахова дуба докатился рассказ о том, как на маленьком «Проворном», оснащенном всего четырнадцатью пушчонками, с командой в пятьдесят четыре человека он сцепился бортами с испанским фрегатом «Гамо», на котором было триста человек команды, и взял его на абордаж. По тому, с каким жаром он говорил о своих обидах, как гневно краснели его усыпанные веснушками щеки, видно было, что это человек вспыльчивый и решительный.

А я с интересом слушал, как эти люди, чья жизнь проходит в боях с нашими соседями, говорят об их характерах и обычаях. Вам, живущим в дни мира и благоденствия, не понять тогдашней жгучей ненависти англичан к Франции, и в особенности к ее великому полководцу. Это было больше, чем обычное предубеждение, больше, чем неприязнь. Это была глубокая, активная ненависть, вы можете даже сейчас составить себе представление о ней, если перелистаете газеты и карикатуры тех времен. Слово «француз» употреблялось только в сочетании со словами «негодяй» или «подлец». Все англичане, к какому бы общественному слою они ни принадлежали, в какой бы части Англии ни жили, горели одним и тем же чувством. Даже матросы шли на французов с таким остервенением, какого никогда не бывало в сражениях с датчанами, голландцами или испанцами.

Если теперь, спустя полвека, вы спросите меня, чем была вызвана эта враждебность, столь чуждая добродушно-веселым и терпимым по натуре англичанам, я признаюсь, что, по-моему, в основе ее лежал страх. Страх, разумеется, не перед каждым отдельным французом — даже самые подлые клеветники никогда не называли бы нас малодушной нацией, — но страх перед необычайной удачливостью французов, перед грандиозностью их замыслов, перед проницательным умом того, кому удавалось все эти свои замыслы осуществлять и подминать под себя одно государство за другим. Мы были совсем небольшой страной, наше население к началу войны составляло немногим больше половины населения Франции. Потом Франция стала стремительно расширяться — она вобрала в себя на севере Бельгию и Голландию, а на юге Италию, нас же ослабляла давняя вражда между католиками и пресвитерианами в Ирландии. Даже самому

легкомысленному человеку ясно было, что над нами нависла опасность. Стоило выйти к морю в любом месте Кентского побережья, и сразу видны были сигнальные огни в месте расположения неприятельских войск, а в ясный день на холмах близ Булони поблескивали на солнце штыки — то шли маневры ветеранов. Неудивительно, что даже у самых отважных людей в глубине души таился страх перед Францией, а страх, как всегда бывает, рождал острую, жгучую ненависть.

Моряки недобрым словом поминали своих врагов. Они ненавидели их всем сердцем и, как принято в Англии, говорили то, что чувствовали. Французских офицеров они великодушно признавали достойными врагами, но французы как нация были им глубоко антипатичны. Те, кто постарше, воевали с французами в американской войне, потом снова воевали с ними последние десять лет и готовы были воевать до конца своих дней. Однако, если меня поразила та жгучая враждебность, какую вызывала у моряков Франция, я был поражен еще больше, услышав, сколь высоко они ценят французов как противников. Многочисленные, следовавшие одна за другой победы Британии, которые в конце концов вынудили французов укрыться в своих портах и в отчаянии прекратить борьбу, внушили и всем нам мысль, будто существуют какие-то причины, по которым на море бритт во веки веков будет брать верх над французом.

Но люди, сидящие вокруг меня, те, кто добывал эти победы, так не думали. Они вслух хвалили отвагу противника и ясно понимали причины его поражения. Они говорили, что прежде во Франции почти все офицеры были из высшего сословия, революция смела их и тем самым обезглавила флот: матросы, оставшись без опытных командиров, забыли, что такое настоящая дисциплина. Управляемый искусными и опытными командирами, отлично укомплектованный британский флот загнал лишенных умелого управления французов в их порты и не выпускал их оттуда, лишив тем самым возможности овладеть искусством мореплавания. Все то, чему они обучались в порту, вся их строевая и артиллерийская подготовка не могла сослужить им службу в открытом море, в бурных водах, когда надо было давать бортовые залпы и маневрировать, переставляя паруса. Если бы хоть один французский фрегат мог несколько лет свободно бороздить океан, постигая искусство морского боя, вот тогда победа над ним — равным противником — прибавила бы славы капитану английского корабля.

Так рассуждали эти умудренные опытом офицеры и подтверждали свои слова воспоминаниями, примерами французской отваги, такими хотя бы, как поведение команды «Лориент»: французы били из пушек

квартердека, в то время как вся батарейная палуба под ними была охвачена пламенем и они знали, что стоят на пороховом погребе.

Все надеялись, что Вест-Индская экспедиция дала возможность многим судам приобрести опыт океанского плавания и, если снова начнется война, они рискнут выйти в Ла-Манш. Но начнется ли она? Мы надели узду на Наполеона и не дали ему стать тираном всего мира, но это стоило нам огромных денег и невероятных усилий. Решится ли правительство на это снова? Или оно испугается непомерного груза долгов, который ляжет тяжким бременем на многие еще не родившиеся поколения? Но ведь у нас Питт, а он не из тех, кто останавливается на полпути!

Вдруг у дверей возникло какое-то движение. Сквозь серые клубы табачного дыма я разглядел синий мундир и золотые эполеты. Вокруг теснились моряки, слышался приглушенный шум голосов, который почти тотчас перерос в громкие и радостные крики. Все вскочили, оглядывались по сторонам, спрашивали друг друга, что случилось. А толпа бурлила, крики становились все громче и радостнее.

— Что там? Что такое? — раздались голоса.

— Поднимите его! Поднимите выше! — закричал кто-то, и тотчас над толпой появился офицер.

Лицо у него разгорелось, и он махал каким-то листком. Крики смолкли, стало так тихо, что я слышал, как у него в руке шелестела бумага.

— Великие новости, джентльмены! — возвестил он. — Великолепные новости! Контр-адмирал Коллингвуд просил меня сообщить их вам. Сегодня вечером французскому послу были возвращены верительные грамоты. Все корабли вступают в строй. Адмирал Корнуоллис направляется из Каусэндского залива на остров Уэссан. Одно соединение кораблей отплывает в Северное море, другое — в Ирландское!

Быть может, он собирался сказать еще что-то, но тут моряки не выдержали. Как они кричали, как топали ногами, как бесновались от восторга! Суровые, немолодые вице-адмиралы, степенные капитаны первого ранга, юные помощники капитана — все шумели, точно школьники, отпущенные на каникулы. В эти минуты никто не думал о множестве горьких обид, о которых я только что слышал. Ненастье миновало, и занесенные ветром на сушу морские птицы снова закачаются на пенных волнах.

Над шумом и криком звучало, нарастая, «Боже, храни короля!», и зазвучало так, что забывались и жалкие рифмы, и откровенная сентиментальность гимна. Я уверен, что вы никогда не слыхали, чтобы его так пели, не видели, как по суровым лицам катится слеза, как у сильных

мужчин перехватывает дыхание. Чтобы снова услышать гимн в таком исполнении, чтобы снова увидеть подобное зрелище, должны были бы вернуться грозные времена. Только те, кто никогда не видел моих соотечественников в час, когда спадает застывшая маска сдержанности и на мгновение вспыхивает могучий, негасимый жар северной души, могут говорить о флегматичности англичан. В тот час я видел эти огни, и если не вижу их нынче, я не настолько стар или глуп, чтобы усомниться в том, что они существуют.

Глава XIII

ЛОРД НЕЛЬСОН

Свидание с лордом Нельсоном должно было состояться рано утром, и, понимая, как будет занят адмирал в связи с новостями, которые мы услышали накануне вечером, отец желал быть предельно точным. Я только-только успел позавтракать, дядя еще даже не звонил, чтобы ему подали шоколад, а отец уже заехал за мной. Мы прошли несколько сот шагов и оказались на Пикадилли перед высоким зданием из выцветшего кирпича — городской резиденцией Гамильтонов, где была и штаб-квартира Нельсона, когда дела или развлечения призывали его из Мертон в Лондон. Ливрейный лакей отворил двери и ввел нас в большую гостиную с мрачной мебелью и унылыми порттьерами на окнах. Потом пошел доложить о нас, а мы сели и принялись разглядывать белые итальянские статуэтки в углах и большую картину, висевшую над клавирами, на которой были изображены Везувий и Неаполитанский залив. Помню: на камине громко тикали часы и сквозь грохот проезжавших мимо экипажей из внутренних покоев поминутно доносились взрывы смеха.

Наконец дверь распахнулась, и мы разом вскочили, полагая, что окажемся перед лицом величайшего из ныне здравствующих англичан. Но в комнату величаво вплыла дама. Она была высока и, как мне показалось, поразительно хороша собой, хотя взгляд более искушенный и придирчивый заметил бы, что красота ее — лишь отголосок прошлого. У нее была царственная осанка, все линии поражали благородным изяществом, а лицо, правда, уже слегка оплывшее и огрубевшее, все еще блистало нежной, ослепительно белой кожей; большие светло-синие глаза были прекрасны, темные волосы прелестного оттенка вились над невысоким белым лбом. Она была воистину величава, и, когда я увидел, с каким достоинством она вступила в гостиную и как вскинула голову, взглянув на моего отца, мне вспомнилась перуанская королева в изображении мисс Хинтон, когда она побуждала нас с Джимом к бунту.

— Лейтенант Энсон Стоун? — спросила она.

— Так точно, миледи, — отвечал отец.

— О! — с наигранным изумлением воскликнула она. — Так вы меня знаете?

— Я видел вас в Неаполе.

— Тогда вы, несомненно, видели и моего бедного мужа — моего бедного, бедного сэра Уильяма! — И ее белые, униженные кольцами пальцы коснулись платья, словно она желала обратить наше внимание на свой глубокий траур.

— Я слышал о вашей горестной утрате, миледи, — сказал отец.

— Мы умерли вместе! — воскликнула она. — Что теперь моя жизнь? Лишь бесконечное медленное умирание.

Она говорила красивым глубоким голосом, и временами он страдальчески дрожал, но я не мог не заметить, что с виду она обладала отменным здоровьем, и меня удивило, что она украдкой вопросительно поглядывала в мою сторону, словно восхищение столь незначительной личности могло ее хоть сколько-нибудь интересовать. Отец с простодушием моряка бормотал нехитрые слова утешения, но она то и дело переводила взгляд с его грубого, обветренного лица на мое, проверяя, действуют ли на меня ее чары.

— Вот он, ангел, охраняющий этот дом! — провозгласила она и широким торжественным жестом указала на картину, висевшую на стене: это был портрет художавого высокомерного господина в орденах. — Но хватит о моем горе! — И она смахнула воображаемую слезу с сухих глаз. — Вы ведь пришли к лорду Нельсону? Он просил меня передать, что сию минуту будет здесь. Вы уже, конечно, знаете, что начало действий ожидается с минуты на минуту.

— Да, мы узнали об этом вчера вечером.

— Лорду Нельсону приказано принять командование над средиземноморским флотом. Разумеется, в такой час... Ах, кажется, я слышу шаги его светлости!

Странные манеры этой леди и жесты, которыми она сопровождала каждое свое слово, так приковали к себе мое внимание, что я не заметил, как в комнату вошел великий адмирал. Когда я обернулся, оказалось, что он стоит рядом со мной — небольшого роста, темнолицый человек, гибкий и по-юношески стройный. Он был не в мундире, а в коричневом сюртуке с высоким воротником, правый рукав которого свободно болтался. Помню печальное и мягкое выражение его изборожденного глубокими морщинами лица — пылкий и нетерпеливый по натуре, он, видно, перенес немало испытаний. Один глаз был обезображен ранением и слеп, но другой смотрел то на меня, то на отца поразительно остро и проницательно. Вся его повадка, быстрые, зоркие взгляды, красивая посадка головы говорили о том, что перед нами человек действия, живой, энергичный, и, если позволено сравнивать большое с малым, он напоминал мне хорошо

выдрессированного бультерьера, ласкового и хрупкого с виду, но смелого и решительного, каждую минуту готового ринуться в бой.

— Лейтенант Стоун, — с необычайной сердечностью сказал он, протягивая моему отцу левую руку, — рад вас видеть. В Лондоне полно моряков со средиземноморских кораблей, но я уверен, что через неделю на суше не останется ни одного.

— Я пришел просить вас, сэр, помочь мне получить корабль.

— Если в адмиралтействе мое слово хоть что-нибудь весит, вы его получите, Стоун. Мне понадобятся все, кто был со мной на Ниле. Не обещаю, что это будет первоклассный корабль, но шестидесятичетырехпушечный вы, во всяком случае, получите, а на таком корабле — легко управляемом, хорошо укомплектованном и оснащенном — можно натворить немало всяких дел.

— Кто слышал про «Агамемнона», у того на этот счет не может быть никаких сомнений, — вмешалась леди Гамильтон и тут же стала превозносить адмирала и его деяния и осыпать его похвалами в столь преувеличенно-восторженных выражениях, что мы с отцом не знали, куда глаза девать: нам было неловко и горько за человека, о котором все это говорилось в его же присутствии. Но когда я наконец осмелился взглянуть на лорда Нельсона, оказалось, что он несколько не смущен, а, напротив, улыбается, словно эта грубая лесть очень ему по вкусу.

— Полно, полно, дорогая, — сказал он, — вы слишком преувеличиваете мои заслуги.

Получив такого рода одобрение, она снова принялась громко, словно со сцены, восхвалять любимца Британии, старшего сына Нептуна, а он по-прежнему слушал все это с благодарным и довольным видом. Я был поражен, что сорокапятилетнего человека, умудренного жизнью, пронизательного, честного, хорошо знающего придворные нравы, можно провести такой грубой, неприкрытой лестью, и это поражало не одного меня, а всех, кто с ним сталкивался, но вы немало повидали в жизни и, верно, знаете, как часто самым сильным, самым благородным натурам свойственна одна-единственная необъяснимая слабость, которая особенно бросается в глаза на фоне их бесспорных достоинств, подобно тому, как грязное пятно резче выделяется на белоснежной простыне.

— Такие морские офицеры, как вы, Стоун, мне по душе, — сказал лорд Нельсон, когда ее светлость исчерпала весь свой запас лести. — У вас старая закалка.

Разговаривая, он мерил комнату мелкими нетерпеливыми шагами и то и дело стремительно, резко поворачивался на каблуках, точно у него на

пути внезапно выростала какая-то невидимая преграда.

— Все эти новомодные эполеты и разукрашенные квартердеки чересчур красивы для нашей работы. Когда я начал служить на флоте, помощник капитана сам засаливал окорок и сам ставил бушприт, сам со свайкой на шее лез на мачту, сам показывал пример своей команде. А теперь он разве что сам принесет свой секстант в рубку. Когда вы будете готовы?

— Сегодня вечером, милорд.

— Отлично, Стоун, отлично! Так и надо. В доках работают не покладая рук, но я еще не знаю, когда будут подготовлены суда. В среду я поднимаю свой флаг на «Виктории», и мы тотчас же отплывем.

— О, нет, нет, не так скоро! Корабль еще не будет готов к отплытию, — дрожащим голосом произнесла леди Гамильтон, заломив руки и возведя глаза к небесам.

— Он должен быть и будет готов! — с необычайной горячностью воскликнул Нельсон. — Клянусь богом, что бы ни случилось, в среду я отплываю! Кто знает, что могут натворить эти негодяи в мое отсутствие? Как подумаю, что только они там могут замыслить, места себе не нахожу. В эту самую минуту королева, наша королева, быть может, вглядывается в даль в надежде увидеть марсели кораблей Нельсона.

— Что ж, она знает, что ее рыцарь без страха и упрека никогда не бросит свою королеву в беде, — сказала леди Гамильтон.

Я думал, они имеют в виду нашу королеву Шарлотту, а потому не мог понять, что же такое они говорят, но отец объяснил мне потом, что Нельсон и леди Гамильтон воспылали необыкновенной любовью к неаполитанской королеве и что это интересы ее маленького королевства он принимал так близко к сердцу. Нельсон продолжал быстро ходить по комнате, но замешательство, выразившееся на моем лице, видно, привлекло его внимание; он вдруг остановился и смерил меня суровым взглядом.

— Ну-с, молодой человек! — резко сказал он.

— Это мой единственный сын, сэр, — сказал отец. — Я бы хотел, чтобы он тоже служил во флоте, если только для него найдется место. Уже много поколений все мужчины у нас в роду становятся офицерами королевского флота.

— Так вы желаете, чтобы и вам переломали кости? — грубо сказал Нельсон, глядя весьма неодобрительно на мой нарядный костюм, из-за которого дядя и мистер Брумел столько спорили. — Если вы будете служить под моим началом, сэр, вам придется сменить этот роскошный костюм на вымазанную дегтем куртку.

Я был безмерно смущен его резким тоном и едва сумел пробормотать, что надеюсь исполнить свой долг, после чего его сурово сжатые губы расплылись в добродушной улыбке и он на миг коснулся моего плеча небольшой, сильно загорелой рукой.

— Уверен, что вы отлично справитесь, — сказал он. — Я вижу, у вас есть характер, но не воображайте, будто это легкий хлеб — служить во флоте. Это трудная профессия, молодой человек. Вы слышите о тех немногих, которые преуспели, но что вам известно о сотнях других, которые так ничего и не добились? А моя собственная судьба! Из двухсот моряков, что были со мной в Сент-Жуанской экспедиции, сто сорок пять погибло за одну ночь. Я участвовал в ста восьмидесяти сражениях и, как видите, потерял глаз и руку и сверх этого был еще тяжко ранен. Случилось так, что я выжил и стал адмиралом, но я помню множество людей ничуть не хуже меня, которым не столь посчастливилось. Да, — прибавил он, когда леди Гамильтон разразилась многословными протестами против этого его утверждения, — множество, великое множество людей ничуть не хуже меня пошли на корм акулам или крабам. Но настоящий моряк лишь тот, кто каждый день рискует головой. Жизнь наша в руках господ, и он один знает, когда ее отнять.

На мгновение в серьезном взгляде и в благоговейном тоне, каким были сказаны последние слова, мы, казалось, ощутили подлинного Нельсона, уроженца одного из восточных графств, до мозга костей проникнутых духом воинственного пуританства, породившего «железнобоких», которые наводили свои порядки в самой Англии, и отцов-пилигримов, насаждавших свою веру за ее пределами, по всему свету. Это был тот Нельсон, который заявил, что видел десницу божью, занесенную над Францией. Нельсон, который призывал гóспода, стоя на коленях в своей каюте на флагманском корабле, когда судно подходило с наветренной стороны к вражеской эскадре. Он с болью и нежностью говорил о своих погибших товарищах, и, слушая его, я понял, почему его так любили все, кто служил под его началом: он был суровый, нестигаемый моряк и воин, но в его сложной натуре это уживалось с несвойственной англичанам чувствительностью, проявлявшейся в слезах, если он был глубоко взволнован, или в таких, например, душевных порывах, когда он, уже умирающий, лежа на палубе «Виктории», попросил флаг-капитана поцеловать его.

Отец поднялся, чтобы откланяться, но адмирал по-прежнему мерил комнату шагами и с присущей ему добротой, которую он всегда оказывал к подчиненным и которую как ветром сдуло, едва он заметил мой злополучный франтовской наряд, давал мне коротки и четкие напутствия и

советы.

— Служба требует рвения, молодой человек, — говорил он. — Нам нужны горячие головы, желающие все новых побед. У нас были такие на Средиземном море и они будут у нас опять. Все были, как на подбор, ни в чем не уступали друг другу! Когда меня попросили порекомендовать кого-нибудь для особого поручения, я сказал в адмиралтействе, что они могут взять любого, ибо всеми владеет один и тот же боевой дух. Если бы мы захватили девятнадцать кораблей, а двадцатый ушел бы от нас, мы бы считали себя побежденными. Да вы и сами это знаете, Стоун. Вы ведь из той же когорты средиземноморских ветеранов, так что мне незачем вам все это рассказывать.

— Я надеюсь, милорд, снова быть с вами, когда мы опять встретимся с противником, — сказал отец.

— Мы должны с ним встретиться и непременно встретимся. Клянусь богом, я не успокоюсь до тех пор, пока окончательно не расправлюсь с ним! Подлец Буонапарте хочет нас поставить на колени. Пусть только попробует, и да поможет бог достойнейшему!

Нельсон говорил с таким пылом, что его пустой рукав болтался из стороны в сторону, придавая ему весьма странный вид. Заметив, что я не свожу глаз с этого рукава, он с улыбкой обернулся к моему отцу.

— Мой обрубок все еще делает свое дело, Стоун, — сказал он, хлопнув по культе. — Как там говорили у нас во флоте?

— Говорили, сэръ, что, когда рукав болтается, лучше не попадаться вам на глаза.

— Эти каналы хорошо меня знали! Как видите, молодой человек, я служу своему отечеству с прежним пылом, ранения и телесные страдания его не убавили. В один прекрасный день вы, быть может, поведете в бой флагманский корабль и тогда вспомните мой совет офицеру: никогда не колебаться, никогда не медлить. Ставьте на карту все, и, если вы проиграете не по своей вине, отечество даст вам возможность поставить еще раз, и ставка будет не меньше. Забудьте про стратегию и тактику. Идите на врага. Тут нужна только одна тактика — оказаться борт о борт с врагом. Всегда деритесь и всегда будете правы. Забудьте о своих удобствах, о личных делах и заботах, ибо с того дня, как вы надели синий китель, ваша жизнь более вам не принадлежит. Она принадлежит отечеству, и, не раздумывая, отдайте ее, если от этого будет хоть малая польза... Какой сегодня ветер, Стоун?

— Восточный-юго-восточный, ваша светлость, — тотчас ответил отец.

— Тогда можно поручиться, что Корнуоллис не отходит от Бреста, а я

на его месте постарался бы выманить их в открытое море.

— Любой офицер и любой матрос хотел бы того же, ваша светлость, — сказал мой отец.

— Да, никто не любит держать блокаду, и неудивительно: от нее ни славы, ни денег. Вы, верно, помните, каково нам было в зимние месяцы, когда мы обложили Тулон. У нас ведь не было ни снарядов, ни говядины, ни свинины, ни муки, ни обрывка запасного каната, ни парусины, ни шпагата. Мы брасопили паруса на наших старых посудинах запасными тросами. И как только поднимался левантинец, я ждал, бог тому свидетель, что мы тут же пойдем ко дну. Но мы все равно держали их за горло. Только, боюсь, в Англии наши труды не оценили по заслугам; здесь ведь пускают фейерверк лишь в тех случаях, когда мы выигрываем большое сражение, и не понимают, что нам куда легче шесть раз подряд сразиться на Ниле, чем всю зиму держать блокаду. Но помощи нам бог встретиться с их новым флотом, и мы разобьем его наголову!

— А мне помощи бог оказаться рядом с вами, милорд! — проникновенно сказал отец. — Но мы отняли у вас слишком много времени. Разрешите поблагодарить вас за вашу доброту и пожелать вам всего хорошего.

— Всего хорошего, Стоун! — ответил Нельсон. — Вы получите корабль, и, если можно будет, я сделаю этого молодого человека одним из своих офицеров. Но, судя по его костюму, — продолжал он, оглядывая меня, — вам посчастливилось получить куда больше призовых денег, чем вашим товарищам. Что до меня, я как-то никогда не заботился о деньгах.

Отец объяснил, что я нахожусь сейчас на попечении моего дяди, знаменитого сэра Чарльза Треджеллиса, у которого и живу.

— Значит, вы не нуждаетесь в моей помощи, — не без горечи заметил Нельсон. — Если у вас есть деньги или покровитель, вам ничего не стоит перепрыгнуть через голову заслуженных морских офицеров, хотя бы вы и не умели отличить полуют от камбуза или карронаду^[31] от кулеврины^[32]. И все-таки... А вам какого черта здесь надо?

В комнату быстрым шагом вошел ливрейный лакей, но, увидев, какой неистовый гнев загорелся в глазах адмирала, растерянно замер на месте.

— Ваша светлость приказали доставить вам это немедленно, как только принесут, — объяснил он, протягивая большой синий конверт.

— Да ведь это — предписание! — воскликнул Нельсон, выхватил конверт и попытался кое-как, одной рукой его распечатать.

Леди Гамильтон кинулась ему на помощь, но, едва взглянув на вложенную в конверт бумагу, пронзительно вскрикнула, всплеснула руками

и, закатив глаза, упала в обморок. Однако я не мог не заметить, что упала она очень осторожно и, несмотря на беспамятство, ухитрилась принять весьма изящную классическую позу, да и одежды ее тоже отнюдь не разметались в беспорядке. Но бесхитростный Нельсон, неспособный на обман и притворство, не мог заподозрить этого и в других и, как безумный, кинулся к звонку, потребовал горничную, доктора, нюхательные соли, бессвязно бормотал какие-то слова утешения и так горячо выражал свои чувства, что отец почел уместным потянуть меня за рукав, и мы выскользнули из комнаты. Мы оставили адмирала в полутемной лондонской гостиной вне себя от жалости к этой пустой комедиантке, а на улице, у дверей, ждала высокая мрачная дорожная карета, готовая увезти его в дальний путь, в конце которого ему суждено было добрых семь тысяч миль преследовать французский флот по морям и океанам, встретиться с ним, одержать победу (после которой Наполеон был навсегда обречен действовать только на суше) и умереть — умереть так, как мечтает каждый, ибо смерть пришла к нему в минуту его величайшего торжества.

Глава XIV

НА ДОРОГЕ

Близился день великой схватки. Перед этим событием угрозы Наполеона и даже готовая разразиться не сегодня-завтра война отступили в глазах любителей спорта на второй план, а любители спорта в те времена составляли больше половины всего населения Англии. Завсегдатаев аристократического клуба и плебейской пивной, купцов в кофейне и солдат в казарме, жителей Лондона и провинции — всех и каждого занимало одно и то же. Каждая почтовая карета с Запада доставляла вести о том, что Краб Уилсон находится в отличной форме: все знали, что на время тренировки он возвратился в родные края и там о нем печется мастер своего дела капитан Барклей. С другой стороны, хотя мой дядя еще не объявил имени своего бойца, никто не сомневался, что это будет Джим, и рассказы о его телосложении и о том, как он показал себя на ринге, завоевали ему множество сторонников. Однако в целом гораздо больше пари заключалось в пользу Уилсона, так как за него единодушно стоял и Бристоль, и вся западная часть страны; мнения же лондонцев разделились. За два дня до состязания в любом вест-эндском клубе можно было поставить на Джима два против трех.

Дважды я навещал Джима в Кроли, где он тренировался, и видел, что его держат на обычном в таких случаях строжайшем режиме. От зари до зари он бегал, прыгал, осыпал ударами огромную грушу, свисающую с балки потолка, или боксировал со своим грозным тренером. Глаза его блестели, на щеках пылал румянец, от него веяло отменным здоровьем и безграничной верой в успех. И когда я видел его мужественную поведку и слушал спокойные, веселые речи, все мои опасения рассеивались как дым.

— Прямо удивляюсь, как это ты меня навестил, Родди, — сказал он мне на прощание с деланным смехом. — Ведь я теперь заправский боксер, наемник твоего дядюшки, а ты светский щеголь, столичная штучка. Не будь ты лучшим, самым верным и благородным человеком на свете, ты уже давно сам бы стал мне не другом, а хозяином.

Я посмотрел на этого красавца с правильными чертами породистого лица, подумал, сколько в нем скрыто достоинств, какой он неизменно добрый и великодушный, и мне показалась столь нелепой его мысль, будто мои дружеские чувства к нему — знак снисходительности, что я невольно

расхохотался.

— Все это прекрасно, Родни, — сказал Джим, пытливо глядя мне в глаза. — Но что думает по этому поводу твой дядюшка?

Он задал мне поистине нелегкий вопрос, и я не слишком уверенно ответил, что, сколь ни многим я обязан дяде, с Джимом мы близки гораздо дольше, а я уже не мальчик и сам знаю, с кем мне дружить.

Опасения Джима были не напрасны: дяде чрезвычайно не нравилась наша дружба, но, поскольку он не одобрял еще очень и очень многие мои поступки, лишний повод для его недовольства не имел особого значения. Боюсь, что он успел во мне разочароваться. Я так и не обзавелся какой-либо причудой, которая, по его словам, помогла бы мне выделиться из толпы и тем самым привлечь к себе внимание того странного мира, в каком он жил, хотя он был так добр, что подсказал мне для этого несколько способов.

— Ты молод, крепок и подвижен, племянник, — говорил он. — Не попробовать ли тебе перепархивать по комнатам от стола к стулу, со стула в кресло, не касаясь пола? Небольшая акробатика в таком духе — признак хорошего вкуса. Один гвардейский капитан выучился этому ради небольшого пари и завоевал огромный успех в обществе. Леди Лайвен, особа чрезвычайно разборчивая, не раз приглашала его на свои вечера лишь затем, чтобы он показал гостям свое искусство.

Пришлось заверить дядю, что такие цирковые трюки мне не под силу.

— Ты чересчур несговорчив, — заметил он, пожимая плечами. — В качестве моего племянника ты мог бы упрочить свое положение, если бы перенял у меня изысканный вкус. Объяви ты войну *mauvais gout*^[33] — и высший свет охотно признал бы тебя знатоком хорошего вкуса, преемником семейной традиции, и ты без труда завоевал бы положение, которого добивается выскочка Брумел. Но у тебя тут не хватает чутья. Ты не способен отнестись с должным вниманием к каждой мелочи. Взгляни на свои башмаки! А твой галстух! А часовая цепочка! Совершенно достаточно выпустить два колечка. Бывало, я выпускал три, но это уже нескромно. А у тебя сейчас видны по меньшей мере пять колечек цепочки. Весьма сожалею, племянник, но, мне думается, ты не создан для того, чтобы занять положение, которого я вправе желать для моего кровного родственника.

— Очень сожалею, что не оправдал ваших надежд, сэр, — сказал я.

— На свою беду, ты слишком поздно попал мне в руки, — сказал дядя. — Случись это раньше, я мог бы воспитать тебя соответственно моим требованиям. У меня был младший брат, с ним происходило нечто подобное. Я делал для него все, что только мог, но он упорно завязывал

башмаки лентами и однажды при всех назвал белое бургундское рейнвейном. В конце концов этот несчастный пристрастился к чтению и до самой смерти прозябал где-то в глуши на должности священника. Человек он был неплохой, но слишком заурядный, а заурядным людям в высшем обществе не место.

— Боюсь, сэр, это означает, что там не место и мне, — сказал я. — Но отец твердо надеется, что лорд Нельсон возьмет меня во флот. Светского человека из меня не получилось, но я глубоко вам признателен за великодушное обо мне попечение, и если меня произведут в офицеры, вы, надеюсь, еще сможете мною гордиться.

— Что ж, быть может, ты еще и достигнешь положения, которое я тебе предназначал, только придешь к нему иным путем, — заметил дядя. — В свете немало таких людей. Вот, например, лорд Сент-Винсент и лорд Гуд. Они приняты в лучших домах, хотя не имеют других заслуг, кроме службы на флоте.

Разговор этот происходил в дядином изысканно обставленном кабинете на Джермин-стрит в канун состязания. Помнится, как всегда перед отъездом в клуб, дядя был в просторном парчовом халате и сидел, вытянув одну ногу и положив ее на скамеечку, ибо перед самым моим приходом Абернети успокаивал начинавшийся у него приступ подагры. Была ли в том повинна боль или разочарование во мне, но дядя проявлял необычную для него резкость, и, боюсь, когда он говорил о моих недостатках, в его улыбке сквозила некоторая язвительность.

Я же, признаться, вздохнул с облегчением, когда мы наконец объяснились, ибо отец мой уехал из Лондона в совершенной уверенности, что вакансии для нас обоих найдутся очень быстро, и меня угнетала одна лишь мысль: как покинуть дядю, не нарушив его планов. Мне опостылела пустопорожняя жизнь, чуждая моей натуре, и я устал от этих высокомерных разговоров: послушать, так выходило, будто в мире нет ничего важнее и достойнее, нежели тесный кружок легкомысленных кокеток и безмозглых фатов. Быть может, и на моих губах мелькнуло подобие дядюшкиной язвительной усмешки, когда он с надменным изумлением упомянул, что в эту святая святых оказались вхожи люди, которые защитили отечество от гибели.

— Кстати, племянник, — сказал дядюшка, — как бы меня ни мучила подагра и что бы там ни говорил Абернети, а сегодня нам надо быть в Кроли. Бой состоится на Кролийских холмах. Сэр Лотиан Хьюм и его боец сейчас находятся в Рейгете. Я заказал для нас с тобой две кровати в Подворье короля Георга. Говорят, народу будет видимо-невидимо. В

провинциальных гостиницах всегда очень дурно пахнет, я этого не выношу, — *mais que voulez-vous*^[34]. Вчера вечером Беркли Крейвен рассказывал в клубе, что на двадцать миль вокруг Кроли все постели до единой уже заказаны, хозяева берут за ночлег три гиней. Надеюсь, твой молодой друг — если уж я должен так его называть — не обманет наших ожиданий, я слишком много на него поставил и не хотел бы проиграть. Сэр Лотиан тоже закусил удила. Вчера у Лиммера он поставил на Уилсона пять тысяч против трех. Насколько мне известно, его денежные обстоятельства таковы, что если наша возьмет, ему придется нелегко... Что там, Лоример?

— Вас спрашивает какой-то человек, сэр Чарльз, — доложил новый камердинер.

— Вы же знаете, пока я не совсем одет, я никого не принимаю.

— Он непременно хочет, вас видеть, сэр. Он ворвался силой.

— Ворвался силой? Что это значит, Лоример? Почему вы не вышвырнули его за дверь?

На лице слуги мелькнула улыбка. И в ту же минуту из коридора донесся гулкий бас:

— Сейчас же впустите меня, молодой человек! Слышите? Проводите меня к вашему хозяину, не то вам же будет хуже.

Голос показался мне знакомым, а когда за плечом камердинера появилась мясистая бычья физиономия с расплюснутым носом, как у Микеланджело, я тотчас узнал своего соседа по столу во время недавнего ужина.

— Да ведь это Уорр, сэр, боксер, — сказал я дяде.

— Он самый, сэр, — подтвердил гость, с трудом протискиваясь в дверь. — Честь имею представиться: Билл Уорр, хозяин пивной «Тяжеловес», что на Джермин-стрит, первейший забияка на всем белом свете. Только один противник меня одолел, сэр Чарльз, — мой собственный вес, уж больно быстро он растет! Полсотни фунтов лишку набрал, и никак я от них не избавлюсь. Право слово, сэр, я могу отдать столько ненужного мяса, что хватило бы на чемпиона веса пера. Вы, небось, по виду и не поверите, но даже когда меня побил Мендоса, я еще мог перескочить через канаты не хуже какого-нибудь мальчишки, а это четыре фута высоты, а вот теперь, коли заброшу шляпу на ринг, придется ждать, покуда мне ее обратно ветром не принесет, а уж самому за нею не добраться: выдохся! Мое вам почтение, молодой человек, надеюсь, что вижу вас в добром здравии!

На лице дяди отразилась немалая досада, он не любил, чтобы к нему вторгались столь бесцеремонно; однако положение обязывало его

поддерживать знакомство с боксерами, а потому он скрыл неудовольствие и лишь сухо спросил, какое же дело привело к нему Уорра. Вместо ответа толстяк многозначительно покосился на камердинера.

— Дело важное, сэр Чарльз, это разговор не для посторонних ушей.

— Можете идти, Лоример... Итак, Уорр, я вас слушаю.

Боксер преспокойно уселся на стул верхом и облокотился на спинку.

— У меня есть кое-какие сведения, сэр Чарльз, — сказал он.

— А именно? — нетерпеливо воскликнул дядя.

— Очень ценные сведения.

— Так говорите!

— Эти сведения стоят денег, — сказал Уорр и поджал губы.

— Понимаю: вы хотите, чтобы вам заплатили за ваше сообщение.

Боксер улыбнулся в знак согласия.

— Я не покупаю кота в мешке. Пора бы вам это знать.

— Конечно, я вас знаю, сэр Чарльз, вы благородный и шикарный джентльмен. Только, понимаете, вздумай я эти самые сведения обернуть против вас, я бы заработал не одну сотню. Да только мне это не по нутру, потому как Билл Уорр всегда стоял за классный спорт и за честную игру. Ну, а коли я скажу все вам, так уж, надо думать, вы не оставите меня внакладе.

— Поступайте, как вам угодно, — сказал дядя. — Если ваши сведения будут мне полезны, я сам решу, как мне с вами рассчитаться.

— Лучше не скажешь. На том и поладим, хозяин, думаю, вы поступите по справедливости, про вас все так и говорят. Ну вот, стало быть, ваш Джим Гаррисон завтра утром на Кролийских холмах дерется с Крабом Уилсоном из Глостера, и на него поставлены большие деньги.

— Что же из этого?

— А известно вам, случаем, какие вчера были ставки?

— Три против двух в пользу Уилсона.

— Правильно, хозяин. А сегодня ставят семь против одного.

— Что такое?!

— Семь против одного, хозяин, это точно.

— Что за чепуха, Уорр! Отчего бы ставки так возросли?

— Я был в трактире Тома Оуэна, и в «Проломе в стене», и в «Упряжке», и всюду ставят семь против одного. Против вашего малого поставлены кучи денег. В клубах, в питейных заведениях отсюда и до Степни — везде такие ставки, словно ставят на доброго коня против куренка.

В этот миг по выражению дядиного лица я вдруг понял, как много

значит для него исход этого боя. Но он тотчас пожал плечами и недоверчиво улыбнулся.

— Тем хуже для болванов, которые набавляют ставки, — сказал он. — Мой боец в отличной форме. Ты его вчера видел, племянник?

— Вчера он был в превосходной форме, сэр.

— Случись что-нибудь неладное, мне дали бы знать.

— А может, ничего и не случилось... покуда, — с ударением сказал Уорр.

— Как прикажете вас понимать?

— А так и надо понимать, сэр. Помните Беркса? Сами знаете, он парень не больно надежный, а тут еще затаил зло на вашего Гаррисона, после того как он тогда в каретнике его уложил. Ну так вот, вчерашний день, часов эдак в десять вечера, приходит он ко мне в пивную и с ним еще трое отъявленных разбойников, они всему Лондону известны. Перво-наперво Рыжий Айк, его на ринг больше не допускают, потому как он нечестно дрался с Биттуном. Потом Вояка Юсеф — этот родную мать за пятак продаст. И еще Крис Маккарти — тот просто жулик: дождется на Хеймаркет, как народ пойдет из театра, и давай шарить по карманам, вот и все его ремесло. Такую теплую компанию не всякий день встретишь, а тут гляжу: все вдрызг пьяные, один Крис трезвый — такая хитрая бестия, коли что почует, так уж лишнего не глотнет. Ну, провел я их в гостиную. Они-то, само собой, того не стоят, — да я уж знаю,пустишь их в зал, затеют драку, поколотят кого из посетителей, потом с полицией хлопот не оберешься. Подал я им выпить, чего спросили, и сам с ними для верности остался, в гостиной. У меня там картины и чучело попугая, так чтоб не портили.

Ну, коротко сказать, пошла у них речь про завтрашний бой. Хохочут, заливаются: дескать, Джиму Гаррисону вовек Краба не побить, — а Крис знай подмигивает да локтями всех подталкивает, уж Беркс чуть не закатил ему оплеуху. Вижу, дело нечисто, и не так уж трудно смекнуть что к чему, тем более Рыжий Айк стал биться об заклад, что Джим Гаррисон завтра и на ринг-то не выйдет. Тогда пошел я за новой бутылочкой спиртного, чтобы у них языки еще больше развязались, а сам стал за окошком, в которое мы из бара в гостиную напитки передаем, приоткрыл его малость и слышал каждое их слово, будто сидел с ними за столом.

Слышу, Крис Маккарти стал на них ворчать, чтоб не болтали лишнего, а Джо Беркс как рявкнет: не учи, мол, а то все зубы повыбиваю! Крис, понятно, струсил и давай их по-доброму уговаривать, что, мол, эдак они к утру раскиснут и не смогут дело сделать, да и хозяин, коли увидит, что они перепились и положиться на них нельзя, ни гроша им не заплатит. Тут они

все трое отрезвели, и Вояка спрашивает, когда надо ехать. Крис говорит: лишь бы попасть в Кроли, пока Подворье не закрыто, тогда они вполне управятся. «Плата больно мала, — говорит Рыжий Айк, — тут ведь петлей пахнет!» А Крис ему: какая, мол, к черту, петля! — и вытаскивает из бокового кармана этакую небольшую дубинку, налитую свинцом. «Вы, — говорит, — втроем его держите, а я этой штукой перебью ему руку, и денежки наши. Ну, дадут нам за такое дело полгода в кутузке, уж никак не больше». «Он будет драться», — говорит Беркс, а Крис ему: «Что ж, с нами — пускай, зато уж в другом месте ему не драться». Вот и все, что я слышал. А нынче утром вышел и вижу: все ставят на Уилсона, набавляют и набавляют, я уж вам говорил. Вот такие-то дела, хозяин, а что тут к чему, вы и сами разберетесь.

— Отлично, Уорр, — сказал дядя и поднялся. — Весьма вам признателен за сообщение и позабочусь, чтобы вы не остались внакладе. Думаю, что негодяи просто болтали спьяну, но все равно вы оказали мне большую услугу, известив меня об этом. Надо полагать, завтра на Холмах я вас увижу?

— Мистер Джексон звал меня с другими охранять ринг, сэр, чтоб не было беспорядка.

— Очень хорошо. Надеюсь, бой будет хороший и честный. До свидания, и еще раз благодарю.

Дядя говорил весело, беззаботно, но едва за Уорром затворилась дверь, быстро обернулся ко мне. Никогда еще не видал я на его лице такого волнения.

— Сейчас же едем в Кроли, племянник, — сказал он и позвонил. — Нельзя терять ни минуты... Лоример, велите заложить гнедых в коляску. Приготовьте все, что мне понадобится с собой, и велите Уильяму подавать, да поскорее.

— Я сам за всем присмотрю, сэр, — сказал я и кинулся на Литл-Райдер-стрит, где находились дядины конюшни.

Кучера я не застал, пришлось послать мальчишку его разыскивать, а я тем временем при помощи конюха выкатил коляску из сарая и вывел двух гнедых кобыл. Все эти поиски и хлопоты отняли полчаса, а то и три четверти. На Джермин-стрит уже ждал Лоример с неизбежными корзинами, и дядя стоял в дверях, как всегда, в длинном светло-коричневом дорожном рединготе и, как всегда, с невозмутимым видом; на лице его ни в малой мере не отражалось нетерпение, несомненно, снедавшее его в эти минуты.

— Вы останетесь здесь, Лоример, — сказал он. — Нам, вероятно,

было бы нелегко устроить вас на ночлег. Держите крепче уздцы, Уильям! Садись скорей, племянник! А, Уорр! Что там еще?

Боксер спешил к нам со всей возможной для такого толстяка быстротой.

— Одну минуту, сэр Чарльз! — запыхавшись, вымолвил он. — У меня в пивной сейчас толковали, что та четверка за полночь отправилась в Кроли.

— Отлично, Уорр, — сказал дядя и ступил на подножку.

— А ставки опять подскочили — уже десять против одного!

— Пускайте, Уильям!

— Еще одно словечко, хозяин. Прошу прощения, но на вашем месте я бы прихватил пистолеты.

— Благодарю. Они со мной.

Длинный бич щелкнул над ушами коренника, конюх отскочил в сторону, и мы оказались уже не на Джермин-стрит, а на Сент-Джеймс, а затем на Уайтхолл, улицы сменяли друг друга так стремительно, что стало ясно: наши славные гнедые разделяют нетерпение своего господина. Когда мы вылетели на Вестминстерский мост, стрелки часов на здании парламента показывали половину пятого. Внизу блеснула вода, и тотчас мы очутились меж двух длинных рядов побуревших от времени домов — по этой самой дороге я не так давно впервые въезжал в Лондон. Дядя сидел, крепко сжав губы, хмурый и сосредоточенный. Лишь когда мы достигли Стритема, он наконец нарушил молчание.

— Я могу очень много потерять, племянник, — сказал он.

— Я тоже, сэр, — отвечал я.

— Ты? — изумился он.

— Друга, сэр.

— Ах, да, я и забыл. Все-таки и у тебя есть свои причуды, племянник. Ты верный друг, это в нашем кругу большая редкость. У меня был только один друг, равный мне по положению в обществе, и он... Впрочем, я тебе об этом уже рассказывал. Боюсь, мы не успеем в Кроли засветло.

— Да, похоже на то.

— А тогда, пожалуй, будет слишком поздно.

— Не дай-то бог, сэр!

— Наши лошади лучшие в Англии, но, боюсь, ближе к Кроли дорога будет забита: не проехать, не пройти. Ты, наверно, заметил, племянник, что, по словам Уорра, те четверо негодяев упоминали некоего господина, который заплатит им за их гнусное дело? И ты, разумеется, понял, что их наняли, чтобы они изувечили моего бойца? Так кто же мог их нанять? Кому

это выгодно, если не... Я знаю, сэр Лотиан Хьюм способен на все. Знаю, что он отчаянно проигрался в карты сразу в двух клубах и затем рискнул слишком многим из-за этого боя; он очертя голову заключал пари на такие огромные суммы, что, по мнению его приятелей, у него есть тайные причины не сомневаться в успехе. Клянусь богом, все сходится! Все одно к одному! Ну, если так!..

И дядя умолк, но на лице его я вновь прочел холодное ожесточение, уже знакомое мне по тому памяtnому дню, когда он и сэр Джон Лейд наперегонки мчались по Годстонской дороге, колесо к колесу.

Солнце низко опустилось к пологим Суррейским холмам, тени неотвратимо тянулись все дальше к востоку, но по-прежнему стремителен был бег колес и топот копыт. Наши лица овеяло ветром, хотя молодая листва на ветвях придорожных деревьев повисла недвижимо. Золотой краешек солнца едва успел скрыться за дубами Рейгетского холма, когда гнедые, роняя пену с боков, остановились перед редхиллской гостиницей «Корона». Хозяин гостиницы, старый знаток и любитель бокса, выбежал навстречу знатному аристократу сэру Чарльзу Треджеллису.

— Вы знаете Беркса, боксера? — спросил дядя.

— Знаю, сэр Чарльз.

— Он здесь проезжал?

— Да, сэр Чарльз. Часа в четыре примерно, хотя тут столько народу идет и едет, что за точное время не поручусь. С ним были Рыжий Айк, Вояка Юсеф и еще один, и катили они на превосходной чистокровной лошадке. Гнали почем зря, лошадь была вся в мыле.

— Плохо дело, племянник, — сказал дядя, когда мы понеслись дальше к Рейгету. — Судя по такой спешке, они хотят поскорей заработать свои денежки.

— Джима с Белчером им вчетвером не одолеть, — заметил я.

— Будь Белчер при нем, я бы ничего не опасался. Но как знать, что еще выдумают эти мерзавцы. Лишь бы нам застать его живым и здоровым, и я уже не спущу с него глаз, пока он не выйдет на ринг. Мы будем сторожить его с пистолетами в руках, племянник, и я только и мечтаю, чтоб у негодаев хватило наглости сунуться к нему. Но заправились-то вполне уверены в успехе, иначе они не посмели бы так взвинтить ставки, вот что меня пугает.

— Да какая же им выгода от этой подлости, сэр? Ведь если они искалечат Джима Гаррисона, бой не состоится, и никто никаких пари не выиграет?

— Так было бы при обычных условиях, племянник, что, кстати говоря,

большое счастье, не то мошенники давно погубили бы честный спорт, — они кишмя кишат вокруг ринга. Но ведь тут особый случай. По условиям пари, я проиграю, если не представлю бойца моложе или старше указанного возраста, который победит Краба Уилсона. Не забудь, я ведь не сказал, кого выставлю. *C'est dommage*^[35], но это так! Мы знаем, кто он, и наши противники тоже знают, но участники пари и судьи этого в расчет не примут. Если мы станем жаловаться, что Джима Гаррисона искалечили, нам ответят, что Джим Гаррисон официально не был объявлен участником состязания. Либо выставляй бойца, либо плати, и негодяи хотят этим правилом воспользоваться.

Не напрасно дядя опасался, как бы дорога на Кроли не оказалась забита: за Рейгетом мы очутились в сплошном потоке всевозможных экипажей — верно, на всех восьми милях не нашлось бы лошади, у которой перед самым носом не маячили бы колеса какой-нибудь двуколки или коляски. Со всех сторон, со всех дорог — и с Лондонской, и с Гилфордской с запада, и с Танбриджской с востока — вливались новые и новые кареты четверней, легкие кабриолеты и всадники, и наконец всю широкую Брайтонскую дорогу от обочины до обочины заполнила людская река, со смехом, с криками, с песнями текущая в одном направлении. Взглянув на эту разношерстную толпу, всякий был бы вынужден признать, что хорошо ли это, худо ли, но страсть к боксу не разбирает сословий, она присуща всему народу, коренится в самом существе каждого англичанина, ее разделяют и молодой аристократ в роскошной карете четверней, и обыкновеннейшие уличные торговцы, набившиеся по шесть человек в тележку, запряженную одной-единственной низкорослой лошаденкой.

Я видел здесь государственных деятелей и солдат, пэров и стряпчих, фермеров и богатых землевладельцев вперемешку с головорезами из Ист-Энда и самой неотесанной деревенщиной — все они двигались по этой дороге и готовы были провести беспокойную, даже бессонную ночь, лишь бы поглядеть на борьбу, исход которой, возможно, решится в первом же раунде. И притом вся эта толпа была на диво весела и добродушна; вместе с клубами пыли над нею висел оживленный гомон, не смолкали шутки и остроты, а хозяева и буфетчики всех придорожных постоялых дворов и трактиров выносили подносы с пенными кружками, чтобы эта шумная орава могла промочить горло. Пиво лилось рекой, недавние незнакомцы хлопали друг друга по плечу, у всех была душа нараспашку, все смеялись над усталостью и неудобствами и жаждали одного: увидеть бой, и пусть иные смотрят на это с презрением, как на забаву грубую и пошлую, мне же слышались тут смутные отголоски далекой старины, и я думал: да, это и

есть костяк, основа, на которой зиждется стойкий и мужественный характер нашего древнего народа!

Но, увы, двигаться быстрее не было никакой возможности! Как ни искусно правил дядя лошадьми, даже он не мог найти просвета в людской толще. Нам оставалось только сидеть и терпеливо ждать, покуда коляска черепашьям шагом двигалась вместе со всеми остальными от Рейгета до Хорли, затем к Пови-Кросс и дальше через Лоуфилд-Хис, а тем временем смеркалось, и наконец совсем стемнело. Когда мы доехали до Кимберхемского моста, у всех экипажей уже зажглись фонари, и с холма нам представилось поразительное зрелище: точно огромная змея, извиваясь и поблескивая золотой чешуей, ползла перед нами во тьму. А потом наконец впереди смутно замаячил великан Кролийский Вяз, и мы выехали на широкую сельскую улицу, по обеим сторонам ее в окнах мирных домишек замигали огоньки, и мы увидели ярко освещенное Подворье короля Георга: все окна и двери высокого старинного здания так и горели в честь благородной публики, которая сегодня нашла здесь приют на ночь.

Глава XV

УДАР ИЗ-ЗА УГЛА

Дядино нетерпение было слишком велико, чтобы он стал дожидаться, пока мы наконец подъедем к крыльцу; он просто бросил вожжи и серебряную монету первому попавшемуся малому из тех, что теснились перед гостиницей, и начал проталкиваться через толпу к дверям. Едва он ступил в сноп света, падавшего из окон, кругом зашептались, объясняя друг другу, кто такой этот джентльмен с бледным гордым лицом, в дорожном рединготе, и толпа раздалась, давая нам дорогу. Тут только я понял, как велика известность моего дяди среди любителей и знатоков спорта: раздались приветственные возгласы:

— Ура, Франт Треджеллис!

— Удачи вам и вашему бойцу, сэр Чарльз!

— Дорогу благородному аристократу!

На эти крики выбежал хозяин гостиницы и кинулся нам навстречу.

— Мое почтение, сэр Чарльз! Рад вас видеть в добром здравии, сэр, а уж о вашем бойце мы так заботимся — останетесь довольны!

— Как он себя чувствует? — поспешил спросить дядя.

— Как нельзя лучше, сэр. Любо-дорого смотреть, может горы своротить.

Дядя вздохнул с облегчением.

— А где он?

— Ушел к себе пораньше, сэр, потому как завтра с утра ему предстоит некое важное дельце, — ухмыляясь, ответил хозяин.

— А Белчер где?

— Тут, сэр, в зале.

С этими словами он распахнул дверь, и за столом, на котором дымилась миска с пуншем, мы увидели десятка два людей; многие лица были мне знакомы по недолгому пребыванию в Вест-Энде. В дальнем конце стола, чувствуя себя как нельзя лучше среди всех этих аристократов и щеголей, сидел чемпион Англии — сильный, стройный, красивый; он непринужденно откинулся на стуле, лицо его разрумянилось, красный платок повязан был вокруг шеи с той живописной небрежностью, которую позднее наперебой старались перенять все молодые франты. Полстолетия прошло с тех пор, немало красавцев повидал я на своем веку. Быть может,

потому, что сам я далеко не богатырь, у меня есть слабость: ни одним созданием Природы я не люблюсь так, как образцом мужественной красоты. Но за всю свою жизнь я не встречал человека прекраснее Джеймса Белчера и, сколько ни вспоминаю, поставить с ним рядом могу лишь другого Джима, о чьей удивительной судьбе сейчас и пытаюсь вам рассказать.

Как только дядя появился в дверях, все радостно его приветствовали:

— Идите к нам, Треджеллис!

— Мы вас ждали!

— Сейчас подадут жаркое!

— Что нового в Лондоне?

— Отчего так подскочили ставки против вашего бойца?

— С ума они сошли, что ли?

— Что, черт побери, происходит?

Все говорили разом.

— Прошу меня извинить, джентльмены, — ответил дядя. — Чуть погода я с радостью сообщу вам все, что мне известно. Белчер, на два слова!

Чемпион вышел с нами в коридор.

— Где ваш подопечный, Белчер?

— Ушел к себе, сэр. Полагаю, перед боем ему следует поспать часов двенадцать.

— Как он провел день?

— Я не позволил ему перегружать себя тренировкой. Ключки, гантели, прогулка да полчаса поработал с перчатками — и все. Мы все будем им гордиться, сэр, или мне пора на свалку! Только не пойму, что делается со ставками. Не знай я, что он честнейший парень на свете, право, мог бы подумать, что он решил смошенничать и сам поставил на своего противника.

— Вот поэтому-то я и поторопился. Мне достоверно известно, Белчер, что его сговорились изувечить. Мерзавцы уверены, что он не выйдет на ринг, настолько уверены, что ставят против него любые деньги.

Белчер присвистнул сквозь зубы.

— Ничего такого я не замечал, сэр. Никто к нему и не подходил, никто с ним не разговаривал, только я да вот ваш племянник.

— За несколько часов до нас сюда выехали четверо негодяев. Главный у них Беркс. Меня об этом предупредил Уорр.

— Билл Уорр зря не скажет, а от Джо Беркса добра не жди. Кто с ним еще, сэр?

— Рыжий Айк, Вояка Юсеф и Крис Маккарти.

— Теплая компания! Что ж, сэр, наш паренек в безопасности, но на всякий случай не будем оставлять его одного. Хотя я-то далеко не отлучаюсь, покуда он на моем попечении.

— Жаль его будить.

— Навряд ли он спит, когда в доме этакий галдеж. Пройдемте сюда, сэр, и по коридору.

По низким извилистым коридорам мы прошли в глубь старой гостиницы.

— Вот моя комната, сэр, — сказал Белчер, кивком указывая на дверь по правую руку. — А эта, что напротив, — Джима. — И он распахнул дверь. — Джим, — сказал он, — тебя хочет видеть сэр Чарльз Треджеллис... Боже милостивый! Что за притча?!

Маленькую комнатку ярко освещала горевшая на столе медная лампа. Постель была не раскрыта, но покрывало смято. Кто-то на нем недавно лежал. Половина оконной рамы с частым свинцовым переплетом висела на одной петле. На столе валялся полотняный картуз — единственный след исчезнувшего постояльца. Дядя огляделся и покачал головой.

— Похоже, что мы опоздали, — сказал он.

— Это его картуз, сэр. Куда, спрашивается, его понесло с непокрытой головой? Я-то думал, он уже час преспокойно лежит в постели, — сказал Белчер и позвал громко: — Джим! Джим!

— Очевидно, он вылез в окно! — сказал дядя. — Наверно, эти мерзавцы какой-нибудь дьявольской уловкой выманили его из дому. Посвети-ка, племянник! Ага, так я и думал! Вот его следы на клумбе под окном!

Хозяин и двое или трое джентльменов, которых мы застали за пуншем, пошли с нами. Кто-то отворил боковую дверь, и мы очутились в огороде и, столпившись на посыпанной гравием дорожке, стали при свете лампы разглядывать истоптанную клумбу под окном.

— Это его след! — воскликнул Белчер. — Нынче вечером он тренировался в беге — и вот отпечатки башмаков с шипами! А это что? С ним был кто-то еще!

— Женщина! — воскликнул я.

— Твоя правда, Родни! — сказал дядя.

Белчер в сердцах выругался.

— Он и словом не перемолвился ни с одной здешней девчонкой. За этим-то я смотрел в оба. Надо ж было кому-то напоследок встрять!

— Все совершенно ясно, Треджеллис, — сказал сэр Беркли Крейвен,

один из тех, кого мы раньше застали в зале. — Кто-то подошел и постучал к нему в окно. Вот, смотрите, тут и тут следы маленьких башмаков — носками к дому, а вон там они уходят прочь. Женщина пришла, позвала, и Джим пошел за ней.

— Без сомнения, это так, — сказал дядя. — Нельзя терять ни минуты. Надо разделиться и искать его повсюду, пока не нападём на след.

— Кроме как по этой тропинке, из сада не выбраться, — сказал хозяин и повел нас за собой. — Она выходит на аллею, а та в одну сторону ведет на задворки, к конюшне, а в другую сторону — прямо на перекресток.

Неожиданно впереди вспыхнуло ярко-желтое пятно света, и со двора неторопливо вышел конюх с фонарем в руках.

— Кто там? — крикнул хозяин.

— Это я, Билл Шиддс.

— Давно здесь ходишь?

— Да почитай уж целый час кручусь, хозяин. Конюшня полным-полна, больше ни единой лошади не втиснешь. И корм-то им не знаю как задать, шагу ступить некуда — теснотища.

— Слушай, Билл, да смотри отвечай подумавши, не ошибись, а то как бы тебе не лишиться места... Так вот, не видал ты, проходил кто по этой дорожке?

— Да вот незадолго до вас околачивался тут малый и кроличьей шапке. Я спросил, чего ему надо, — не понравился он мне, шляется без дела да в окна заглядывает. Поднял я фонарь, да он враз и пригнулся, так лица я не разглядел, только сам он рыжий, это уж верно, хоть под присягой скажу.

Я быстро глянул на дядю и заметил, что он помрачнел пуще прежнего.

— И куда этот рыжий девался? — спросил он.

— Поплелся прочь, сэр, и уж больше не показывался.

— А еще ты никого не видал? Не проходили тут двое — мужчина и женщина?

— Нет, сэр.

— И не было слышно ничего необычного?

— А верно, сэр, теперь вроде припоминаю, слышал кой-что, да враз ведь не сообразишь, столько народу из Лондона понаехало...

— Что же ты слышал? — в нетерпении вскричал дядя.

— Да вот, сэр, в сторонке вроде как крикнул кто — то ли от боли, то ли с испугу. А мне и ни к чему, думал, может, подрались какие молодчики, только и всего.

— А в какой стороне кричали?

— Вон там, на проселке.

— Далеко?

— Да нет, сэр, шагов за триста отсюда, не больше.

— Только раз крикнули и все?

— Видите ли, сэр, завопили-то эдак пронзительно, а потом слышу, кто-то погнал по дороге лошадей во всю мочь. Я еще удивился: вот, думаю, чудак, в Кроли эдакое событие, все к нам съезжаются, а он прочь покатыл.

Дядя выхватил у конюха из рук фонарь и пошел впереди всех по тропинке. Тропинка выводила прямо на проселок. Дядя ускорил шаг, но ему недолго пришлось искать — через минуту яркий свет фонаря осветил нечто такое, при виде чего я невольно охнул, а Белчер яростно выругался. По белой пыли тянулась алая полоска, а рядом с этим зловещим следом валялось небольшое, но смертоносное оружие, которое утром описал нам Уорр, — короткая дубинка, налитая свинцом.

Глава XVI

НА КРОЛИЙСКИХ ХОЛМАХ

Всю эту долгую томительную ночь мы с дядей, Белчер, Беркли Крейвен и еще человек десять съехавшихся в Кроли аристократов обшаривали округу в поисках Джима, но, если не считать зловещей находки на дороге, не обнаружили никаких следов, по которым можно было бы догадаться, какая судьба его постигла. Никто не видел Джима и ничего о нем не слышал; тот одинокий вопль в ночи, о котором нам поведал конюх, был единственным вестником разыгравшейся трагедии. По двое, по трое мы рыскали во всех направлениях, доходили даже до Ист-Гринстеда и Блетчингли; и солнце стояло уже высоко в небе, когда мы, усталые, с тяжестью на сердце, вновь собрались в Кроли. Дядя сам съездил в Рейгет, надеясь что-нибудь там разузнать; возвратился он только в восьмом часу, и по лицу его мы тотчас поняли, что новости неутешительные, а ему, без сомнения, то же самое сказали наши лица.

Мистер Беркли Крейвен, человек рассудительный и в делах спортивных умудренный опытом, пригласил нас позавтракать, и за этой невеселой трапезой мы стали держать совет. Белчер, взбешенный тем, что все его труды пошли прахом, разразился страшными угрозами по адресу Беркса и его сообщников — пусть они только ему попадутся... Дядя сидел в мрачной задумчивости, к еде не прикасался и только барабанил пальцами по столу, а у меня лежал камень на сердце, и при мысли, что я не в силах помочь другу, мне хотелось закрыть лицо руками и разрыдаться. Мистер Крейвен, человек весьма светский, единственный из всех нас, казалось, не утратил ни аппетита, ни ясности мысли, и на его свежем, оживленном лице незаметно было никаких следов усталости.

— Позвольте! — сказал он вдруг. — Состязание должно начаться в десять, не так ли?

— Так.

— Ну и начнется. Никогда не надо падать духом, Треджеллис! У него есть еще целых три часа, он может вернуться.

Дядя покачал головой.

— Едва ли, боюсь, что негодяи сделали свое черное дело.

— Ну, хорошо, давайте рассуждать, — сказал Беркли Крейвен. — Приходит какая-то женщина и выманивает нашего молодца из дому.

Известна вам молодая женщина, у которой есть какая-то власть над ним?

Дядя посмотрел на меня.

— Нет, — сказал я, — такой женщины я не знаю.

— Ну, а мы знаем, что она приходила, — возразил Беркли Крейвен. — Это бесспорно. И пришла она, конечно, с какой-нибудь душещипательной выдумкой, так что учтивый молодой человек не мог ее не выслушать. Он попался на удочку и дал заманить себя в западню, где его ждали эти мерзавцы. Мне кажется, Треджеллис, все это не подлежит сомнению.

— Да, пожалуй, это наиболее правдоподобное объяснение, — сказал дядя.

— Несомненно также, что его вовсе не стремились убить. То, что слышал Уорр, это подтверждает. Вероятно, они опасались, что такого здорового молодца им не удастся избить настолько, чтобы он никак не мог выйти сегодня на ринг. Ведь можно драться и со сломанной рукой — подобные случаи бывали. А плата им обещана большая, и рисковать такими деньгами у них нет ни малейшего желания. Поэтому они стукнули его по голове, чтоб не слишком сопротивлялся, и отвезли куда-нибудь на дальнюю ферму или заперли где-нибудь в сарае и продержат там, пока не минет час боя. Ручаюсь, еще до вечера вы увидите его здоровым и невредимым.

Он говорил очень убедительно, и на душе у меня немного полегчало, но я понимал, что дядю такое объяснение мало утешает.

— Очень возможно, что вы правы, Крейвен, — сказал он.

— Я в этом уверен.

— Но это не поможет нам выиграть.

— В том-то и беда, сэр! — вскричал Белчер. — Честное слово, я рад бы драться вместо него, хоть бы и одной правой, лишь бы разрешили!

— Во всяком случае, я советовал бы вам пойти на ринг, — заметил Крейвен. — Попробуйте оттянуть время, может быть, он еще явится в последнюю минуту.

— Так и сделаю. И заявлю, что не стану при создавшемся положении оплачивать ставки.

Крейвен пожал плечами.

— Вспомните условия, — сказал он. — Боюсь, тут выхода нет — либо драться, либо платить. Конечно, можно обратиться к судьям, но им наверняка придется решить не в вашу пользу.

Мы погрузились в унылое молчание, как вдруг Белчер выскочил из-за стола.

— Вот те на! — крикнул он. — Слышите?!

— Что такое? — воскликнули мы все трое разом.

— Ставки! Слушайте!

За окном сквозь разноголосый гомон, сквозь грохот колес прорвался неожиданный выкрик:

— Ставлю один против одного на бойца сэра Чарльза!

— Один к одному! — изумился дядя. — А вчера ставки были семь против одного не в нашу пользу. Что же это значит?

— Один против одного! — опять выкрикнул тот же голос.

— Кто-то что-то проведаль, — сказал Белчер, — и уж мы-то первые имеем право знать, в чем дело... Идемте, сэр, сейчас дознаемся.

Сельская улица была запружена народом — ведь люди спали по двенадцать, по пятнадцать человек в одной комнате, а сотни приезжих аристократов провели ночь в своих каретах. Теснота всюду была такая, что нам насилу удалось пробиться на крыльцо. Какой-то пьяница свернулся в прихожей и громко храпел, не чувствуя, что людской поток течет мимо, а порою даже прямо поверх него.

— Какие ставки, ребята? — с порога спросил Белчер.

— Так на так, Джем, — отозвались сразу несколько голосов.

— Прошлый раз, я слышал, куда больше ставили на Уилсона.

— Верно, да тут явился один такой — ставит супротив Уилсона, да помногу, а за ним и другие потянулись, вот счет и сравнялся.

— А с кого все началось?

— Да вон с него! Вон с того, что пьяный в прихожей валяется! Он сюда прикатил в шесть утра и с тех самых пор пил без передышки, немудрено было и захмелеть.

Белчер наклонился и приподнял тяжелую, бесчувственную голову спящего.

— Никогда его и в глаза не видал, сэр.

— И я тоже, — заметил дядя.

— А я его знаю! — вскричал я. — Это Джон Каммингз, хозяин гостиницы в Монаховом дубе. Поверьте, я не ошибаюсь, я его с детства знаю.

— Но что и как он мог пронюхать, черт возьми? — спросил Крейвен.

— По всей вероятности, ничего он не пронюхал, — возразил дядя. — Он ставит на нашего Джима не по зрелому размышлению, а спьяну, просто потому, что с ним знаком. Ведь пьяному море по колено, а его пример увлек других.

— Утром-то он приехал ни в одном глазу, — возразил наш хозяин. — И как приехал, сразу давай ставить на вашего парня, сэр Чарльз. А другие,

на него глядя, — тоже, вот прежний счет и не удержался.

— Жаль только, что и он сам не удержался на ногах, — заметил дядя. — Сделайте милость, принесите мне немного лавандовой воды, — обратился он к хозяину. — В этой толчее я просто задыхаюсь... Навряд ли ты добьешься толку от такого пропойцы, племянник; боюсь, нам не удастся выяснить, что он такое разнюхал.

И в самом деле: тщетно я тряс пьяного за плечо и громко звал его по имени, он спал непробудным сном.

— Да, на моей памяти такого еще не бывало, — сказал Беркли Крейвен. — До боя осталось два часа, а мы даже не знаем, есть ли у нас боец. Надеюсь, вы не слишком много на этом теряете, Треджеллис?

Дядя равнодушно пожал плечами и неподражаемым плавным жестом, который у него никто и не отваживался перенять, взял понюшку табаку.

— Довольно кругленькую сумму, мой друг, — сказал он. — Но не пора ли нам собираться? После ночной гонки я, мне кажется, несколько effleuré^[36] и хотел бы на полчаса уединиться и привести себя в порядок. Я готов взойти хоть на эшафот, но только не в нечищенных башмаках.

Я слышал однажды, как некий путешественник, возвратясь из диких просторов Америки, уверял, будто краснокожий индеец и английский джентльмен родственные души: оба помешаны на физических упражнениях, а в остальном неприступны и невозмутимы. Его слова вспомнились мне в то утро, когда я наблюдал за дядей, ибо, право же, ни одному осужденному не предстояла казнь более жестокая. Не только его состояние поставлено было на карту. Я понимал, каково будет ему перед лицом огромной толпы, в которой очень многие, доверясь его суждению, рискнули своими деньгами, в последнюю минуту вместо того, чтобы выставить надежного бойца, предложить какое-то жалкое оправдание... Каково это человеку, столь гордому, столь уверенному в себе, которому доньше еще ни разу, ни в каких начинаниях не изменяла удача! Я хорошо его изучил и сейчас по бледности щек, по беспокойной дрожи пальцев видел, что он растерян и не знает, как быть; но сторонний человек, поглядев, как он помахивает кружевным платочком, подносит к глазам лорнет и оправляет пышные манжеты, никогда бы не заподозрил, что этого легкомысленного франта могут терзать какие-то заботы.

Было уже почти девять, когда мы собрались ехать на Холмы, и, кроме дядиной коляски, на улице не осталось ни одного экипажа. Накануне вечером они теснились вплотную, колесо к колесу, так что сцеплялись оглоблями, и по пять в ряд заняли всю дорогу от старой церкви вплоть до Кролийского Вяза — расстояние не меньше полумили. А сейчас пыльная

улица перед нами была пустынна — несколько женщин да ребятишек, и все. Мужчин, лошадей, экипажи точно ветром сдуло. Дядя оделся с обычной безупречной тщательностью и натянул свои кучерские перчатки, но перед тем как сесть в коляску, окинул всю эту пустынную дорогу взором, полным и отчаяния и надежды. Я сел позади с Белчером, сэр Беркли Крейвен занял место на козлах рядом с дядей.

От Кроли дорога плавно поднимается на поросшее вереском плоскогорье, раскинувшееся на много миль. По обочинам, а то и напрямик, по рябям от вереска отлогим склонам, тянулись вереницы пешеходов. Усталые, все в пыли, люди едва передвигали ноги, многие брели из самого Лондона и проделали за эту ночь тридцать миль. На перекрестке застыл всадник в причудливом зеленом одеянии, картинно сидевший в седле; прищпорив коня, он поспешил нам навстречу, и я узнал смуглое красивое лицо и дерзкие черные глаза Мендосы.

— А я вас поджидал, чтобы вам зря не плутать, сэр Чарльз, — сказал он. — Отсюда — по Гринстедской дороге, а там взять полмили влево.

— Прекрасно, — сказал дядя и повернул гнедых.

— Ваш боец еще не явился, — заметил Мендоса; в его тоне и в выражении лица сквозило подозрение.

— А тебе какое дело, черт подери? — со злостью крикнул Белчер.

— Нам всем есть дело, потому что ходят разные слухи!

— Так держи их про себя, не то пожалеешь, что слушал!

— Ладно, ладно, Джем. Ты, видно, нынче плохо позавтракал.

— А остальные уже на месте? — небрежно спросил дядя.

— Нет еще, сэр Чарльз. Но Том Оуэн с канатами и кольями уже там. Только что проехал Джексон и почти все, кто будет охранять порядок.

— У нас в запасе еще час, — заметил дядя, когда мы покатали дальше. — А те, возможно, опоздают, ведь им ехать от Рейгета.

— Вы держитесь молодцом, Треджеллис, — сказал Крейвен.

— Нам надо храбриться и не подавать виду до последней минуты.

— Ну, конечно, сэр! — воскликнул Белчер. — Уж будьте уверены, раз ставки на Джима так подскочили, это неспроста — кто-то что-то проведет. Надо держаться изо всех сил, сэр, а там видно будет.

Задолго до того, как мы увидели собравшуюся толпу, до нас уже доносился гул, похожий на рокот прибоя, — и вот наконец мы въехали на вершину холма, и взорам открылся гигантский людской водоворот, где все устремлялось к небольшой воронке посередине. А вересковые просторы вокруг были усеяны тысячами экипажей и лошадей, и всюду на косогорах пестрели раскинутые на скорую руку навесы и палатки. Для ринга была

выбрана широкая котловина: расположившись по склонам этого прекрасного амфитеатра, добрых тридцать тысяч зрителей могли хорошо видеть то, что происходило внутри. Когда мы подъехали, среди тех, кто сидел с краю, раздалось «ура», перекинулось дальше, дальше, и наконец все это множество народу разразилось приветственными криками. А через минуту возгласы раздались снова — с другого края амфитеатра, по ту сторону арены, — все лица, обращенные к нам, отвернулись, и в мгновение ока раскинувшееся перед нами людское море из светлого стало темным.

— Это они. Не опоздали, — в один голос сказали дядя и Крейвен.

Стоя в коляске, мы увидели приближавшуюся по холмам кавалькаду. Впереди, в огромном желтом ландо, ехали сэр Лотиан Хьюм, Краб Уилсон и его тренер капитан Барклей. На шляпах фореиторов развевались желтые ленты — цвет Уилсона, в желтом ему предстояло выйти на ринг. За ними гарцевала добрая сотня разных знатных господ из западных графств, а дальше, насколько хватал глаз, тянулся по Гринстедской дороге поток всевозможных карет, колясок и легких двуколок. Огромное ландо, раскачиваясь и подпрыгивая на кочках, направлялось в нашу сторону, и наконец сэр Лотиан заметил нас и крикнул фореиторам, чтобы придержали лошадей.

— Доброе утро, сэр Чарльз, — сказал он и легко соскочил наземь. — Я так и думал, что это ваша красная коляска. Отличное утро для боя.

Дядя молча и сухо поклонился.

— Раз мы уже здесь, я думаю, можно и начинать, — продолжал сэр Лотиан, словно не замечая его холодности.

— Мы начнем в десять и ни минутой раньше.

— Прекрасно, как вам угодно. А кстати, сэр Чарльз, где ваш боец?

— Я хотел бы спросить об этом вас, сэр Лотиан, — отвечал дядя. — Где мой боец?

На лице сэра Лотиана выразилось изумление, если и не искреннее, то мастерски разыгранное.

— Почему вы задаете мне столь странный вопрос?

— Потому что я хотел бы получить на него ответ.

— Что я могу ответить? Меня это не касается.

— А у меня есть основания полагать, что вы тем не менее имеете к этому касательство.

— Если вы сообразовались выразиться хоть немного яснее, я, быть может, и пойму, что вы желаете этим сказать.

Оба были очень бледны, держались холодно и учтиво и не возвышали голоса, но взгляды их скрестились, точно разящие клинки. Я вспомнил, что

сэр Лотиан славится как непобедимый беспощадный дуэлянт, и мне стало страшно за дядю.

— Так вот, сэр, если вы полагаете, будто я дал вам повод для недовольства, вы меня крайне обяжете, высказавшись яснее.

— Извольте, — сказал дядя. — Некие злоумышленники сговорились искалечить или похитить моего бойца, и у меня есть все основания полагать, что вам об этом известно.

Мрачное лицо сэра Лотиана исказила злобная усмешка.

— Понимаю, — сказал он. — Во время тренировки ваш ставленник не оправдал надежд, и вам теперь приходится выдумывать какие-то отговорки. Но, мне кажется, вы могли бы сочинить что-нибудь более правдоподобное и чреватое не столь серьезными последствиями.

— Сэр, — сказал дядя с внезапно прорвавшимся бешенством, — вы лжете, но только вам одному известно, какую отъявленную ложь вы мне преподносите!

Впалые щеки сэра Лотиана побелели от ярости, глубоко посаженные глаза вспыхнули свирепым огнем, точно у пса, бешено рвущегося с цепи. Но он совладал с собой и вновь стал прежним, невозмутимо спокойным и самоуверенным джентльменом.

— Нам с вами не подобает браниться, как мужичью на ярмарке, — сказал он. — Мы можем объясниться и после.

— Обещаю вам это, — зловеще произнес дядя.

— А пока напомню вам условия нашего пари. Если через двадцать пять минут вы не представите своего бойца, я выиграл.

— Через двадцать восемь, — поправил его дядя, взглянув на часы. — Вот тогда вы можете говорить о выигрыше, и ни секундой раньше.

Он был великолепен, он держался так уверенно, словно располагал неограниченными возможностями, и, глядя на него, я почти забыл, что на самом деле положение наше отчаянное. Тем временем Беркли Крейвен обменялся несколькими словами с сэром Лотианом и вновь подошел к нам.

— Меня просили быть единственным судьей состязания, — сказал он. — Отвечает ли это вашим желаниям, сэр Чарльз?

— Буду вам весьма обязан, если вы возьмете это на себя, Крейвен.

— И предлагают, чтобы за временем следил Джексон.

— Превосходно. На том и порешим.

Между тем подъехали последние экипажи, всех лошадей привязали к вбитым в землю кольям. На поросших травой склонах люди садились сперва поодиночке, потом все тесней и, наконец, слились в сплошную массу с одной могучей глоткой, которая уже начинала громко выражать

свое нетерпение.

Вокруг на бескрайних лиловато-зеленых просторах почти незаметно было движения. Лишь с юга по дороге мчалась во весь дух какая-то запоздавшая двуколка, да взбирались по кособокому несколько путников из Кроли. И нигде никаких признаков пропавшего боксера.

— А люди все равно заключают пари, — сказал Белчер. — Я только что был у самого ринга, ставят все так же поровну.

— Для вас отведено место у внешних канатов, сэр Чарльз, — заметил Крейвен.

— Моего бойца еще не видно. Я не пойду на свое место, пока он не явится.

— Я обязан вам сказать, что до срока осталось только десять минут.

— А по-моему, пять! — крикнул сэр Лотиан Хьюм.

— Это решает судья, — твердо сказал Крейвен. — По моим часам осталось десять минут, значит, десять.

— Вот и Краб Уилсон! — сказал Белчер.

И тотчас оглушительно взревела толпа. Чемпион Запада, переодевшись, вышел из своей палатки, за ним следовали его секунданты — Голландец Сэм и Мендоса. Краб Уилсон, обнаженный до пояса, был в миткалевых белых штанах, белых шелковых чулках и легких спортивных башмаках. Подпоясан он был канареечно-желтым кушаком, сбоку у колен трепетали кокетливые бантики того же цвета. В руке он держал белый цилиндр и, пробегая по проходу, оставленному в толпе, подкинул его высоко вверх, так что цилиндр упал на огороженную площадку. Потом боксер в два прыжка перелетел через оба каната — внешний и внутренний — и, скрестив руки на груди, остановился посреди ринга.

Не диво, что толпа встретила его восторженными воплями. Белчер и тот не стерпел и присоединился к общему приветственному хору. Что и говорить, Краб Уилсон был сложен великолепно: нельзя было не залюбоваться его могучей фигурой, живой игрой мышц, при каждом движении плавно округляющихся под белой, гладкой кожей, что сверкала в лучах утреннего солнца и лоснилась, точно шкура пантеры. Руки у Краба Уилсона были длинные и гибкие, осанка словно бы небрежная, но в его могучих покатых плечах чувствовалось куда больше силы, чем в квадратных плечах иных атлетов. Он закинул руки за голову, вытянул их вверх, рывком отвел назад, и при каждом движении под белой кожей вздувались и перекачивались все новые узлы мускулов, и всякий раз толпа разражалась восторженным воплем. Потом Уилсон вновь скрестил руки на груди и застыл, точно великолепное изваяние, дожидаясь противника.

Сэр Лотиан Хьюм, который то и дело нетерпеливо поглядывал на свои часы, с торжествующим видом закрыл их, громко щелкнув крышкой.

— Время истекло! — воскликнул он. — Бой не состоится.

— Время еще не истекло, — возразил Крейвен.

— У меня есть еще пять минут, — сказал мой дядя и взглядом, полным отчаяния, поглядел по сторонам.

— Только три минуты, Треджеллис.

В толпе рос глухой гневный ропот. Раздались крики:

— Мошенничество! Обман!

— Две минуты, Треджеллис!

— Где ваш боец, сэр Чарльз? На кого мы ставили?

Люди вытягивали шеи, отовсюду на нас смотрели побагровевшие лица, гневно сверкали глаза.

— Одна минута, Треджеллис! Мне очень жаль, но я вынужден буду объявить, что вы проиграли.

И вдруг в толпе поднялось какое-то движение, она качнулась, раздалась, высоко в воздух взлетела старая черная шляпа, пронеслась над головами зрителей и охраны и упала на ринг.

— Мы спасены! Вот ей-богу! — завопил Белчер.

— Я полагаю, что это явился мой боец, — спокойно произнес дядя.

— Слишком поздно! — крикнул сэр Лотиан.

— Нет, — возразил судья. — До срока еще двадцать секунд. Бой состоится.

Глава XVII

ВОКРУГ РИНГА

В этом огромном скоплении народа я был один из немногих, кто заметил, с какой стороны так счастливо прилетел в последнее мгновение черный цилиндр. Я уже упоминал, что, когда мы озирались вокруг, по южной дороге неслась одинокая двуколка. Дядя тоже заметил ее, но его внимание тотчас отвлек спор между сэром Лотианом Хьюмом и судьей о секундах, оставшихся до срока. Меня же поразило, что запоздалые ездоки так неистово гонят коня, и я продолжал следить за ними с тайной надеждой, которую не осмеливался высказать словами из страха, как бы дядю не постигло еще одно разочарование. Наконец я различил седоков — мужчину и женщину, и тут двуколка свернула с наезженной колеи и понеслась по бездорожью; лошадь галопом мчалась напролом через кусты можжевельника, колеса то подпрыгивали на кочках, то по ступицу тонули в вереске. Но вот возница осадил покрытую клочьями пены лошадь, кинул вожжи спутнице и, спрыгнув наземь, начал яростно проталкиваться сквозь толпу; тогда-то над головами и взлетела его шляпа — знак, что он вызывает противника на бой.

— Я полагаю, Крейвен, теперь уже незачем спешить, — сказал дядя с таким хладнокровием, словно сам подстроил эту эффектную развязку.

— Теперь, когда шляпа вашего бойца на ринге, вы можете располагать временем, как вам угодно, сэр Чарльз.

— Твой приятель рассчитал очень точно, племянник.

— Это не Джим, сэр, — шепнул я. — Это кто-то другой.

Дядя поднял брови, не сумев скрыть удивления.

— Другой? — переспросил он.

— И лучшего не сыскать! — вскричал Белчер и от восторга так громко хлопнул себя по ляжке, будто из пистолета выпалил. — Чтоб мне провалиться, да это ж сам Джек Гаррисон!

Сквозь толпу медленно пробирался человек — сверху нам были видны только голова да могучие плечи — и за ним в толпе оставался расходящийся след, точно в воде за плывущей собакой. Теперь он проталкивался среди тех, кто стоял дальше от ринга; здесь было не так тесно, и мы уже могли разглядеть обращенное к нам мужественное, улыбающееся лицо кузнеца. Шляпа его осталась на ринге, он был в

дорожном сюртуке, шея повязана ярко-синим платком. Выбравшись наконец из толпы, он распахнул сюртук, и мы увидели, что он в полном боевом облачении: черные штаны, шоколадного цвета чулки и белые башмаки.

— Прошу прощения, что так запоздал, сэр Чарльз! — крикнул он. — Поспел бы и пораньше, да пришлось уламывать мою хозяйшку. Никак, понимаете, не соглашалась, вот я и прихватил ее с собой, а уж по дороге мы столкнулись.

Теперь я и сам увидел, что в двуколке сидит миссис Гаррисон.

Сэр Чарльз сделал кузнецу знак подойти к самой карете.

— Что привело вас сюда, Гаррисон? — спросил он вполголоса. — Никогда в жизни я никому так не радовался, но, признаюсь, никак не ждал увидеть вас тут.

— Но вы же знали, что я еду, сэр, — возразил кузнец.

— Понятия не имел.

— Как же так, сэр Чарльз, разве вас не известил об этом Каммингз, хозяин гостиницы в Монаховом дубе? Вот мистер Родни его знает.

— Мы его видели в Подворье короля Георга; он был мертвецки пьян.

— Чуяло мое сердце! — гневно вскричал кузнец. — Уж такой он человек — как войдет в раж, так и напьется, а тут услышал, что я сам взялся за это дело, и вовсе голову потерял. Прихватил с собой целый мешок золотых, хотел все на меня поставить.

— Вот потому ставки и переменились, — сказал дядя. — Очевидно, другие последовали его примеру.

— Страх, как боялся, что он напьется! Даже слово с него взял, чтоб, как приедет, шел прямо к вам, сэр. У него была для вас записка.

— Насколько мне известно, он приехал в Подворье к шести часам, а я возвратился из Рейгета после семи; должно быть, к этому времени хмель вытеснил у него из головы все записки. Но где же ваш племянник Джим и откуда вы узнали, что понадобится здесь?

— Джим не виноват, что вы тут оказались в затруднении, сэр, слово даю. А мне велено драться вместо него, да и кем велено-то — только один и есть такой человек на свете, кого я сроду еще не ослушался.

— Да уж, сэр Чарльз, — вставила миссис Гаррисон, которая тем временем вылезла из двуколки и подошла к нам. — Пользуйтесь случаем, потому как больше вам моего Джека вовек не заполучить, хоть на колени станьте!

— Хозяйка моя спорт не одобряет, что верно, то верно, — сказал кузнец.

— Спорт! — с гневным презрением воскликнула миссис Гаррисон. — Скажешь мне, когда оно кончится, это ваше представление!

И она поспешила прочь, а после я видел, как она сидела в кустах, спиной к толпе, и, вся съежившись, зажимала уши ладонями и то и дело вздрагивала, терзаясь страхом за мужа.

Пока происходил этот торопливый разговор, шум в толпе все возрастал; нетерпение разгоралось, ибо назначенный час уже миновал и всех волновала нежданная удача: шутка ли — поглядеть на такого прославленного бойца! Гаррисона уже узнали, имя его передавалось из уст в уста, и не один выдавший виды знаток и любитель бокса вытащил из кармана длинный вязаный кошелек, чтоб поставить несколько гиней на бойца старой школы против нынешней. Публика помоложе по-прежнему оказывала предпочтение чемпиону с Запада, и в разных частях огромного амфитеатра ставки заключались с некоторым перевесом в пользу одного или другого, смотря по тому, где чьих сторонников оказывалось больше.

Между тем к лорду Крейвену, который все еще стоял подле нашей кареты, протолкался сэр Лотиан Хьюм.

— Я заявляю решительный протест! — сказал он.

— На каком основании, сэр?

— На таком, что сэр Чарльз Треджеллис выставляет не того бойца.

— Вы отлично знаете, что я не называл никакого имени, — сказал дядя.

— Все пари основывались на том, что против моего бойца выступит молодой Джим Гаррисон. И вдруг в последнюю минуту его подменяют другим, более опасным.

— Сэр Чарльз Треджеллис в своем праве, — решительно возразил Крейвен. — Он обязался выставить боксера либо моложе, либо старше определенного возраста, и, насколько я понимаю, Гаррисон вполне отвечает всем поставленным условиям. Вам уже исполнилось тридцать пять, Гаррисон?

— Через месяц стукнет сорок один, сэр.

— Прекрасно. Бой состоится.

Но увы! Существовала власть еще более неоспоримая, нежели власть спортивного судьи, и нам предстояло испытание, которым в старину нередко начинались, а порой и заканчивались подобные встречи. По равнине ехал верхом джентльмен в черном сюртуке и высоких охотничьих сапогах, и с ним еще двое всадников; они то скрывались из виду, спускаясь в ложбину, то вновь появлялись на каком-нибудь пригорке. Иные в толпе, кто понаблюдательней, давно уже с подозрением поглядывали на этого

всадника, но большинство не обращало на него внимания, пока он не поднялся на вершину холма, откуда виден был весь амфитеатр; тут всадник осадил коня и громко провозгласил, что он, главный мировой судья графства Суррей, объявляет это сборище незаконным и предлагает толпе разойтись, а в случае неповиновения уполномочен разогнать ее силой.

Никогда до этой минуты я не понимал, сколь глубоки и неискоренимы страх и преклонение перед законом, которые много веков дубинками внушали служители закона воинственным и непокорным жителя Британских островов. Но вот появился человек всего лишь с двумя помощниками, а против него — тридцатитысячная гневная, обманутая в своих ожиданиях людская масса, в которой немало и профессиональных боксеров и попросту головорезов из самых опасных слоев общества, и, однако, именно этот одинокий человек неколебимо уверен в своей силе, а огромная толпа колышется и ворчит, точно лютый непокорный зверь, внезапно увидевший перед собой такую мощь, которой противиться бессмысленно и бесполезно.

Однако мой дядя, а с ним Беркли Крейвен, сэр Джон Лейд и еще человек десять аристократов поспешно направились к всаднику в черном.

— Надо полагать, у вас имеется для этого официальное предписание? — осведомился Крейвен.

— Да, сэр. Такое предписание у меня имеется.

— Тогда я вправе с ним ознакомиться.

Представитель власти протянул ему бумагу, и знатные любители спорта, сойдясь тесным кружком, принялись ее изучать, ибо почти все они и сами были судьями и законниками и надеялись к чему-нибудь придраться и объявить предписание недействительным. Наконец Крейвен пожал плечами и вернул бумагу.

— По-видимому, тут все правильно, сэр, — сказал он.

— Разумеется, правильно, — учтиво отвечал суррейский мировой судья. — И дабы вы не тратили понапрасну ваше драгоценное время, джентльмены, скажу раз и навсегда: я решил бесповоротно, что ни под каким видом не допущу во вверенной моему попечению округе никаких кулачных боев, хотя бы мне весь день пришлось неотступно следовать за вами.

Мне, новичку в этих делах, показалось, что больше надеяться не на что, но я не подозревал, сколь предусмотрительны устроители состязания и сколь удобны для таких встреч Кролийские холмы. Дядя, Крейвен, лорд Хьюм и еще несколько заправил наскоро посоветовались.

— До границы с Хампширом семь миль, а до Суссекса и шести нет, —

сказал Джексон.

В честь нынешнего события прославленный боксер облачился в великолепный алый, сшитыми золотом петлями сюртук, шею повязал белым шарфом, надел шляпу с изогнутыми полями и широкой черной лентой, коричневые штаны до колен, белые шелковые чулки и туфли со стразовыми пряжками, — этот наряд выставлял в самом выгодном свете его атлетическую фигуру, а пуще всего — мощные «кеглеподобные» икры, которые прославили непобедимого боксера на всю Англию еще и как непревзойденного бегуна и прыгуна. Его суровое лицо с крупными, резкими чертами, пронзительный взор больших глаз и могучее сложение как нельзя лучше подходили тому, кого буйная, грубая толпа избрала своим главой и предводителем.

— Если мне дозволено будет предложить вам совет, поезжайте в Хампшир, — любезно вставил суррейский судья. — На границе Суссекса вас встретит сэр Джеймс Форд, а он столь же мало одобряет подобные сборища, как и я, хампширский же судья мистер Мерридю из Лонг-Холла смотрит на них сквозь пальцы.

— Весьма вам признателен, сэр, — сказал дядя, величественно приподняв шляпу. — С позволения лорда Крейвена нам остается только избрать другую арену.

И мигом все вокруг закипело. Том Оуэн и его подручный Фого с помощью стражей ринга выдернули столбы, свернули канаты и потащили их прочь. Краба Уилсона закутали в несколько рединготов и на руках понесли к карете, а Гаррисон занял в нашей коляске место Крейвена. И вся огромная толпа — конные, пешие, всевозможные кареты и повозки — медленной широкой волной разлилась по вересковой равнине. Экипажи, по полсотни в ряд, тряслись и подскакивали на кочках и рытвинах, качаясь и ныряя, точно лодки на волнах. Порою с треском ломалась какая-нибудь ось, колесо, кружась, отлетало далеко в сторону, в заросли вереска, и коляска валилась набок, а все вокруг разражались хохотом и веселыми шутками по адресу незадачливых ездоков, сокрушенно взиравших на поломку. Потом кусты поредели, почва стала ровнее, и тогда пешие пустились бегом, всадники прищипорили коней, кучера защелкали бичами, и началась безумная, неистовая гонка вниз, по косогору, а желтое ландо и ярко-красная коляска, в которых ехали бойцы, неслись впереди всех.

— Как, по-вашему, Гаррисон, можем ли мы надеяться на успех? — спросил дядя, погоняя гнедых.

— Это мой последний бой, сэр Чарльз, — отвечал кузнец. — Вы же слышали — моя хозяйка сказала: отпускает меня нынче с таким уговором,

чтоб в другой раз и не заикался. Так уж я напоследок постараюсь не ударить лицом в грязь.

— Но вы не тренировались?

— А я всегда тренируюсь, сэр! Работа моя тяжелая, машу молотом с утра до вечера, а кроме воды, почитай, ничего и не пью. Капитан Барклей со всеми своими правилами навряд придумает тренировку получше.

— У вашего противника, пожалуй, руки длиннее.

— Бывал я и не таких. В дальнем бою выстою, а в ближнем я сильнее.

— Молодость против опыта. Что ж, я не побоялся бы поставить на вас все свои деньги, до последней гиней. Но не могу простить Джиму, что он меня подвел, разве что его к этому принудили.

— Его принудили, сэр Чарльз.

— Значит, вы его видели?

— Нет, сэр, не видал.

— Но вы знаете, где он?

— Не след бы мне говорить. Но одно все ж скажу: он тут ничего поделывать не мог. А вон опять законник скачет.

Нашу коляску с галопом нагнал все тот же грозный всадник, но на этот раз он был настроен дружелюбнее.

— Здесь моя власть кончается, сэр, — сказал он. — Дальше за канавой — ровное поле, с небольшим уклоном, для боя вам лучшего места не найти. И, ручаюсь, здесь вам никто не помешает.

Он явно желал, чтобы бой состоялся, а ведь только недавно с таким усердием выпроваживал нас из пределов своего графства! Одно с другим никак не вязалось, и дядя сказал ему об этом.

— Судье не к лицу закрывать глаза на то, как нарушают закон, — был ответ. — Но если мой хампширский коллега не возражает против подобных нарушений во вверенном ему округе, я с превеликим удовольствием посмотрю бой!

С этими словами он прищпорил коня и взлетел на соседний пригорок, откуда, по его расчетам, все будет отлично видно.

И вот я стал свидетелем тщательно разработанного этикета и своеобразных традиций, в те дни еще не столь давних; тогда мы и не догадывались, что впоследствии они привлекут внимание не только любителей бокса, но и историков. Встреча бойцов происходила торжественно, по строгому церемониалу, подобно царским турнирам, где о схватке воинов в стальных доспехах возвещали трубы герольдов и украшенные гербами щиты. Быть может, в старину эти поединки многим казались жестокой, варварской забавой, но мы сквозь даль времен яснее

видим, что грубый, но мужественный обычай закалял сынов того железного века для уготованной им суровой жизни. И когда бокс, подобно турнирам, отойдет в прошлое, мы, быть может, станем рассуждать с большей широтой и поймем, что всякое явление, возникающее столь естественно, само собою, имеет глубокий смысл, и не так уж дурно, если два человека сходятся по доброй воле и сражаются до потери сил. Куда опасней для нас стать хоть немного менее смелыми и выносливыми, когда само существование нации опирается прежде всего на доблесть и стойкость каждого ее гражданина и защитника. Давайте покончим с войной, если разум человеческий найдет способ избавиться от этого проклятия, но пока такого способа не нашли, остерегайтесь умалить изначальные достоинства, к которым вам придется прибегнуть в час опасности.

Том Оуэн и его единственный помощник Фого, соединявший в одном лице боксера и поэта, — правда, на свое счастье, кулаками он действовал куда лучше, нежели пером, — вскоре приготовили ринг по всем тогдашним правилам. Белые деревянные столбы с выведенными на них буквами «Б.К.» (Боксерский клуб) вбили в землю вокруг площадки в двадцать четыре на двадцать четыре фута и огородили ее, натянув между столбами канаты. Дальше, на расстоянии восьми футов, снова натянули канаты. Внутренняя площадка служила рингом для бойцов и их секундантов, а вокруг нее, за канатами, размещались судья, его помощник, отсчитывающий время, те, кто выставил бойцов, и немногие избранники и счастливцы, в числе которых при дяде оказался и я. Десятка два прославленных боксеров, среди них мой друг Билл Уорр, Черный Ричмонд, Джордж Мэддокс, Том Белчер, Джон Паддинтон, Том Блейк-Крепыш, Саймонд Сорвиголова, Тайен Портной, разместились за внешними канатами, чтобы противостоять натиску толпы.

Все они были в высоченных белых цилиндрах, которые тогда только что вошли в моду, вооружены длинными бичами с серебряными рукоятками с той же монограммой — «Б.К.». Стоило любому смельчаку, будь то простолюдин из Ист-Энда или вест-эндский аристократ, забраться в пространство, огороженное внешними канатами, блюстители порядка, не тратя время на увещевания и упреки, обрушивались на дерзкого с бичами и хлестали напропалую, пока он не убирался прочь из священных пределов. Но и эти могучие стражи, наделенные столь широкими полномочиями и столь грозным оружием, сдерживая натиск разгоряченной толпы, под конец обычно выбивались из сил не меньше, чем сами боксеры. Сейчас они стояли в ряд, как часовые, и под белыми цилиндрами можно было разглядеть их лица — лица бойцов самого разного нрава и склада: и

свежие, мальчишеские, как у Тома Белчера, Джонса и других боксеров младшего поколения, и суровые лица ветеранов, иссеченные рубцами и шрамами.

Пока вбивали столбы и натягивали канаты, я слушал, что говорят в толпе, расположившейся позади избранной публики; первые два ряда зрителей лежали на траве, следующие два ряда опустились на колени, а дальше люди стояли тесными рядами на отлогом склоне, и каждый, вытянув шею, смотрел на ринг через плечо стоящего вперед. Кое-кто, и в том числе искушенные знатоки, полагал, что Гаррисону нечего надеяться на победу, и когда до моего слуха донеслись эти толки, сердце у меня сжалось.

— Старая песня, — сказал один из них. — Никому неохота уступать молодым. Вот и упрутся, покуда молодые кулаком не научат их уму-разуму.

— Ага, верно, — отозвался другой. — Вот так и Джек Лодырь одолел Боутона, а с жестянщиком Хупером лихо расправился какой-то москательщик, это я своими глазами видел. С ними со всеми так бывает, видно, пришел черед и Гаррисона.

— То ли пришел, то ли нет! — крикнул третий. — Я пять раз видал Джека Гаррисона на ринге, и всегда он брал верх. Он быка свалить может, верно вам говорю.

— Это он раньше так дрался.

— Ну, что раньше, что нынче, какая разница. Ставлю на Гаррисона десять гиней!

— Э, нет! — громко и самонадеянно изрек какой-то малый за моей спиной, судя по выговору, уроженец Запада. — Я этого молодца из Глостера видел: вашему Гаррисону против него десяти раундов нипочем не выстоять, да не то что сейчас, а хоть бы и в молодости. Я вчера приехал сюда с почтовой каретой, так курьер мне сказал — везу мол, пятнадцать тысяч фунтов золотом, велено поставить на нашего молодца.

— Плакали ихние денежки, — возразил собеседник. — Гаррисон не робкого десятка, боец, каких мало. Выставь против него верзилу хоть с башню ростом, он и то не отступит.

— Дудки! — заявил патриот с Запада. — Таких бойцов, как бристольтские да глостерские, больше нигде не сыщешь, их только свой брат и побьет.

— Ах ты, чертов хвостун! — вспылil кто-то в толпе у него за спиной, судя по говору, коренной житель лондонской окраины. — Да наш лондонский самолучшего бристольтского одной левой уложит!

Вспыльчивый кокни и гордый уроженец Бристоля чуть было не подрались сами, не дожидаясь начала боя, но тут их пререкания заглушил многоголосый восторженный рев. Это зрители приветствовали Краба Уилсона; за ним на ринге появились Голландец Сэм и Мендоса с тазом, губкой, фляжкой коньяку и прочими знаками их секундантского достоинства.

Ступив на ринг, Уилсон размотал обернутый вокруг талии канареечно-желтый кушак, привязал его к верхушке углового столба, и кушак заплескался на ветру. Потом Уилсон взял у своих секундантов пачку лент того же цвета и пошел вдоль канатов, предлагая их по полгинеи за штуку зрителям из благородных. Продажа этих сувениров шла бойко, и ее оборвало лишь появление Гаррисона, который не спеша перелез через канаты, как и подобало его солидному возрасту и уже не столь гибким членам. Его встретили воплем еще более восторженным, чем Уилсона; в криках явственней слышалось восхищение, ибо зрители уже успели полюбоваться великолепными мышцами Уилсона, вид же Гаррисона был для них внове.

Мне и раньше не раз случалось видеть могучие руки и шею кузнеца, но я еще никогда не видел его обнаженным по пояс и не мог оценить поразительную соразмерность и гармонию этого богатырского сложения, сделавших Гаррисона в годы его молодости излюбленной моделью всех лондонских ваятелей. Гаррисон не мог похвастать гибкой игрою мышц, перекачивающихся под белой шелковистой кожей, что приятно поражало при взгляде на Уилсона, зато мощные бугры и узлы мускулов сплошной вязью оплетали его грудь и плечи и вились вдоль рук, будто корни величавого дуба. Даже когда он стоял совсем спокойно, мускулы бугрились так, что в солнечных лучах от этих выпуклостей на кожу ложились тени; когда же он сделал несколько гимнастических движений, весь торс его словно заиграл этими грозными буграми. Кожа его была не такой белой и мягкой, как у его противника, зато на вид он был крепче, выносливей, и впечатление это еще усиливалось оттого, что штаны и чулки на нем были темные. Он вышел на ринг, посасывая лимон, за ним следовали Джем Белчер и Калед Болдуин, разносчик. Подойдя к угловому столбу, Гаррисон завязал свой ярко-синий платок над желтым кушаком чемпиона Запада, потом направился к сопернику и протянул ему руку.

— Надеюсь, ты в добром здравии, Уилсон, — сказал он.

— Спасибо, не жалуюсь, — отвечал тот. — Надо думать, мы еще по-другому потолкуем.

— Так ведь не по злобе, — заметил кузнец.

Оба добродушно ухмыльнулись и разошлись по своим углам.

— Позвольте узнать, почтенный судья, взвешивались ли бойцы? — спросил сэр Лотиан Хьюм, поднимаясь со своего места за канатами.

— Их только что взвешивали под моим наблюдением, — отвечал мистер Крейвен. — Ваш боец весит сто восемьдесят пять фунтов, Гаррисон — сто девяносто.

— Выше пояса поглядеть, так он и побольше двухсот потянет! — крикнул из своего угла Голландец Сэм. — Ничего, мы ему малость поубавим веса.

— А еще больше поубавите вес своих кошельков! — отозвался Джем Белчер, и толпа громко захохотала.

Глава XVIII

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КУЗНЕЦА

— Очистить ринг! — выкрикнул Джексон, стоя у канатов с большими серебряными часами в руках.

Кое-кого из зрителей вытолкнула вперед напиральная толпа, другие сами не побоялись наказания и, нырнув под внешние канаты, обступили ринг: уж очень им хотелось получше видеть. Но засвистали бичи, и, пригибаясь под градом ударов, среди криков и гогота толпы они кинулись прочь из запретного круга, точно перепуганные овцы, что сломя голову удирают через дыру в загоне. Теперь им некуда было податься, сидевшие впереди не желали уступать ни дюйма, но доводы по спине оказались куда убедительнее, и вскоре каждый беглец кое-как втиснулся в ряды, а стражи с бичами наготове заняли свои места вдоль внешних канатов, на равном расстоянии друг от друга.

— Господа! — снова громко заговорил Джексон. — Мне поручено сообщить вам, что сэр Чарльз Треджеллис выставил на ринг Джека Гаррисона, вес сто девяносто фунтов, а сэр Лотиан Хьюм выставил Краба Уилсона, вес сто восемьдесят пять фунтов. Всем, кроме судьи и его помощника, доступ на ринг запрещается. Прошу вас всех, если потребуется, помогите поддержать порядок, не допускайте на ринг посторонних, пусть ничто не мешает честному бою. Готовы?

— Готовы! — слышалось из противоположных углов ринга.

— Бой!

Все затаили дыхание, и в тишине Гаррисон, Уилсон, Белчер и Голландец Сэм быстрым шагом прошли на середину ринга. Бойцы обменялись рукопожатием, секунданты тоже — четыре руки протянулись крест-накрест. И тотчас секунданты отскочили, а боксеры остались среди ринга лицом к лицу.

Для всякого, кто не утратил способность восхищаться благороднейшим созданием Природы, это было великолепное зрелище. Эти двое, как и полагается истинным атлетам, без одежды казались еще внушительнее, чем в одежде. Выражаясь языком боксеров, нагишом они были первый сорт. Они были разительно несхожи, и от этого еще отчетливей выступали достоинства каждого: высокого, гибкого, быстрого молодца и коренастого ветерана с узловатым торсом,

подобным стволу старого дуба. Едва их увидели рядом, ставки в пользу младшего подскочили, ибо его преимущества были очевидны, о достоинствах же Гаррисона, благодаря которым он когда-то победил сильнейших соперников, помнило сейчас лишь старшее поколение любителей спорта. Всем бросалось в глаза, что Уилсон на три дюйма выше, и руки у него на два дюйма длиннее, и так по-кошачьи пританцовывают на месте его стройные ноги, что сразу понятно, как легко он может отпрянуть в бою от более медлительного противника или мигом к нему подскочить. Требовалось куда больше проницательности, чтобы заметить и оценить хмурую усмешку на губах кузнеца и огонек, разгорающийся в его серых глазах; и только старые завсегдатаи ринга знали, как опасно ставить против этого несокрушимо крепкого богатыря с выносливым, поистине железным сердцем.

Уилсон стал в стойку, из-за которой получил свое прозвище — Краб: боком к противнику, выставив вперед левую руку и левую ногу, отклоняясь всем корпусом назад, прикрываясь согнутой перед грудью правой рукой, — в этой стойке он был почти неуязвим. Кузнец же стоял по старинке, эту стойку ввели когда-то Хемфри и Мендоса, но теперь ее уже забыли — в первоклассных боях ее не видывали лет десять. Он стоял лицом к противнику, слегка согнув ноги в коленях, выставив огромные коричневые от загара кулаки, одинаково готовый ударить и правой и левой. Кулаки Уилсона были все время в движении и так резко отличались от белой кожи выше запястий, словно на них были какие-то плотно облегающие темные перчатки, но дядя шепотом объяснил мне, что кисти смазаны каким-то вяжущим снадобьем, чтоб меньше распухали от ударов. Так стояли бойцы друг против друга, в трепете напряженного, нетерпеливого ожидания, а огромная толпа следила за каждым их движением почти не дыша, в столь глубокой тишине, словно они сошлись для битвы с глазу на глаз среди какой-то перевозданной пустыни.

С самого начала было ясно, что легконогий Краб Уилсон не намерен рисковать зря и предпочитает выжидать, пока не разгадает хотя бы отчасти тактику своего тяжеловесного и неповоротливого с виду противника. Легкими, эластичными, но таящими в себе угрозу прыжками он быстро описал вокруг кузнеца несколько кругов, а тот лишь неторопливо поворачивался на одном месте, не спуская с него глаз. Потом Уилсон попятился, словно подзадоривая противника сдвинуться с места, но тот усмехнулся и покачал головой.

— Ты уж подойди поближе, паренек, — сказал он. — Староват я за тобой гоняться. А впрочем, у нас целый день впереди, мне не к спеху.

Возможно, он не ждал, что Уилсон так быстро примет приглашение, но тот мгновенно прыгнул на него, как пантера! Хлоп! Хлоп! Хлоп! Бац! Бац! Первые три удара пришлись по липу Гаррисона, два ответных — по торсу Уилсона. Младший боец легко, с большим изяществом отскочил за пределы досягаемости, но на ребрах у него заалели два ярких пятна — следы тяжелых кулаков.

— Ай да Уилсон, пустил ему кровь! — завопила толпа.

Кузнец обернулся, следуя за проворными движениями противника, и я с содроганием увидел, что губы его разбиты и с подбородка стекают красные капли. Уилсон опять подскочил к нему, сделал обманное движение, целя в грудь, и нанес сильный удар по скуле; потом, чтобы уклониться от страшного Гаррисонова удара правой, упал на траву и тем закончил раунд.

— Первый нокдаун за Гаррисоном! — прогремела тысяча голосов, ибо и об этом заключались пари и добрая тысяча фунтов должна была перейти сейчас из рук в руки.

— Судья, я протестую! — крикнул сэр Лотиан Хьюм. — Это не нокдаун, Уилсон просто поскользнулся.

— Считаю, что он поскользнулся, — подтвердил Беркли Крейвен, и противники разошлись по своим углам, а зрители шумно одобряли проявленные ими в первом раунде смелость и горячность. Гаррисон засунул два пальца в рот, быстрым движением вытащил зуб и швырнул в таз.

— Это нам не впервой, — заметил он Белчеру.

— Поосторожней, Джек, — шепнул озабоченный секундант. — Тебе досталось больше, чем ему.

— Зато я малость повыносливей, — невозмутимо отозвался Гаррисон.

Между тем Калев Болдуин осторожно обтер ему лицо большой губкой, и вода в жестяном тазу вдруг замутилась, блестящее дно больше не просвечивало.

Я прислушивался к замечаниям знатоков-аристократов вокруг, к отрывочным словам, которыми перебрасывались в толпе за нами: все полагали, что после этого раунда надежды на победу Гаррисона стало меньше.

— Я вижу, слабости у него все те же, а прежних достоинств что-то не видно, — заметил сэр Джон Лейд, наш соперник в гонке по Брайтонской дороге. — Как был он неповоротлив и медлителен в защите, так и остался. Уилсон бьет его, как хочет.

— Возможно, на три удара Уилсона он ответит одним, зато этот один

стоит тех трех, — возразил дядя. — Он создан бить, а Уилсон мастер увертываться, но я готов ставить на Гаррисона все до последней гиней.

И вдруг все стихло — бойцы вновь были на ногах, и так искусно потрудились над ними секунданты, что оба противника выглядели ничуть не хуже, чем до первого раунда. Уилсон с силой размахнулся левой, но рассчитал неточно и от страшного ответного удара отлетел на канаты, ловя воздух ртом.

— Ура старику! — взревела толпа, и мой дядя, смеясь, подтолкнул сэра Джона Лейда локтем.

Уилсон встряхнулся, точно собака, вылезшая из воды, и с улыбкой, легко, упруго двинулся к середине ринга, где его неподвижно ожидал противник. Гаррисон снова ударил правой, метя под ложечку, но Краб подставил локоть и со смехом отскочил. Оба немного запыхались, и их учащенное, прерывистое дыхание и топот легко обутой ног по траве сливались в один непрерывный, протяжный шорох. Одновременно, точно пистолетный выстрел, прозвучали, слившись воедино, два встречных удара левой, и тотчас же Гаррисон ринулся вперед, чтоб навязать ближний бой, но Уилсон опять увернулся, и мой старый друг упал ничком, отчасти из-за стремительности своей напрасной атаки, отчасти из-за короткого удара в ухо, который нанес ему Уилсон.

— Нокадаун в пользу Уилсона! — провозгласил судья.

Толпа ответила оглушительным ревом, прозвучавшим точно бортовой залп из всех пушек военного корабля. Взлетели в воздух широкополые, причудливо изогнутые шляпы модных франтов; склон холма перед нами, по другую сторону ринга, казался сплошной стеной побагровевших лиц с разинутыми в крике ртами. Сердце мое сжалось от страха, я съеживался при каждом ударе и, однако, был точно околдован: меня охватило яростное волнение и дикий восторг, я восхищался этим великолепным свойством человеческой природы — умением презреть боль и страх в стремлении достичь хотя бы и самой скромной славы.

Белчер и Болдуин кинулись к своему подопечному, мгновенно подняли его и отвели в угол; стойкий кузнец отнесся к своей неудаче с полнейшим хладнокровием, зато сторонники Уилсона ликовали.

— Наша взяла! Он готов! Готов! — кричали секунданты Уилсона. — Сто фунтов против шести пенсов за Глостер!

— Готов? Вон как! — отозвался Белчер. — Придется вам снять эту землю в аренду, тогда, может, еще дождетесь, когда он будет готов. Пока по нему эдак хлопают, бьют мух, он тут месяц простоит и с места не сдвинется.

Говоря так, он крутил полотенцем перед лицом Гаррисона, а Болдуин обтирал кузнеца губкой.

— Как вы себя чувствуете, Гаррисон? — спросил дядя.

— Свеж, как огурчик, сэр. Хоть сейчас в пляс.

Эти слова прозвучали так весело и беззаботно, что хмурое дядино лицо сразу просветлело.

— Вы бы посоветовали ему больше нападать, Треджеллис, — сказал сэр Джон Лейд. — Иначе ему не победить.

— Он понимает в этой игре куда больше нас с вами, mon ami^[37]. Так что пускай действует по своему разумению.

— За его противника сейчас ставят три против одного, — вмешался какой-то джентльмен. Седеющие усы сразу выдавали в нем офицера — участника минувшей войны.

— Вы совершенно правы, генерал Фитцпатрик. Но, заметьте, против него набавляют ставки желторотые юнцы, а принимают эти пари люди посолиднее. Нет, я остаюсь при своем мнении.

Время передышки истекло, и бойцы снова схватились; у кузнеца за ухом вздулась шишка, но все та же добродушная и вместе с тем грозная улыбка играла у него на губах. Краб Уилсон выглядел в точности так же, как и перед началом боя, но дважды я заметил, что он плотно сжал губы, словно от внезапной острой боли, а красные пятна у него на ребрах заметно потемнели и зловеще переливались багровым и синим. Защищаясь, он держал руку немного ниже, чем раньше, видно, старался заслонить эти уязвимые места, но по-прежнему легко кружил вокруг соперника и дышал ровно, а кузнец по-прежнему спокойно и невозмутимо выжидал.

Мы были наслышаны о чемпионе с Запада, знали, что он искусный боец и отличается необычайной быстротой удара, но действительность превзошла все ожидания. В этом и в двух следующих раундах он бил так стремительно и точно, что, как заявили старые знатоки, даже Мендоса в зените своей славы не мог бы с ним сравниться. Он был как молния, наносил удары с быстротой, почти неуловимой для глаза, — их можно было только слышать и ощущать. Однако Гаррисон принимал их все с той же упрямой улыбкой, изредка нанося ответный сокрушительный удар по корпусу, ибо лицо Краб Уилсон очень берег, да и высокий рост ему в этом помогал. К концу пятого раунда ставки были четыре против одного в пользу Краба Уилсона, и его земляки шумно ликовали, заранее торжествуя победу.

— А это видал? — кричал один из них позади меня. Сгоряча он не находил других слов и только повторял опять и опять: — А это видал?

В шестом раунде кузнец дважды попадал под град частых ударов, не сумев, в свою очередь, перейти в нападение, да к тому же один раз тяжело и неловко упал, и тут земляк Уилсона, сидевший за мною, от восторга окончательно лишился дара речи и только кричал «ура!». Сэр Лотиан Хьюм улыбался и кивал головой, а мой дядя оставался бесстрастен и холоден, хотя на сердце у него, без сомнения, лежал такой же тяжелый камень, как и у меня.

— Плохо дело, Треджеллис, — сказал генерал Фитцпатрик. — Я поставил на старика, но молодой дерется куда лучше.

— Гаррисону приходится нелегко, но в конце концов он свое возьмет, отвечал дядя.

И Белчер и Болдуин помрачнели, и я понял, что, если что-то круто не переменится, извечный спор между молодостью и старостью и на этот раз разрешится, как решался во все времена.

Однако в седьмом раунде старый, испытанный боец доказал, что в запасе у него еще немало сил, и у тех, кто воображал, будто борьба уже, в сущности, кончена и еще раунд-другой и кузнец будет повержен, вытянулись физиономии. Противники снова стояли лицом к лицу, и ясно было, что Уилсон что-то задумал и намерен любой ценой вывести соперника из равновесия и ускорить развязку, но и в глазах ветерана горел прежний опасный огонек, и все та же улыбка играла на его сумрачном лице. Он приободрился, расправил плечи, лихо тряхнул головой и бойчей прежнего приготовился к схватке, — и я воспрянул духом.

Уилсон ударил левой, но Гаррисон закрылся, и Уилсон едва успел отклониться и немного ослабить силу грозного удара правой в грудь.

— Браво, старик! — крикнул Белчер. — Попади таким в точку, и парень проспит до завтра!

Стало тихо, слышалось лишь шарканье ног по траве да тяжелое дыхание, потом глухой звук тяжелого удара — Уилсон нацелил в корпус, но кузнец снова хладнокровно закрылся, и опять — секунды напряженной тишины, и еще удар. На этот раз Уилсон метил в голову кузнецу, но и этот опасный удар Гаррисон принял богатырским плечом и с улыбкой кивнул противнику.

— Всыпь ему, сыпь чаще! — завопил Мендоса.

Уилсон подскочил к Гаррисону, готовясь последовать этому совету, но получил страшный удар в грудь.

— Вот так! Добавь еще! — крикнул Белчер.

И тут кузнец ринулся на противника и, войдя в ближний бой, нанес несколько коротких, сильных ударов, легко снося ответные удары, пока не

загнал Краба Уилсона в угол, где тот и свалился почти без дыхания. В этом раунде обоим изрядно досталось, но Гаррисон явно вышел победителем, так что теперь настал наш черед бросать вверх шляпы и кричать до хрипоты, а секунданты, увлекая кузнеца в свой угол, одобрительно похлопывали его по широкой спине.

— А это видал?! — со всех сторон кричали позади меня патриоты Уилсона, повторяя его неизменную присказку.

— Голландец Сэм — и тот не лучше в ближнем бою! — воскликнул сэр Джон Лейд. — Ну, сэр Лотиан, на сколько бьемся об заклад?

— Я уже поставил все, что намерен был поставить, но навряд ли мой боец проиграет.

Однако сэр Лотиан больше не улыбался, и я заметил, что он поминутно оглядывается через плечо на толпу.

С юго-запада медленно наплывала угрюмая сизая туча, но, смею сказать, в тридцатитысячной массе народа едва ли кто замечал ее приближение, всем было не до того. И вдруг туча дерзко напомнила о себе: упали первые крупные капли дождя, и тотчас он зашумел, превратился в ливень и громко забарабанил по цилиндрам благородных франтов. Зрители подняли воротники, повязали шеи платками и шарфами; полуобнаженные тела бойцов, уже вновь стоявших друг против друга, заблестели от влаги. Я заметил перед этим, как Белчер что-то озабоченно зашептал Гаррисону на ухо и тот, вставая на ноги, коротко кивнул, словно человек, который хорошо понял приказ и вполне с ним согласен.

А каков был приказ, тотчас же стало ясно. Гаррисону пора было перейти от обороны к нападению. Схватка в предыдущем раунде убедила секундантов, что в ближнем бою преимущество, вероятнее всего, окажется на стороне закаленного и выносливого кузнеца. А тут еще пошел дождь. По скользкой, мокрой траве Уилсон уже не сможет носиться с такой быстротой и ему не так просто будет увертываться от натиска Гаррисона. В умении использовать каждое благоприятное обстоятельство и заключается искусство боксера, и ринг знает немало случаев, когда сметливый, наблюдательный секундант помогал своему подопечному выиграть совершенно, казалось бы, безнадежный бой.

— Сходись ближе! Сходись! — завопили оба секунданта Гаррисона, и все его сторонники, сколько их было в толпе зрителей, подхватили этот клич.

И Гаррисон ринулся в бой, да так, что кто это видел, уже не забудет. Краб Уилсон, верткий, как ртуть, встретил его градом частых ударов, но никакая сила и никакое искусство уже не могли остановить натиск этого

железного бойца. Раунд за раундом он сходил с противником в ближнем бою. Бум! Бац! Справа! Слева! И каждый оглушающий удар достигал цели. Иногда Гаррисон прикрывал лицо левой рукой, иногда и вовсе пренебрегал защитой, но его внезапные удары были неотразимы. А дождь так и хлестал, струился по лицам бойцов, алыми ручейками сбегал по обнаженным торсам, но оба не обращали на него внимания, разве что старались сманеврировать так, чтобы струи слепили глаза противнику. Но раунд за раундом кузнец сбивал Уилсона с ног, и от раунда к раунду ставки менялись и, наконец, оказались в нашу пользу, да с таким преимуществом, какого с самого начала не было на стороне Уилсона. Сердце мое сжималось, я и жалел обоих храбрецов, и восхищался ими, и каждый раз всеми силами души желал, чтобы новая схватка оказалась последней. И, однако, всякий раз, едва Джексон успевал крикнуть: «Бой!», — оба вскакивали с колен своих секундантов и, хотя лица у них были разбиты и губы в крови, они, смеясь и подзадоривая друг друга, кидались в бой.

Быть может, это был очень скромный наглядный урок, но поверьте, не раз и не два за мою долгую жизнь, когда передо мною вставала трудная задача, воспоминание о том утре на Кролийских холмах помогало мне собраться с духом, ибо я спрашивал себя: неужто во мне так мало мужества, что я не сумею сделать ради своего отечества или ради своих близких то, что сделали два боксера только ради каких-то жалких денег и ради одобрения друзей и зрителей. Быть может, от такого зрелища способны огрубеть и без того грубые сердца, но есть в этом спорте и возвышенная сторона, ибо вид беспредельной человеческой стойкости и мужества может научить многому.

Да, ринг воспитывает блестящие достоинства, но лишь очень пристрастный человек станет отрицать, что здесь же рождаются и зло и подлость; а в то памятное утро нам суждено было увидеть и то и другое. Когда Краб Уилсон, начал проигрывать, я стал украдкой поглядывать на его покровителя: я ведь знал, как безудержно сэр Лотиан Хьюм повышал ставки, и понимал, что не только его бойца, но и его богатство сокрушают убийственные удары Гаррисона.

Самонадеянная улыбка, с которой он следил за ходом первых раундов, давно уже сбежала с губ сэра Лотиана, щеки покрыла землистая бледность, маленькие серые глазки беспокойно забегали под кустистыми бровями, и не раз, когда кузнец сбивал Уилсона с ног, сэр Лотиан разражался яростной бранью. Но главное, я заметил, что он все время оборачивается и после каждого раунда исподтишка бросает пронзительные взгляды куда-то назад, в толпу. В сплошном море лиц позади нас я долго не мог различить, к кому

же обращены его взгляды. Но наконец мне удалось это проследить.

Среди зрителей находился какой-то верзила, такой огромный, что его голова и обтянутые бутылочно-зеленой тканью плечи возвышались над всеми; он неотступно глядел в нашу сторону, и я убедился, что он и наш важный аристократ торопливо обмениваются исподтишка едва заметными знаками. Я стал наблюдать за незнакомцем и быстро обнаружил, что его окружает кучка едва ли не самых отъявленных головорезов во всей этой огромной толпе — молодчиков весьма свирепого вида, с беспутными и злобными рожами; при каждом ударе они, точно волчья стая, поднимали вой и, как только Гаррисон направлялся в свой угол, принимались выкрикивать гнусные ругательства. Они так буйствовали, что стражи ринга зашептались и стали поглядывать в их сторону, видимо, опасаясь какой-то подлости, но никто не подозревал, как она близка и как опасна.

За час двадцать пять минут прошло тридцать раундов; дождь все усиливался. От бойцов валил пар, ринг превратился в грязную лужу. Оба противника столько раз падали, что стали бурыми от грязи, и на буром фоне устрашающе расплывались красные пятна. Раунд за раундом кончался тем, что Краб Уилсон получал нокдаун, и даже моему неопытному глазу было ясно, что он быстро слабеет. Когда секунданты отводили его в угол, он тяжело повисал на них, а едва его переставали поддерживать, шатался и чуть не падал. Но он был бойцом не только искусным, а и очень опытным, и многолетний навык помогал ему наносить и отражать удары машинально, хоть и не с той силой, как вначале, но все же метко и точно. Даже теперь неискушенному зрителю могло бы показаться, что именно Уилсон одерживает верх — на теле кузнеца было туда больше ссадин, чудовищных синяков и кровоподтеков, — но в глазах чемпиона Запада было отчаяние, а дыхание стало таким неровным, что ясно было — самые опасные удары не те, следы которых бросаются в глаза. В конце тридцать первого раунда Гаррисон дважды — справа и слева — так ударил его в бока, что Уилсон задохнулся, точно рыба, вытащенная из воды, и хотя, начиная тридцать второй раунд, по-прежнему храбро кинулся навстречу противнику, лицо у него было ошеломленное и растерянное, как у человека, чей дух окончательно сломлен.

— Он уже хлебнул лиха! — крикнул кузнецу Белчер. — Теперь ты хозяин!

— Я буду драться еще неделю! — задыхаясь, вымолвил разбитыми губами Уилсон.

— Люблю таких, черт возьми! — воскликнул сэр Джон Лейд. — Не хитрит, не трусит, не сдается, но и не задается! А ведь получил сполна,

жаль такого смельчака. Хватит с него!

— Хватит! Хватит! — подхватила добрая сотня голосов.

— Нет, не хватит! Я буду драться! — крикнул Уилсон.

Он только что снова был сбит с ног, но, едва отдышавшись на коленях у секунданта, опять рвался в бой.

— Храбрый малый, пощады не запросит, — сказал генерал Фитцпатрик. — Вы его покровитель, сэр Лотиан, вам бы и надо распорядиться, — пусть бросят губку.

— А, по-вашему, он не может победить?

— Никакой надежды, сэр, он побит.

— Вы его не знаете. Это крепкий орешек.

— Не спорю, он храбрец из храбрецов, но противник чересчур силен для него.

— Ну, а я полагаю, сэр, что он вполне выдержит еще десять раундов.

С этими словами сэр Лотиан отворотился от него и как-то странно вскинул левую руку.

— Перерыв! Не по правилам! Пускай дождь кончится! — прогремело позади меня.

Я обернулся и увидел, что это кричит верзила в тускло-зеленом. Его крик, как видно, послужил сигналом, ибо сотня глоток грянула разом:

— Не по правилам! Перерыв! Перерыв!

Между тем Джексон крикнул «Бой!», и покрытые грязью бойцы уже снова были на ногах, но тут произошло нечто такое, что заставило всех перенести внимание с ринга на зрителей. В задних рядах зрителей поднялось непонятное волнение, оттуда по толпе словно зыбь расходилась, и все головы пришли в движение, точно колосья под порывами ветра. Эта зыбь все усиливалась, задние ряды напирали на передние, и вдруг что-то с треском лопнуло, два белых столба взлетели вверх концами с налипшей землей и упали внутрь кольца между канатами, и каких-то людей, точно пену, поднятую нахлынувшей огромной волной, швырнуло на защитников ринга. Самые могучие руки во всей Англии взмахнули бичами и обрушили их на дерзких, но едва исхлестанные жертвы, морщась и охая, попятились на несколько шагов, сзади опять нажали и еще раз вытолкнули их под удары бичей.

Многие бросились на землю, предпочитая, чтобы следующие волны прокатились через них; другие, рассвирепев от боли, стали отбиваться, пуская в ход трости или стеки. А потом, стараясь избежать напора сзади, одна часть толпы начала подаваться вправо, другая — влево, и вдруг вся эта масса народа раздалась, и в образовавшуюся щель хлынула шайка

головорезов из задних рядов; все они были вооружены налитыми свинцом короткими дубинками и все вопили:

— Не по правилам! Глостер затирают!

Этот яростный натиск опрокинул защитников ринга, внутренние канаты лопнули, точно гнилая нитка, и ринг сразу превратился в бешеный людской водоворот; над головами взлетали и со свистом и стуком опускались кнуты и палки, а среди этой сумятицы, стиснутые со всех сторон, не имея возможности податься ни вперед, ни назад, кузнец и чемпион Запада все еще вели свой нескончаемый бой, не замечая бушующей кругом стихии, точно два бульдога, вцепившиеся друг другу в глотку. Проливной дождь, проклятия, стоны и вопли, свист бичей, выкрикиваемые во все горло советы, удушливый запах промокшей ткани — каждая малая подробность того далекого дня моей юности встает сейчас передо мною, стариком, так живо, словно все это случилось вчера.

Однако тогда нам было нелегко уследить за происходящим, ведь и нас со всех сторон обступила обезумевшая толпа, нас толкали, пинали, а иной раз и совсем сбивали с ног, но мы как-то ухитрились оставаться позади Джексона и Крейвена, которые, хоть у них над головами и скрещивались бичи и палки, упорно выкрикали раунды и направляли бой.

— Встреча прервана! — выкрикнул сэр Лотиан Хьюм. — Апеллирую к судье! Состязание недействительно!

— Негодяй! — вне себя вскричал дядя. — Это твоих рук дело!

— Я получу от вас еще и по старому счету, — со злобной усмешкой сказал Хьюм.

И тут, не устояв под натиском толпы, он оказался чуть ли не в объятиях дяди. Их лица почти соприкоснулись, взгляды скрестились, — и сэр Лотиан Хьюм отвел глаза, полные дерзкого вызова, не выдержав гордого презрения, которым обдал его холодный взгляд моего дяди.

— Не беспокойтесь, мы с вами сведем все счета, хоть для меня и унинительно драться с шулером... Что у вас там, Крейвен?

— Нам придется объявить ничью, Треджеллис.

— Но мой боец выигрывает!

— Ничего не могу поделать. Мне все время достается то бичом, то палкой, в таких условиях судить невозможно.

Неожиданно Джексон кинулся в толпу, но тотчас возвратился чернее тучи и с пустыми руками.

— У меня стянули хронометр! — завопил он. — Какой-то мальчишка выхватил прямо из рук!

Дядя хлопнул себя по кармашку для часов.

— И мои исчезли! — воскликнул он.

— Сейчас же объявляйте ничью, не то вашего бойца изувечат, — сказал Джексон.

И тут мы увидели, что неустрашимого кузнеца, который шагнул к Уилсону, собираясь начать новый раунд, обступила по меньшей мере дюжина вооруженных дубинками негодяев.

— Вы согласны на ничью, сэр Лотиан Хьюм?

— Согласен.

— А вы, сэр Чарльз?

— Ни под каким видом.

— Но канаты сорваны, продолжать негде!

— Это не моя вина.

— Что ж, иного выхода нет. Как судья приказываю: бойцов развести, ставки объявляю недействительными.

— Ничья! Ничья! — завопили вокруг.

И мигом толпа бросилась врассыпную: те, кто явился сюда пешком, кинулись бежать, пока дорога на Лондон не была еще столь запружена, а чистая публика принялась разыскивать свои экипажи и лошадей. Гаррисон поспешно прошел в угол Уилсона и крепко пожал сопернику руку:

— Надеюсь, я тебя не очень покалечил?

— Не неженка, стерплю. А вы как?

— Голова гудит, как котел. Спасибо еще дождь меня выручил.

— Да, мне уж показалось было, что верх мой. С таким, как вы, биться лестно.

— И для меня это честь. Счастливо тебе!

И два мужественных бойца прошли среди вопящих грубиянов, точно два израненных льва в стае волков и шакалов. Повторяю, если бокс из благородного спорта превратился в низкую забаву, повинны в этом не сами боксеры, а мерзкие прохвосты и хулиганы, что тучами выются вокруг ринга: любой честный боец несравнимо выше этих негодяев, подобно тому, как благородный скакун несравнимо выше плутов и мошенников, которые наживаются на скачках, когда он берет призы, а самое его существо — живой укор их гнусным проделкам.

Глава XIX

В ЗАМКЕ

Дяде по доброте сердечной не терпелось поскорее уложить Гаррисона в постель, ибо, хоть кузнец и посмеивался над своими увечьями, но досталось ему крепко.

— И не думай больше проситься в драку, Джек Гаррисон, все равно не пущу! — сказала ему жена, горестно глядя на его разбитое лицо. — Даже в тот раз, когда ты поколотил Черного Баруха, и то тебя не так изуродовали! Это что ж такое, на себя не похож! Можно сказать, только по одежде мужа и признала. Нет уж, пускай хоть сам король просит, а я тебя больше нипочем драться не пущу!

— Не кипятись, старушка, вот тебе слово, больше я и не попрошусь. Лучше уж я сам уйду с ринга, покуда от меня сила да сноровка не ушла. — Он отхлебнул коньяку из фляжки, которую ему протянул сэр Чарльз, и скривился. — Отличный напиток, сэр, да только губы у меня разбиты, так щиплет — невтерпеж! Ого, провалиться мне на этом месте, если там не Джон Каммингз из нашей харчевни. Да что это с ним — рехнулся он, что ли?

И в самом деле, напрямик по равнине к нам со всех ног бежал хозяин гостиницы в Монаховом дубе, и выглядел он престранно. Без шляпы, лицо с похмелья красное, опухшее и растерянное, борода и волосы развеваются на ветру. Бежал он не прямо, а под перекрестным огнем насмешек, вызванных его нелепым видом, бросался то к одной кучке людей, то к другой, и я невольно подумал, что он похож на бекаса, удирающего от охотников. На миг он приостановился подле желтого ландо, что-то протянул сэру Лотиану Хьюму и тотчас побежал дальше. Но вот наконец он заметил нас, вскрикнул от радости и припустился во всю прыть, еще издали протягивая нам какую-то записку.

— Что ж ты, Джон Каммингз, — с укоризной сказал ему Гаррисон. — Хорош! Я ж наказывал тебе — капли в рот не бери, покуда не передашь сэру Чарльзу что ведено!

— Да что там, убить меня мало! — с горьким раскаянием воскликнул Каммингз. — Я вас искал, сэр Чарльз, вот лопни мои глаза, искал, да только нигде вас не было, а я уж больно радовался, что Гаррисон будет драться и я на этом столько выиграю, да еще хозяин здешнего Подворья стал меня

угощать разными разностями, ну, я и ошалел — все из ума вон. А уж после боя вас увидал, сэр Чарльз, так что хоть кнутом отхлещите, поделом мне, старому греховоднику.

Но дядя не слушал покаянных речей Каммингза. Он развернул записку и читал, слегка подняв брови, — едва ли не высшая нота той весьма ограниченной гаммы чувств, которую он позволял себе проявлять.

— Что ты на это скажешь, племянник? — спросил он, передавая мне записку.

Вот что я прочел:

«СЭРУ ЧАРЛЬЗУ ТРЕДЖЕЛЛИСУ. Ради всего святого, как только получите эту записку, приезжайте в замок, по возможности не медлите и не задерживайтесь в пути! Вы застанете меня здесь и узнаете нечто весьма для вас важное. Заклинаю вас, поспешите, а пока остаюсь тем, кто вам известен под именем

Джима Гаррисона».

— Ну, что скажешь, племянник? — повторил дядя.

— Право, сэр, я не представляю, что это может означать.

— Кто вам дал эту записку, почтеннейший?

— Молодой Джим Гаррисон собственной персоной, сэр, — отвечал Каммингз, — хотя, по правде сказать, я его сперва насилу узнал, он был на себя не похож, чисто привидение. И уж так ему не терпелось, чтоб вы скорей это письмо получили! Покуда я не запряг лошадь да не пустился в путь, он от меня ни на шаг не отставал. Это письмо было вам, да еще одно — сэру Лотиану Хьюму, одна беда — надо бы Джиму найти посыльного понадежнее!

— Непостижимо, — сказал дядя и, нахмурясь, перечитал записку.

— Что ему делать в этом зловещем доме? И почему он подписался «тот, кто вам известен под именем Джима Гаррисона»? А как еще он может быть мне известен? Гаррисон, вы, конечно, можете пролить свет на эту загадку! Миссис Гаррисон, по вашему лицу я вижу, что и вы знаете, в чем тут дело!

— Может, оно и так, сэр Чарльз, да только мы с моим Джеком — люди простые, поступаем как разумеем, а где не нашего ума дело, туда не суемся. Мы по этой дорожке шли двадцать лет, а теперь нам пора свернуть в сторонку, пускай вперед шагают, которые поумней нас. И коли хотите знать,

что тут к чему, мой вам совет: езжайте в замок, раз вас просят, там все и узнаете.

Дядя сунул записку в карман.

— Никуда я не поеду, пока не передам вас в руки хорошего врача, Гаррисон.

— Обо мне не думайте, сэр. Мы с моей хозяйкой доберемся до Кроли в двуколке, а там мне только и надо, что ярд пластыря да кусок сырого мяса, и все заживет в лучшем виде.

Но дядя не слушал никаких уговоров и отвез Гаррисонов в Кроли, где устроил жену кузнеца в лучший номер, какой нашелся в Подворье. Потом мы наскоро перекусили и пустились в путь.

— Отныне я с боксом покончил, — сказал мне дядя. — Теперь мне ясно, что ринг невозможно оградить от мошенников. Меня не раз дурачили и обманывали, но, как говорится, век живи, век учись, и больше я боксу не покровитель.

Будь я постарше или будь сэр Чарльз не столь неприступен, я бы высказал ему то, что было у меня на душе: я умолял бы его отказаться и от других забав, покинуть общество ничтожных пустозвонов и щеголей и найти себе занятие, более достойное его здравого ума и благородного сердца. Но не успел я об этом подумать, как дядя оставил серьезный тон и принялся болтать о новой украшенной серебром упряжи, с которой он намерен прокатиться по Сент-Джеймскому парку, и о том, что на предстоящих скачках он думает поставить тысячу гиней на свою кобылку Этельберту против знаменитого Аврелия, трехлетки лорда Данкастера, с которым он, дядя, готов по этому случаю биться об заклад.

Мы доехали до Уайтмен-Грин, то есть покрыли больше половины расстояния между Кролийскими холмами и Монаховым дубом, как вдруг, оглянувшись, я увидел, что вдали на дороге в солнечных лучах блеснула ярко-желтая карета. За нами следовал сэр Лотиан Хьюм.

— Он получил такую же записку, что и мы, и спешит туда же, — сказал дядя, тоже поглядев через плечо. — Нас обоих ждут в замке... Нас... единственных, кто остался в живых после той мрачной истории. И что самое непонятное — призывает нас Джим Гаррисон. Право, жизнь моя была достаточно богата приключениями, но я предчувствую, племянник, что там, впереди, за этими дубами, меня ждет нечто совершенно необычайное.

Он хлестнул гнедых, и с поворота дороги мы увидели высокие темные шпили старого замка, что вздымались над вершинами обступавших его вековых дубов. Одного вида этих мест было бы довольно, чтобы меня

бросило в дрожь при мысли об их недоброй славе, о пролитой здесь крови, о привидениях... но, услышав дядины слова, я вдруг понял, что и правда в замок приглашены два единственных свидетеля той давней трагедии, а исходит это приглашение от друга моего детства, и у меня захватило дух от предчувствия, что всех нас ждет некое потрясающее открытие. Ржавые створы ворот меж полуразрушенных столбов с гербами стояли настежь; дядя нетерпеливо стегнул лошадей, и мы помчались по заросшей травой аллее к потемневшему от времени крыльцу, где он их круто осадил. Дверь была распахнута, на пороге нас ждал Джим.

Но это был совсем не тот Джим, какого я знал и любил с детства. Что-то в нем переменялось, эту перемену я ощутил с первого мгновения, но, однако, не мог уловить и выразить словами, в чем же она состоит. Одет он был не лучше, чем прежде, я сразу узнал его старый коричневый фрак, и по-прежнему на него приятно было смотреть, ибо после недавней тренировки он был поистине воплощением мужественной красоты. Но в выражении его лица появилось какое-то особое достоинство, в осанке — еще большая уверенность в себе, и теперь уже весь облик этого юноши обрел законченность и стал совершенным. При всей его удали ему всегда очень шло старое школьное прозвище Малыш, и лишь в эту минуту, когда он стоял на пороге старого замка, я вдруг увидел, что передо мною уже не мальчик, а взрослый мужчина в расцвете сил. Рядом, опираясь на его руку, стояла женщина, и я узнал в ней мисс Хинтон из Энсти-Кросса.

— Мы с вами знакомы, сэр Чарльз Треджеллис, — сказала она, делая шаг нам навстречу, едва мы вышли из коляски.

Дядя с недоумением всмотрелся в нее.

— Не припомню, чтобы я имел честь, сударыня... Впрочем, позвольте...

— Полли Хинтон из Хеймаркета. Неужели вы забыли Полли Хинтон?

— Забыл! Да ведь все мы, молодые театралы, оплакивали вас столько лет, что и подумать страшно. Но что же произошло?..

— Я тайно обвенчалась и покинула сцену. Прошу простить меня за то, что вчера я похитила у вас Джима.

— Так это были вы?

— У меня еще более неоспоримые права на него, чем у вас. Вы его покровитель. Я его мать.

С этими словами она притянула к себе Джима, так что лица их оказались рядом: и хоть на одном лице лежал отпечаток увядающей женской красоты, а в другом воплотилось юное крепнущее мужество, были они столь схожи — те же темные глаза, те же иссиня-черные волосы, тот же

высокий белый лоб, — что я поразился, как с первой минуты, увидав их вдвоем, не разгадал секрета этой женщины.

— Да, он мой сын! — воскликнула она. — И он спас меня от участи, которая хуже смерти. Об этом вам может рассказать ваш племянник Родни. Но я поклялась молчать, и только вчера вечером был снят зарок молчания и я смогла поведать сыну, что своей добротой и терпением он возродил к жизни родную мать.

— Не надо, мама! — сказал Джим, чуть коснувшись губами ее щеки. — Есть вещи, о которых довольно знать нам двоим. Но скажите, сэр Чарльз, чем кончился бой?

— Ваш дядя был близок к победе, но какие-то хулиганы прервали встречу.

— Он мне не дядя, сэр Чарльз, он был и мне и моему отцу самым лучшим, самым верным другом, какого можно себе пожелать. Я знаю еще только одного столь же верного друга, — продолжал он, взяв меня за руку, — имя ему Родни Стоун... Надеюсь, Гаррисон не слишком пострадал?

— Через неделю-другую он вполне оправится. Но, признаться, я все же не понимаю, что, в сущности, произошло, и позвольте напомнить вам, что вы еще не объяснили, почему столь внезапно, не поставив меня заранее в известность, изменили своему слову.

— Войдемте в дом, сэр Чарльз, и, я уверен, вы согласитесь, что я не мог поступить иначе. А вот и сэр Лотиан Хьюм, если не ошибаюсь.

В конце аллеи появилось желтое ландо, и тотчас взмыленные лошади круто остановились бок о бок с нашей коляской. Из ландо выпрыгнул сэр Лотиан, он был мрачнее тучи.

— Оставайтесь на месте, Коркоран, — сказал он, и, заметив бутылочно-зеленый рукав, я понял, кто его спутник. — Ну-с, — продолжал сэр Лотиан, обводя нас всех вызывающим взглядом, — я очень хотел бы знать, какой наглец посмел так спешно вызвать меня в мой собственный дом и какого дьявола вы все вторглись в мои владения?

— Обещаю вам, сэр Лотиан, что, прежде чем мы с вами расстанемся, вы поймете и это, и еще многое другое, — сказал Джим с какой-то странной улыбкой. — Прощу следовать за мною, и вам все станет ясно.

Под руку с матерью он прошел впереди нас в зловещую комнату, где на буфете все еще валялись карты, а в углу на потолке темнело пятно.

Сэр Лотиан остановился в дверях, скрестил руки на груди.

— Ну-с, приятель, я жду объяснений! — воскликнул он.

— Прежде всего я должен объяснить свои поступки вам, сэр

Чарльз, — сказал Джим, а я слушал, смотрел и невольно восхищался, видя, как общение с той, в ком он теперь обрел мать, облагородило речь и манеры простого сельского парня. — Я хочу рассказать вам, что произошло вчера вечером.

— Я сама расскажу об этом, Джим, — прервала его мать. — Знайте, сэр Чарльз, что, хотя мой сын и не знал своих родителей, мы оба живы и никогда не теряли его из виду. Но я не препятствовала ему отправиться в Лондон и попытать счастья на ринге. Отец же услышал об этом только вчера и решительно воспротивился. Он велел мне немедленно доставить сына сюда. Я совсем потеряла голову, я понимала, что Джим меня не послушает, если не найти ему замену. И я обратилась к славным, добрым людям, которые его вырастили, и все им рассказала.

Миссис Гаррисон любит Джима, как родного, а ее супруг очень привязан к моему мужу, и они сжалились над отчаянием жены и матери и пришли мне на помощь, да вознаградит их за это господь! Гаррисон согласился заменить Джима, если Джим вернется к отцу. Тогда я поехала в Кроли. Я узнала, где комната Джима, и окликнула его через окно; ведь я понимала, что те, кто на него ставил, его не выпустят. Я открыла Джиму, что я его мать. Открыла, кто его отец. Сказала, что мой фаэтон ждет, и, если Джим не поспешит, он может лишиться благословения умирающего отца, которого доньине не знал. Все же мой мальчик не хотел идти, пока я его не уверила, что Гаррисон заменит его на ринге.

— Почему же он не предупредил Белчера?

— У меня голова шла кругом, сэр Чарльз. Вдруг открыть, что у тебя есть отец и мать, и совсем другое имя, и другое положение в обществе... от этого растеряется и человек похладнокровнее меня. Матушка умоляла меня пойти с нею, и я пошел. Фаэтон ждал нас, но едва мы тронулись в путь, как кто-то схватил лошадь под уздцы, а еще двое неизвестных набросились на нас. Один замахнулся на меня дубинкой, но я ударил его по голове рукоятью кнута, и он выронил дубинку, а я хлестнул по лошади, стряхнул с себя остальных, и мы благополучно уехали. Что это были за люди и почему они на нас напали, понятия не имею.

— Вероятно, это вам может объяснить сэр Лотиан Хьюм, — сказал мой дядя.

Враг наш промолчал и только метнул в нашу сторону полный ненависти взгляд.

— Я приехал сюда, увидел своего отца, а потом сошел вниз и...

У дяди вырвался возглас изумления:

— Что вы такое сказали, молодой человек? Вы приехали сюда и здесь

увиделись со своим отцом? Здесь, в замке?

— Да, сэр.

Сэр Чарльз побелел как полотно:

— Бога ради, скажите же, кто ваш отец.

Вместо ответа Джим указал куда-то через плечо, и, обернувшись в ту сторону, мы увидели двух человек, которые появились в дверях, ведущих наверх, в спальню. Одного из них я тотчас узнал по бесстрастным, точно маска, чертам и сдержанным манерам — это был Амброз, бывший дядин камердинер. Внешность второго поражала еще сильнее. Он был очень высок, облачен в темный халат и тяжело опирался на трость. В исхудалом лице его не было ни кровинки, страшно бледное, точно восковое, оно казалось прозрачным. Лишь у покойников случалось мне видеть такие лица. Густая проседь и согбенная спина придавали этому человеку вид дряхлого старца, и только темные брови да блеснувшие из-под них живым огнем глаза наводили на мысль, что он, пожалуй, не так уж стар.

Минуту в комнате царила глубокая тишина, и вдруг у сэра Лотиана Хьюма вырвалось чудовищное проклятие.

— Лорд Эйвон! — воскликнул он.

— К вашим услугам, джентльмены, — ответил странный незнакомец в халате.

Глава XX

ЛОРД ЭЙВОН

Дядя мой по натуре был человек хладнокровный, а обычаи и нравы светского общества еще усугубили это его свойство. Он способен был, не моргнув глазом, открыть карту, от которой зависело его состояние, а однажды я был свидетелем, как на Годстонской дороге перед лицом смертельной опасности он правил с таким безмятежным видом, точно на ежедневной прогулке по Пэл-Мэл. Но сейчас он был слишком потрясен, лицо его побелело, и, не веря своим глазам, он неотрывно смотрел на лорда Эйвона. Дважды губы его дрогнули, казалось, он хотел что-то сказать, и оба раза хватался за горло, точно какая-то невидимая помеха не позволяла ему заговорить. Наконец, протянув руки, он рванулся вперед.

— Нэд! — воскликнул он.

Но странный человек, стоявший перед ним, скрестил руки на груди.

— Нет, Чарльз, — сказал он.

Дядя остановился и изумленно поглядел на него.

— Неужели после стольких лет ты не хочешь пожать мне руку?

— Ты поверил, что я преступник. В то страшное утро я увидел это по твоим глазам, по тому, как ты держался. Ты ни о чем меня не спросил, тебе и в голову не пришло, что человек моего склада не способен на такое преступление. Мой ближайший друг, человек, который знал меня, как никто, при первом же подозрении причислил меня к грабителям и убийцам.

— Нет, нет, это не так!

— Это так, Чарльз. Я прочел это в твоих глазах. Вот отчего, когда мне надо было отдать в надежные руки того, кто был для меня всего дороже, я обратился не к тебе, а к единственному человеку, который ни на секунду не усомнился в моей невиновности. Я решил, что будет в тысячу раз лучше, если моего сына воспитают простые, скромные люди и он не узнает, кто его несчастный отец, чем если он узнает это и разделит все подозрения и сомнения тех, кому он ровня.

— Значит, он и в самом деле твой сын! — воскликнул сэр Чарльз, изумленно глядя на Джима.

Лорд Эйвон протянул длинную худую руку и положил ее на плечо актрисы, а она ответила ему взглядом, исполненным любви.

— Я женился, Чарльз, и скрыл свою женитьбу от друзей, ибо нашел

себе жену на подмостках. Ты же знаешь, непомерная, неразумная гордость преобладала во мне надо всем. Я не в силах был признаться, что совершил подобный шаг. Мое поведение отдалило нас с женой друг от друга и послужило причиной ее пагубного пристрастия, в котором повинен один только я. Из-за этого пристрастия я отобрал у нее нашего ребенка и назначил ей содержание, оговорив при этом, что она не будет иметь никакого касательства к сыну. Я страшился ее дурного влияния на мальчика и в своем ослеплении не мог помыслить, что, напротив, он может хорошо повлиять на нее. Но за свою несчастную жизнь, Чарльз, я убедился, что существует сила, которая лепит наши представления и вкусы, и как бы мы ни пытались ей противостоять и сколько бы себя ни обманывали, будто мы сами ставим паруса и сами гребем, на самом деле нас несет невидимым течением к неведомой нам цели.

Все это время я не сводил глаз с дяди, а тут перевел взгляд на худую, волчью физиономию сэра Лотиана Хьюма. Он стоял у окна, и силуэт его четко вырисовывался на фоне пыльного стекла. Никогда еще мне не приходилось видеть на лице человека такой игры дурных страстей: бешенства, зависти, обманутой алчности.

— Правильно ли я вас понял? — спросил он громким хриплым голосом. — Этот молодой человек заявляет себя вашим наследником, лорд Эйвон?

— Он мой законный сын.

— Я достаточно хорошо знал вас в молодости, сэр, и позволю себе заметить, что ни я, ни кто-либо из ваших друзей никогда не слыхали, что у вас есть жена и сын. Я призываю сэра Чарльза Треджеллиса подтвердить, что он понятия не имел ни о каком наследнике, кроме меня.

— Я уже объяснил, сэр Лотиан, почему я держал свой брак в секрете.

— Вы-то, разумеется, объяснили, сэр, но достаточно ли вашего объяснения, это вам скажут в другом месте.

На бледном, изможденном лице лорда Эйвона вдруг вспыхнули жгучим огнем глаза; это было так же странно и неожиданно, как если бы из окон разрушенного дома внезапно хлынул поток света.

— Вы смеете сомневаться в моем слове!

— Я требую доказательств.

— Для тех, кто меня знает, достаточно моего слова.

— Извините, лорд Эйвон, но я вас знаю и все-таки не вижу оснований верить вам на слово.

Это был грубый ответ, и тон сэра Лотиана Хьюма был ему вполне под стать. Лорд Эйвон, пошатываясь, сделал шаг вперед, готовый схватить за

горло своего оскорбителя, но жена и сын удержали его дрожащие руки. Таким яростным стало это бледное лицо, что сэр Лотиан отпрянул, однако взгляд его оставался все таким же свирепым.

— Да это ж настоящий заговор! — выкрикнул он вне себя. — Преступник, актриса, боксер — и у каждого своя роль... Вы еще получите от меня несколько строк, сэр Чарльз Треджеллис! И вы тоже, милорд! — Он повернулся на каблуках и решительно зашагал к двери.

— Он отправился доносить на меня, — сказал лорд Эйвон, и гримаса уязвленной гордости исказила его черты.

— Вернуть его? — быстро спросил Джим.

— Нет, нет, пусть идет. Теперь это уже неважно, я все равно решил, что долг мой перед братом и перед всей нашей семьей, который я исполнил, хоть и заплатил за это такую страшную цену, ничто в сравнении с моим долгом перед тобой, сын.

— Ты несправедлив ко мне, Нэд, — сказал дядя. — Неужели ты мог подумать, что я забыл тебя или судил о тебе столь безжалостно? Если я и думал, что совершившееся — дело твоих рук — а как мог я не верить собственным глазам? — я всегда был убежден, что в ту минуту ты не был в здравом уме и так же мало отдавал себе отчет в своих поступках, как человек, который ходит во сне.

— Что такое ты видел собственными глазами? — спросил лорд Эйвон, сурово глядя на моего дядю.

— В ту проклятую ночь я видел тебя, Нэд.

— Меня? Где?

— В коридоре.

— И что же я делал?

— Ты шел из комнаты твоего брата. А за секунду до этого я слышал его крик, и в этом крике были гнев и боль. Ты нес мешок с деньгами, и лицо у тебя было чрезвычайно взволнованное. Если бы только ты объяснил мне, Нэд, как и зачем ты там очутился, ты бы снял с моей души камень, который давил меня все эти годы.

Никто не узнал бы сейчас в дяде предводителя лондонских фатов. Встретившись со своим старым другом, оказавшись причастным к его трагедии, дядя сбросил с себя все напускное, неистинное, во что он рядился, как в тогу. Я глядел на его побледневшее, встревоженное лицо, видел по его глазам, с каким нетерпением ждет он ответа друга, и впервые за все время почувствовал к нему не просто благодарность, но и любовь.

Лорд Эйвон закрыл лицо руками, и на мгновение в мрачной, полутемной комнате воцарилась тишина.

— Теперь я не удивляюсь, что ты усомнился во мне, — произнес он наконец. — Боже мой, в какие сети я попал! Если бы против меня было возбуждено это подлое дело, ты, мой ближайший друг, вынужден был бы рассеять последние сомнения в моей виновности. И все-таки, несмотря на все, что ты видел, я не больше твоего, Чарльз, повинен в случившемся.

— Благодарение небу, что мне довелось услышать это от тебя.

— Но тебе этого мало, Чарльз. Я вижу это по твоим глазам. Ты хочешь знать, почему я скрывался все эти годы.

— Мне достаточно твоего слова, Нэд. Но свет захочет услышать ответ и на этот вопрос.

— Я хотел спасти честь семьи, Чарльз. Ты знаешь, как я ею дорожил. Я не мог оправдаться, не открыв, что мой брат повинен в самом мерзком для джентльмена преступлении. Пожертвовав всем на свете, я восемнадцать лет молчал о его позоре. Я был заживо погребен и превратился в дряхлую развалину, а ведь мне нет еще и сорока. Но теперь, когда я оказался перед выбором: рассказать, в чем повинен брат, или совершить несправедливость по отношению к собственному сыну, у меня нет иного выхода; к тому же я могу надеяться, что все, что я намерен тебе открыть, удастся не предавать огласке.

Он поднялся со стула и, тяжело опираясь на руки жены и сына, неверными шагами двинулся к покрытому пылью буфету. На буфете по-прежнему, как много лет назад, когда мы с Джимом были здесь впервые, лежали все те же зловещие, покрытые плесенью, побуревшие от времени колоды карт. Лорд Эйвон дрожащими пальцами взял их, потом выбрал несколько карт и протянул дяде.

— Зажми угол карты между большим и указательным пальцами, Чарльз, — сказал он. — Теперь слегка потри этот угол и скажи, что ты чувствуешь.

— Карта наколота булавкой.

— Совершенно верно. Что это за карта? Дядя перевернул ее.

— Трефовый король.

— Теперь потрогай угол вот этой карты.

— Он совсем гладкий.

— И что это за карта?

— Тройка пик.

— А эта?

— Наколота булавкой. Червонный туз.

Лорд Эйвон швырнул карты на пол.

— Вот тебе и вся проклятая история! — воскликнул он. — Надо ли

мне продолжать? Ведь каждое слово для меня мука.

— Кое-что я уже понял, но не до конца. Тебе придется сказать все, Нэд.

Лорд Эйвон выпрямился. Казалось, он собирается с силами.

— Хорошо, я расскажу тебе все, и покончим с этим. Надеюсь, мне больше уже никогда не надо будет возвращаться к этой несчастной истории. Ты помнишь нашу тогдашнюю игру? Помнишь, как мы проигрались? Помнишь, что вы все разошлись по своим комнатам, а я остался здесь, за этим самым столом? Я совсем не чувствовал усталости, мне вовсе не хотелось спать, и целый час, а может быть и больше, я сидел и думал о различных поворотах игры и о том, как все это отразится на моем достоянии. Я проиграл много, ты, наверно, помнишь, и утешало меня лишь то, что в выигрыше оказался мой брат. Он всегда жил безрассудно и беспорядочно, попал в лапы ростовщиков, и я надеялся, что мой проигрыш хотя бы поможет ему встать на ноги. Так я сидел, размышлял, в рассеянности перебирал карты и вдруг обнаружил эти проколы. Я пересмотрел все колоды и, к своему ужасу, обнаружил, что человеку посвященному ничего не стоит при сдаче сосчитать, сколько крупных карт у каждого из его партнеров. Стыд, омерзение, каких я еще никогда не испытывал, охватили меня, и я вспомнил странное поведение брата во время сдачи, его медлительность и то, как всякую карту он непременно брал за уголок.

Я не стал действовать сгоряча. Еще долго сидел я там, припоминая всю игру, ход за ходом, все, что могло опровергнуть или подтвердить мою страшную догадку. Увы! Все утверждало меня в первоначальном подозрении, и догадка превратилась в уверенность. Брат заказывал карты у Ледбери с Бонд-стрит. Перед игрой они несколько часов находились у него в комнате. Играл он так уверенно, что мы только диву давались. И ко всему прочему я не мог утаить от себя, что его прошлое отнюдь не таково, чтобы нельзя было заподозрить его даже в таком гнусном преступлении. Весь дрожь от стыда и гнева, я с картами в руках поднялся к нему и обличил его в самом низком, подлом преступлении, на какое способен лишь последний негодяй.

Он еще не ложился, и обманом доставшийся выигрыш был рассыпан на туалетном столике. Уж не помню, что я ему сказал, но факты были убийственны, и он даже не пытался их отрицать. Как тебе известно, он в ту пору еще не достиг совершеннолетия, только это и смягчает его вину. Слова мои его ошеломили. Он упал на колени, умоляя не губить его. Я отвечал, что, заботясь о чести семьи, не стану его позорить, но что отныне

он навсегда должен забыть о картах, а выигранные деньги вернуть моим гостям, присовокупив свои объяснения. Но ведь тогда его репутация погибла, запротестовал он. Я сказал, что человек должен отвечать за свои поступки. Там же на месте я сжег бумаги, которые он у меня выиграл, а все золото высыпал в парусиновый мешок, лежавший на туалетном столике. На этом я и ушел бы, не сказав ему больше ни слова, но он уцепился за мою руку, и, пытаясь удержать меня и вынудить обещание, что я ничего не скажу ни вам, ни сэру Лотиану Хьюму, он оторвал мою манжету. Убедившись, что его мольбы меня не трогают, он отчаянно вскрикнул; этот-то крик и достиг твоих ушей, Чарльз, побудил тебя приоткрыть свою дверь, и ты увидел, как я возвращался к себе.

У дяди вырвался вздох облегчения.

— Все совершенно ясно, — пробормотал он.

— Утром, ты помнишь, я зашел к тебе и возвратил деньги. Так же поступил я и с сэром Лотианом Хьюмом. Я не объяснил этого поступка, ибо не нашел в себе сил признаться вам в нашем семейном позоре. Потом обнаружилась эта страшная смерть, которая омрачила всю мою жизнь и оказалась для меня такой же загадкой, как и для вас. Я понял, что подозрение падает на меня, и понял также, что смогу оправдаться, только если предам гласности бесчестье брата. Я не мог пойти на это, Чарльз. Мне легче было обречь себя на любые страдания, нежели навлечь позор на семью, доброе имя которой столько веков оставалось незапятнанным. Вот почему я не предстал перед судом и скрылся.

Но прежде всего мне надо было позаботиться о жене и сыне, о существовании которых не знал ни ты, ни кто-либо другой из моих друзей. Мне стыдно признаться, Полли, но, поверь, во всем, что произошло с тобой, я виноват куда больше тебя. Тогда были причины — теперь их уже, к счастью, не существует, — побудившие меня забрать сына у матери в надежде, что он слишком мал, чтобы почувствовать ее отсутствие. Если бы не твои подозрения, Чарльз, которые глубоко меня ранили, — ведь я не знал тогда, насколько серьезные были у тебя основания сомневаться во мне, — я бы, разумеется, доверился тебе во всем.

В тот же вечер я ускакал в Лондон и назначил жене достаточное содержание, оговорив, однако, что она не должна иметь никакого касательства к нашему ребенку. Ты, конечно, помнишь, я постоянно имел дела с боксером Гаррисоном, и у меня не раз были основания восхищаться его простой и честной натурой. Его попечению я и решил поручить сына. Он, как я и думал, не верил в мою виновность и готов был помочь мне во всем. Он тогда только что, по настоянию жены, покинул ринг и еще не

решил, чем ему заняться. Я дал ему денег на кузницу, обусловив, что он поселится в Монаховом дубе, Джим будет жить с ним как его племянник и никогда не узнает о своих несчастных родителях.

Ты спросишь, почему я выбрал Монахов дуб. Скажу тебе почему: я уже решил тогда, где будет мое убежище, и если я не мог видеть своего мальчика, мне было по крайней мере утешительно знать, что он близко. Тебе известно, что этот замок — один из старейших в Англии, но тебе, конечно, неизвестно, что при его сооружении позаботились о том, чтобы он мог служить надежным убежищем, и потому в нем есть по крайней мере две потайные комнаты и во внешних, самых толстых стенах сделаны проходы. О существовании тайников было известно только членам семьи, но я дорожил этим секретом так мало, что не открыл его кому-либо из друзей лишь потому, что наезжал сюда довольно редко. Когда же я оказался в такой крайности, это убежище пришлось мне как нельзя более кстати. Я украдкой вернулся в свой замок, вошел в него ночью и, оставив за его стенами все, что было мне дорого, забился, как мышь в норку, в свой тайник. Остаток жизни мне предстояло провести в одиночестве и страданиях. По моему изможденному лицу к седым волосам, Чарльз, ты можешь прочесть повесть моей несчастной жизни.

Раз в неделю Гаррисон приносил провизию и передавал ее мне через окно буфетной, которое я для этой цели оставлял открытым. Изредка я покидал ночью свое убежище и гулял под звездами, и лоб мой оведал прохладный ветерок, но вскорости мне пришлось отказаться от этих прогулок: меня заметили крестьяне, и по округе пошли толки, что в замке поселился призрак. Однажды ночью ко мне пожаловали охотники за привидениями...

— Это был я, отец! — воскликнул Джим. — Я и мой друг Родни Стоун.

— Знаю. Гаррисон сказал мне об этом тогда же. Я был горд, Джим, увидев, что в тебе жив дух Баррингтонов и что у меня есть наследник, чья отвага может несколько уменьшить бесчестье, которое я изо всех сил старался скрыть. Наконец, настал день, когда доброта твоей матушки — доброта неуместная — дала тебе возможность сбежать в Лондон.

— Ах, Эдвард! — воскликнула его супруга. — Наш мальчик был точно орел в неволе, который бьется крыльями о железные прутья клетки. Если бы ты его видел, ты бы и сам помог ему взлететь, хотя бы и так невысоко.

— Я не виню тебя, Полли. Возможно, ты права. Он уехал в Лондон и попытался с помощью своей силы и отваги добиться известности. Многие наши предки поступали так же, с той только разницей, что в руках они

держали меч, но ни один не вел себя так отважно!

— Готов в этом поклясться, — от души поддержал мой дядя.

— Когда Гаррисон наконец вернулся, я узнал, что мой сын будет за деньги биться на ринге. Этого я не мог допустить, Чарльз! Одно дело — сражаться, как сражались в юности мы с тобой, и совсем другое — драться за кошельки с золотом.

— Дорогой мой друг, я бы ни за что на свете...

— Ну, конечно, Чарльз. Ты просто выбрал самого лучшего бойца, иначе ты и не должен был поступить. Но я не мог этого стерпеть! Я решил, что настало время открыться сыну, тем более что появились различные признаки, указывающие на то, что противоестественное существование сильно подорвало мое здоровье. Случай, а вернее сказать, провидение прояснило все, что еще оставалось неясным в этой истории, и дало мне уверенность, что я смогу доказать свою невиновность. И вот вчера моя супруга привела наконец нашего мальчика к его несчастному отцу.

Воцарилась тишина, потом ее нарушил дядя.

— Жизнь обошлась с тобой жестоко, Нэд, — сказал он. — Но, слава богу, у нас впереди еще многие годы, и мы сумеем возместить тебе все то, чего ты был так долго лишен. Однако мне кажется, мы по-прежнему очень далеки от того, чтобы понять, как же умер твой брат.

— Все восемнадцать лет это было для меня такой же загадкой, как и для тебя, Чарльз. Но теперь наконец преступление раскрыто. Выйдите вперед, Амброс, и расскажите все так же откровенно и подробно, как вы рассказывали мне.

Глава XXI

РАССКАЗ КАМЕРДИНЕРА

Амброз все это время держался в темном углу, ничем не выдавая своего присутствия, так что мы совсем о нем забыли; но когда его прежний хозяин к нему обратился, он вышел на свет, и мы увидели его болезненно-желтое лицо. От обычного бесстрастия слуги не осталось и следа, черты его были искажены волнением, он говорил медленно, запинаясь, дрожащие губы, казалось, складывали каждое слово с величайшим трудом. И все же сила привычки была столь велика, что даже в эту минуту величайшего волнения он, как и полагалось первоклассному камердинеру, в конце концов сумел взять себя в руки и повел речь в том же высокопарном стиле, который так поразил меня в первую нашу встречу, когда дядя приехал к нам в Монахов дуб.

— Миледи Эйвон, джентльмены, — начал он. — Если я в чем виноват, а я с готовностью признаю, что это так, у меня есть лишь одна возможность искупить свою вину, и возможность эта — полностью, без утайки, признаться во всем, как и потребовал от меня мой высокочтимый хозяин лорд Эйвон. Сколь бы удивительно ни показалось вам то, что вы сейчас от меня услышите о таинственной смерти капитана Баррингтона, заверяю вас, что все это чистая, неопровержимая правда.

Наверно, вам трудно поверить, что ничтожный слуга способен испытывать жгучую, смертельную ненависть к человеку, занимающему в обществе такое высокое положение, какое занимал капитан Баррингтон. Вы скажете, что нас разделяет слишком глубокая пропасть. Но позвольте заметить вам, джентльмены: пропасть, через которую можно перекинуть мост недозволенной любви, может быть преодолена и недозволенной ненавистью, и с того дня, когда названный молодой человек похитил у меня то, что составляло смысл моей жизни, я поклялся отнять у него его подлую жизнь, хотя это покрыло бы лишь самую малую толику его долга мне. Я вижу, вы смотрите на меня неодобрительно, сэр Треджеллис, но не дай вам бог когда-либо обнаружить, на какие поступки оказались бы способны вы сами, попади вы в мое положение.

Мы все были поражены, когда обуревавшие его страсти прорвались сквозь личину напускной сдержанности. Короткие темные волосы его, казалось, встали дыбом, глаза горели яростью, лицо дышало

непримиримой ненавистью, которую не смогли умерить ни смерть врага, ни долгие годы. Вышколенный, скромный слуга исчез, его место занял глубоко чувствующий опасный человек — такой может стать либо беззаветно преданным другом, либо мстительным врагом.

— Мы с ней уже уговорились обвенчаться, но тут на мою беду явился он. Не знаю, каким подлым обманом увел он ее от меня. Говорили, что она была для него лишь одной из многих и что он был ловкач по этой части. Я еще даже не понял, какая надо мною нависла опасность, а уж дело было сделано — сердце ее разбито, жизнь загублена, и ей предстояло вернуться в отчий дом, на который она навлекла позор и несчастье. Я увиделся с нею один только раз. Она поведала мне, что ее соблазнитель расхохотался ей в лицо, когда она стала упрекать его в вероломстве, и я поклялся ей, что за этот хохот он заплатит жизнью.

В ту пору я был камердинером, но еще не находился в услужении у лорда Эйвона. Я добился этого места с единственной целью: свести счеты с его младшим братом. Но мне долго не представлялся удобный случай; я мечтал о нем во сне и наяву, но до той поездки в замок, когда случай наконец пришел мне на помощь, протекло много месяцев. Зато все сложилось для меня так благоприятно, как я не смел и надеяться.

Лорд Эйвон думал, что никто, кроме него, не знает о существовании в замке потайных коридоров. Но он ошибался, я о них знал, во всяком случае знал достаточно, чтобы воспользоваться ими для своих надобностей. Не стану рассказывать вам, как однажды, приготавливая комнаты для гостей, я случайно нажал на невидимую кнопку, панель отошла, и в стене открылся узкий проход. Я последовал по нему, и он привел меня в другую комнату, побольше. Вот все, что я знал. Но мне и этого было довольно. Комнаты гостям отводил я, и сделал так, что капитану Баррингтону досталась эта большая комната, а мне та, что поменьше. Я мог войти к нему в любую минуту, и никто бы ничего не проведаль.

И вот он пожаловал. Как описать вам, в каком лихорадочном нетерпении дожидался я, когда наступит долгожданная минута! Господа играли ночь и день, а я ночь и день считал секунды, приближавшие меня к цели. Стоило им позвонить в любой час дня или ночи, и я был тут как тут и подавал им вино, так что в конце концов молодой капитан заплетающимся языком объявил, что другого такого камердинера нет на свете. Мой хозяин отослал меня спать. Он заметил, что щеки у меня пылают, а глаза блестят, и подумал, что у меня жар. Так оно и было, но этот жар могло утолить одно-единственное лекарство.

Наконец уже на рассвете я услышал шум отодвигаемых кресел и понял,

что игра окончилась. Когда я вошел в комнату, где они играли, узнать, не будет ли каких распоряжений, оказалось, что капитан Баррингтон нетвердыми шагами уже отправился к себе. Другие тоже удалились, и только мой хозяин еще сидел за столом — перед ним стояла пустая бутылка и в беспорядке были рассыпаны карты. Он сердито приказал мне идти к себе, и на этот раз я повиновался.

Первая моя забота была обзавестись оружием. Я знал, что, если окажусь с капитаном один на один, мне ничего не стоит задушить его, но надо было избежать шума. Среди охотничьих трофеев, развешанных по стенам залы, я нашел прямой тяжелый нож и наточил его о свой башмак. Потом прокрался к себе в комнату и присел на кровать. План мой был обдуман до последней мелочи. Я не испытал бы никакого удовлетворения от его смерти, если бы, умирая, он не узнал, кого избрало провидение мстителем за его грехи. Если бы я мог его связать, пьяного и спящего, и всунуть ему в рот кляп, тогда два-три укола кинжалом разбудили бы его и прогнали хмель, и тут уж ему пришлось бы выслушать от меня все. Я представлял себе его взгляд: сонная дымка постепенно рассеялась бы, глаза загорелись бы гневом, а потом, когда он понял бы, кто я и зачем пришел, в них застыл бы ужас. Да, это была бы для меня минута высочайшего торжества.

Я подождал, как мне показалось, по крайней мере час, но часов у меня не было, а нетерпение так меня снесало, что на самом деле, наверно, прошло не больше пятнадцати минут. Я встал, разулся, взял нож и, нажав кнопку, неслышно проскользнул в потайной ход. Мне нужно было пройти всего каких-нибудь тридцать шагов, но я двигался с величайшей осторожностью, потому что стоило наступить всей тяжестью на старые, прогнившие доски, и они начинали трещать, точно сухой хворост. Там, конечно, было темно, как в яме, и я пробирался очень медленно, ощупью. Наконец впереди завиднелась тускло-желтая полоска света, и я понял, что она падает из-за второй панели. Видно, я поторопился — он еще не погасил свечу. Я дожидался этой минуты долгие месяцы и мог позволить себе повременить еще час — я не хотел поступать опрометчиво, не хотел ничего делать второпях.

Теперь нужно было двигаться совсем бесшумно, ведь моя жертва находилась всего в нескольких шагах от меня, нас разделяла лишь тонкая деревянная перегородка. Доски от старости потрескались и покособились, так что, когда я подкрался к передвижной панели, оказалось, что сквозь щели можно безо всякого труда обозревать комнату. Капитан Баррингтон без сюртука и без жилета стоял у туалетного стола. Пред ним горкой

громоздились соверены и лежали какие-то бумаги. Он подсчитывал выигрыш. Лицо его пылало, он был совсем сонный — от того, что не спал две ночи кряду, и от вина. Я этому обрадовался: значит, он уснет глубоким сном, и мне нетрудно будет привести в исполнение мой замысел.

Я не сводил с него глаз; вдруг он вздрогнул, и лицо его исказилось отвратительной гримасой. В первое мгновение сердце у меня екнуло, я испугался, что он каким-то образом догадался о моем присутствии. Но тут до меня донесся голос лорда Эйвона. Из моего убежища мне не видна была дверь, через которую он вошел в комнату, не виден был и он сам, но я слышал каждое его слово. Слушая горькие речи брата, обвинявшего его в бесчестье, капитан Баррингтон сперва багрово покраснел, потом стал мертвенно бледным. Месть моя была сладка, куда слаще, чем мне рисовалось в самых радужных мечтах. Мой хозяин подошел к туалетному столику, взял бумаги, сжег их в пламени свечи, бросил пепел в камин, а потом ссыпал золотые в коричневый парусиновый мешочек. Он пошел к двери, но капитан схватил его за руку и стал именем матери заклинять сжалиться над ним, но как же велика была моя радость, когда хозяин вырвал свой рукав из вцепившихся в него пальцев и оставил сраженного страхом негодяя валяться на полу.

Теперь мне предстояло разрешить трудную задачу, ибо я не знал, что лучше: сделать то, ради чего я туда пришел, или нет. Ведь, завладев его преступной тайной, я тем самым стал обладателем куда более острого и страшного оружия, чем охотничий нож моего хозяина. Я был уверен, что лорд Эйвон не сможет и не станет разоблачать брата. Я слишком хорошо знал, милорд, сколь сильно в вас чувство семейной гордости, и не сомневался, что вы не выдадите тайну. Но я мог ее выдать и выдал бы, а потом, когда его жизнь была бы погублена, когда его выгнали бы из полка и изо всех клубов, тогда, быть может, я разделался бы с ним еще и по-другому.

— Вы гнусный негодяй, Амброз! — сказал мой дядя.

— У всех у нас есть чувства, сэр Чарльз, и да будет мне позволено сказать, что хоть слуге и отказано в праве требовать удовлетворения посредством дуэли, он может страдать от оскорбления не меньше, чем джентльмен. Лорд Эйвон просил меня откровенно рассказать вам все, что я думал и делал той ночью, и я буду продолжать в том же духе, даже если мне не посчастливилось заслужить ваше одобрение.

Когда лорд Эйвон ушел, капитан еще некоторое время стоял на коленях, уткнувшись лицом в кресло. Потом встал и принялся медленно ходить из угла в угол, глядя в пол. Время от времени он вдруг начинал

рвать на себе волосы или потрясал в воздухе стиснутыми кулаками, а на лбу у него выступали капли пота. Потом мне не стало его видно, я только слышал, что он открывает ящик за ящиком, будто ищет что-то. Но вот он снова оказался у туалетного столика, спиной ко мне. Голова его была слегка откинута назад и обе руки подняты к вороту сорочки, словно он старался его расстегнуть.

А потом раздался какой-то звук — словно опрокинули кувшин и забулькала вода, и капитан повалился на пол, при этом голова его так неестественно свесилась набок, что я с одного взгляда понял: моя жертва, которую, как мне казалось, я крепко держу в руках, ускользает от меня. В тот же мгновение я отодвинул панель и оказался в комнате. Веки его еще вздрагивали и, когда я встретился с ним взглядом, мне кажется, я прочел в его стекленеющих глазах, что он узнал меня и удивился. Я бросил нож и опустился на пол возле самоубийцы. Мне хотелось шепнуть ему несколько слов, напомнить кое о чем, но я не успел: он тяжело вздохнул и испустил дух.

Живого я нисколько его не боялся, странно было бы мне бояться его мертвого; однако же, когда я поглядел на него и увидел, что он совсем недвижим, а по ковру расплывается пятно, меня вдруг охватил чудовищный страх, я схватил нож, быстро и бесшумно добрался до своей комнаты и задвинул за собой панель. И только уже там обнаружил, что при этом безумном поспешном бегстве схватил не охотничий нож, который принес с собой, а окровавленную бритву, выпавшую из рук мертвеца. Я спрятал бритву в такое место, где никто не мог ее найти, но был так напуган, что не решился пойти за ножом; знай я, какой страшной уликой это окажется против моего хозяина, я бы, наверно, все-таки пошел. Вот, леди Эйвон и джентльмены, точная и правдивая повесть о том, как нашел свою смерть капитан Баррингтон.

— Как же вы могли допустить, чтобы невинный человек страдал столько лет, когда для его спасения достаточно было одного вашего слова? — гневно спросил мой дядя.

— У меня были основания полагать, что лорд Эйвон не поблагодарил бы меня за это. Как мог я открыть истину, не предав огласке семейный позор, который он стремился во что бы то ни стало утаить? Признаюсь, вначале я не рассказал ему о том, чему был свидетелем, а он исчез прежде, чем я успел продумать свое дальнейшее поведение. Но долгие годы, с той поры, как я поступил в услужение к вам, сэр Чарльз, меня мучила совесть, и я поклялся, что, если мне доведется встретить моего прежнего хозяина, я во всем ему покаюсь. Рассказ молодого мистера Стоуна, который я

случайно услышал, навел меня на мысль, что в тайниках замка кто-то скрывается; я решил, что это лорд Эйвон, не теряя ни минуты, проник в его убежище и объявил, что готов на все, чтобы доказать его невиновность.

— Он говорит правду, — сказал лорд Эйвон, — но странно было бы не пожертвовать брэнной жизнью и пошатнувшимся здоровьем ради того, чему я с легкостью принес в жертву все, чем богата юность. Однако новые обстоятельства вынудили меня наконец отказаться от моего решения. Мой сын, не зная о своем происхождении, вступил на путь, который вполне соответствовал его силе и отваге, но был невозможен для представителя нашего рода. Я подумал к тому же, что многих из тех, кто знал моего брата, уже нет в живых, что можно будет предать гласности не все и что если я умру, не доказав свою непричастность к убийству, это запятнает наш род куда больше, чем грех брата, который он искупил такой ужасной ценой. По этим причинам...

Тут послышались грузные шаги нескольких пар ног, гулко отдававшиеся по всему старому дому, и лорд Эйвон замолк на полуслове. Его изможденное лицо стало совсем серым, он жалобно поглядел на жену и сына.

— Меня арестуют! — воскликнул он. — Мне не уйти от этого унижения.

— Вот сюда, сэр Джеймс, сюда, — донесся из-за двери хриплый голос сэра Лотиана Хьюма.

— Незачем указывать мне дорогу в дом, где я распилил немало бутылок доброго кларета, — ответил ему кто-то басом, и на пороге появился рослый плечистый сквайр Овингтон; на нем были штаны из оленьей кожи, высокие сапоги с отворотами, в руке он держал хлыст. Вместе с ним вошел сэр Лотиан Хьюм, а из-за его плеча выглядывали два сельских констебля.

— Лорд Эйвон, — сказал сквайр, — как мировой судья графства Суссекс я должен вам объявить, что против вас выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве вашего брата капитана Баррингтона, совершенном в тысяча семьсот восемьдесят шестом году.

— Я готов предстать перед судом.

— Я сказал вам это как судья. Но как человек и сквайр Рафм Грейнджа я рад вас видеть, Нэд, и вот вам моя рука; никогда я не поверю, что добрый тори, человек, который мог обскакать любого наездника, способен на такое злодейство.

— Вы не ошиблись во мне, Джеймс, — сказал лорд Эйвон, крепко пожимая большую загорелую руку сельского сквайра. — Я не виновен и готов это доказать.

— Черт побери, рад это слышать, Нэд! Иными словами, лорд Эйвон, любые представленные вами доказательства будут рассмотрены пэрами по законам нашей страны.

— А до тех пор, — прибавил сэр Лотиан Хьюм, — прочная дверь и крепкий замок будут лучшей гарантией того, что лорд Эйвон окажется на месте, когда это потребуется.

Обветренное лицо сквайра побагровело, и он обернулся к приезжему лондонцу.

— Вы судья графства, сэр?

— Не имею чести им быть, сэр Джеймс.

— Так как же вы осмеливаетесь давать советы человеку, который чуть не двадцать лет исполняет эту должность? Когда у меня возникают сомнения, я могу посоветоваться с законником, больше я ни в чьей помощи не нуждаюсь.

— Вы слишком много себе позволяете, сэр Джеймс. Я не привык к подобным резкостям.

— А я не привык, сэр, позволять кому бы то ни было вмешиваться в мои служебные дела. Я говорю вам это как судья, сэр Лотиан, но всегда готов постоять за свои слова как джентльмен, так что я к вашим услугам, сэр.

Сэр Лотиан поклонился.

— Разрешите вам заметить, сэр, что в этом деле у меня есть личный и притом весьма важный для меня интерес. И у меня есть серьезные основания полагать, что здесь налицо заговор, который задевает мои интересы как наследника титулов и владений лорда Эйвона. Пока все это не будет надлежащим образом расследовано, лорд Эйвон должен быть помещен под надежный надзор, и я призываю вас как судью воспользоваться своими полномочиями.

— Будь оно неладно, Нэд! — воскликнул сквайр. — Мне необходим мой законник Джонсон. Я хочу обойтись с вами как можно мягче, Нэд, и не знаю, что говорит по этому поводу закон; а тут, вы сами слышали, меня призывают посадить вас под замок.

— Разрешите мне вмешаться, сэр, — сказал дядя. — Пока человек находится под личным надзором судьи, он считается под охраной закона, так что, если лорд Эйвон окажется под крышей Рамф Грейнджа, это условие будет соблюдено.

— Что может быть лучше! — обрадовался сквайр. — Пока все не разъяснится, вы будете моим гостем, Нэд. Иными словами, лорд Эйвон, как представитель закона я беру на себя ответственность за то, что вы будете

под надежным надзором до той минуты, пока вас не вызовут в суд.

— Вы верный друг, Джеймс.

— Ну-ну, я поступаю как велит закон. Надеюсь, у вас нет никаких возражений, сэр Лотиан Хьюм?

Сэр Лотиан передернул плечами и ответил судье мрачным взглядом. Потом повернулся к моему дяде.

— Нам с вами еще предстоит уладить одно небольшое дело, — сказал он. — Не будете ли вы добры назвать мне имя кого-либо из ваших друзей? Меня будет представлять мистер Коркоран, он сейчас находится в моем ландо, и мы могли бы встретиться завтра поутру, если не возражаете.

— С удовольствием, — ответил дядя. — Полагаю, твой отец не откажет мне в этой услуге, племянник... Ваш друг может обратиться к лейтенанту Стоуну в Монаховом дубе, и чем скорее, тем лучше.

На том и закончились эти не совсем обычные переговоры. Что же до меня, я кинулся к своему другу детства и пытался объяснить ему, как я рад счастливой перемене в его судьбе, а он в ответ уверял меня, что никакие перемены не ослабят его любви ко мне. Дядя тронул меня за плечо, и мы совсем было собрались распрощаться, но тут к нему почтительно приблизился Амброз — на его лице уже не осталось и следа недавних страстей, это снова была невозмутимая маска.

— Прошу прощения, сэр Чарльз, — заговорил он, — но ваш галстух приводит меня в отчаяние.

— Да, вы правы, Амброз, — отвечал дядя. — Лоример старается изо всех сил, но я так и не смог найти вам достойного преемника.

— Все зависит от лорда Эйвона. Если я ему не нужен...

— Вы свободны, Амброз, вы свободны! — поспешил заверить его лорд Эйвон. — Вы превосходный слуга, но ваше присутствие стало для меня тягостно.

— Благодарю вас, Нэд, — сказал дядя, — C'est le meilleur valet possible^[38]. Но в следующий раз не покидайте меня так внезапно, Амброз.

— Разрешите объяснить вам причину, сэр. Я решил предупредить вас о своем уходе, когда мы приедем в Брайтон, но на самом выезде из Монахова дуба нам повстречался фаэтон, а в нем сидела леди, которая, как я знал, находилась в весьма близких отношениях с лордом Эйвоном, хоть я и не был уверен, что она его законная супруга. Увидав ее, я окончательно уверился, что он прячется в замке, выскочил из вашей коляски и побежал ее догонять: я хотел ей все рассказать и объяснить, что мне необходимо повидаться с лордом Эйвоном.

— Что ж, я вас прощаю, Амброз, — сказал дядя. — И буду вам весьма

признателен, если вы приведете в порядок мой галстух.

Глава XXII

КОНЕЦ

Карета сэра Овингтона дожидалась у дверей, и семья лорда Эйвона, столь трагически разъединенная и столь странным образом вновь соединившаяся, отбыла в ней в гостеприимный дом сквайра. Когда они уехали, дядя усадил нас с Амброзом в свою коляску и повез в Монахов дуб.

— Прежде всего надо повидать твоего отца, племянник, — сказал он. — Сэр Лотиан со своим секундантом несколько опередили нас. А я буду чрезвычайно огорчен, если в нашем с ним деле произойдет какая-нибудь заминка.

Я же думал о том, что у нашего противника слава опытного, беспощадного дуэлянта, и, видно, чувства мои отразились на лице, так как дядя вдруг рассмеялся.

— Что это ты, племянник, — сказал он, — у тебя такой вид, будто ты уже идешь за моим гробом! Это не первая моя дуэль и, готов спорить, не последняя. Когда я дерусь неподалеку от Лондона, я прежде набиваю руку в тире Мэнтон, но будь спокоен, сумею продырявить его жилет и тут. Однако, признаюсь, я несколько *accablé*^[39] всем, что на нас свалилось. Подумать только, ведь мой дорогой старый друг не только жив, но еще и невиновен! И у него такой завидный сын и наследник, продолжатель рода Эйвонов! Такого удара Хьюм не выдержит; ростовщики не слишком его допекали в расчете на это наследство... А вы, Амброз, вы-то каковы!

Из всех поразительных неожиданностей, которыми богат был сегодняшний день, эта последняя, кажется, произвела на дядю особенно сильное впечатление, и он возвращался к ней снова и снова. В человеке, которого он считал чуть ли не машиной для глаженья манишек и приготовления шоколада, вдруг разыгрались такие роковые страсти — это ли не чудо! Если бы его серебряный бритвенный стакан вдруг ожил и принялся куролесить, он и то, кажется, меньше бы удивился.

До нашего домика оставалось еще ярдов сто, и тут я увидел, что по садовой дорожке шествует высокий, облаченный в зеленый сюртук мистер Коркоран. Отец дождался нас на пороге, на лице у него было написано плохо скрытое удовольствие.

— Счастлив быть вам полезен в любом качестве, сэр Чарльз, — сказал он. — Мы уговорились на завтра в семь утра на Дичлингском пустыре.

— Я бы предпочел, чтобы подобные свидания назначались на более поздний час, — сказал дядя. — Придется либо вставать ни свет ни заря, либо пренебречь туалетом.

— Они остановились в нашей гостинице, прямо через дорогу, так что если вам желательно позднее...

— Нет-нет, я уж постараюсь... Амброз, все принадлежности утреннего туалета должны быть готовы к пяти.

— Не хотите ли воспользоваться моими пистолетами? — предложил отец. — Они были в деле четырнадцать раз, и на расстоянии до тридцати ярдов лучшего оружия не приходится желать.

— Благодарю вас, мои дуэльные пистолеты у меня в коляске. Проверьте, смазаны ли курки, Амброз, я люблю, когда они спускаются легко... А, Мэри, я привез тебе назад твоего сынка, — на мой взгляд, рассеянная городская жизнь не оказала на него развращающего влияния.

Стоит ли рассказывать, как моя дорогая матушка плакала от радости, как ласкала меня; ведь те, у кого есть мать, и сами это знают, а тем, у кого ее нет, все равно не понять, каким теплым и уютным может быть родное гнездо. Как жаждал я попасть в Лондон, как не терпелось мне увидеть городские чудеса, и, однако, повидав куда больше, чем рисовалось мне в самых смелых мечтах, я не увидел ничего, что было бы мне так же мило, так же изливало бы покой на мою душу, как наша скромная гостиная с терракотовыми стенами и все безделицы, столь незначительные сами по себе и столь дорогие по воспоминаниям: рыбка с Молуккских островов, рог нарвала из северных далей, картина «Эскадра лорда Хотэма в погоне за «Саига»!»! А как приятно сидеть у камина перед сверкающей, начищенной до блеска каминной решеткой, и видеть по правую руку веселое, обожженное солнцем лицо отца, попыхивающего трубкой, а по левую — матушку, в чьих пальцах, как всегда, неутомимо снуют вязальные спицы! Я смотрел на своих родителей и удивлялся: неужели было время, когда я стремился уехать от них, и неужели настанет час, когда я снова их покину!

Но шумные поздравления отца и слезы матушки открыли мне, что надо опять покинуть отчий дом, и притом самым быстрым образом. Отца назначили на шестидесятичетырехпушечный корабль, а кроме того, в Портсмут на его имя пришло письмо — лорд Нельсон сообщал, что, если я прибуду немедленно, он сможет взять меня на корабль.

— Мать уже уложила твой матросский сундучок, Родни, и завтра мы с тобой отправимся. Если хочешь служить под началом Нельсона, надо сразу же показать, что ты этого достоин.

— Все Стоуны всегда служили на флоте, — извиняющимся тоном

объяснила матушка дяде, — и мальчику очень повезло, что он окажется под покровительством самого лорда Нельсона. Но мы бесконечно признательны тебе, Чарльз, что ты ввел нашего дорогого Родни в новый для него мир.

— Напротив, дорогая Мэри, — любезно возразил дядя, — твой сын составил мне отличную компанию, так что, боюсь, меня даже можно обвинить в том, что я совсем забросил своего Фиделио. Надеюсь, мне удалось навести на Родни кое-какой глянец. Конечно, назвать его *distingué*^[40] невозможно, но он, во всяком случае, вполне приемлем. Природа не одарила его самыми прекрасными своими дарами, и он не пожелал возместить этот недостаток, используя те возможности, которые ему предоставляло искусство, но я по крайней мере приоткрыл перед ним завесу жизни и преподал несколько уроков по части изящества и умения себя держать, которые сейчас, быть может, никак на нем не сказались, но непременно скажутся, когда он войдет в возраст. Если он меня и разочаровал, то главным образом оттого, что я имею глупость мерить других своею собственной меркой. Я, однако, очень к нему расположен и полагаю, что он замечательно подходит для поприща, которое готов избрать.

И в знак особого расположения дядя протянул мне свою заветную табакерку. Я взглянул на него и запомнил на всю жизнь таким, каким увидел в эту минуту: в насмешливых, надменных глазах пляшут лукавые огоньки, большой палец одной руки заложен за пройму жилета, на белоснежной ладони другой руки он протягивает мне маленькую сверкающую табакерку. Полнокровный, деятельный, изысканный в одежде, ограниченный в мыслях, приверженный грубым развлечениям, к диковинным привычкам, он был предводителем странного чудаковатого племени франтов, которое теперь уже совсем перевелось в Англии. Щеголяя несообразными галстуками, высоченными воротниками, брелоками часовых цепочек, они жеманной походкой прошли по ярко освещенным подмосткам английской истории и канули в вечность, затерялись среди темных кулис. Мир перерос их, и нынче уже нет места их диковинным повадкам, грубым шуткам и тщательно лелеемым причудам. И, однако, под той безрассудств, в которую они так тщательно рядились, зачастую скрывались натуры сильные и яркие, люди редкостного душевного здоровья.

Господа, что с томным видом фланировали по Сент-Джеймскому парку, оказывались превосходными яхтсменами, великолепными наездниками, отважными бойцами во всевозможных случайных стычках,

резвыми участниками бесчисленных проказ. Веллингтон набирал среди них своих лучших офицеров. Случалось, они снисходили до поэзии или риторики, и Байрон, Чарльз Джеймс Фокс, Шеридан и Роберт Стюарт, несмотря на громкую славу, пользовались у них признанием. Едва ли будущему историку удастся их понять, — ведь я, который так хорошо знал одного из них, даже состоял с ним в кровном родстве, и то никогда не мог до конца понять, где кончается истинное «я» и где начинается оригинальничанье, которое он так долго в себе лелеял, что в конце концов оно стало его второй натурой. За щитом безрассудств мне иной раз как будто удавалось разглядеть подлинного и очень достойного человека, и отрадно думать, что я не ошибся в своих предположениях.

Провидению было угодно, чтобы удивительные происшествия дня на этом не кончились. Я рано отправился спать, но уснуть не мог, все думал о Джиме, о поразительных переменах, которые произошли в его судьбе, о его будущем. Я ворочался с боку на бок и вдруг услышал дробный стук копыт со стороны лондонского тракта и почти тотчас — скрип колес по гравию: какой-то экипаж остановился у гостиницы. Окно у меня было растворено, так как весенняя ночь была тепла, и я слышал, что открылась дверь гостиницы и кто-то спросил, здесь ли сэр Лотиан Хьюм. При этом имени я соскочил с постели и успел увидеть, как трое мужчин вышли из кареты и гуськом проследовали в освещенную залу. Свет из открытой двери падал на гнедые спины и терпеливо опущенные головы двух лошадей.

Прошло, должно быть, минут десять, и я услышал топот ног; на пороге показалась кучка людей.

— Применять насилие незачем, — донесся до меня хриплый голос. — Кто предъявил иск?

— Несколько человек, сэр. Они ждали сегодняшнего состязания, надеялись на ваш выигрыш. Общая сумма иска — двенадцать тысяч фунтов.

— Послушайте, любезный! В семь утра у меня чрезвычайно важное свидание. Если вы дождетесь этого часа, я дам вам пятьдесят фунтов.

— Не могу, сэр, право слово, не могу. Мы, помощники шерифа, люди скромные, мы того не стоим.

В желтом свете каретного фонаря я увидел, что баронет бросил взгляд на наши окна; если бы ненависть могла убивать, взгляд этот уложил бы меня наповал, как выстрел из пистолета.

— Я не могу взобраться в карету со связанными руками, — сказал он.

— Держи крепче, Билл, господин-то, видать, с норовом. Обе руки враз не отпускай! А-а, вот ты как!

— Коркоран! Коркоран! — раздался вопль.

Кто-то прыгнул, все сцепились. Потом кто-то бешено рванулся и отделился от других. Послышался тяжелый удар, человек упал на залитую лунным светом дорогу и стал биться и извиваться, как только что выхваченная из воды форель.

— Теперь он не уйдет! Скрути ему руки, Джим! Ну, взяли.

Его подняли, точно куль муки, и с размаха безжалостно бросили на дно кареты. Потом в нее вскочили те трое, во тьме просвистел хлыст, и больше уже ни мне, ни кому другому, кроме разве какого-нибудь мягкосердечного посетителя долговой тюрьмы, не суждено было увидеть сэра Лотиана Хьюма, светского кутилу и покровителя спорта.

Лорд Эйвон прожил еще два года; этого времени ему вполне хватило на то, чтобы с помощью Амброза доказать свою непричастность к ужасному преступлению, тень которого столько лет омрачала его жизнь. Но годы нездорового, противоестественного существования в тайном убежище замка не прошли даром, и только благодаря преданности жены и сына слабо мерцающий огонек его жизни теплился так долго. Та, кого я знал как актеру из Энсти-Кросса, стала вдовствующей леди Эйвон, а Джим, который был любезен моему сердцу, когда мы вместе разоряли птичьи гнезда и ловили руками форель, теперь уже лорд Эйвон, любимец своих арендаторов, лучший спортсмен и самый популярный человек от северного Вилда до Ла-Манша. Он женат на второй дочери сэра Джеймса Овингтона, и, так как всего неделю назад я видел трех его внуков, то думаю, что, если кто-либо из потомков сэра Лотиана заглядывается на владения Эйвонов, его ждет такое же разочарование, какое постигло его предка.

Старый замок разрушили — с ним были связаны слишком страшные воспоминания, — и на его месте воздвигли красивый современный особняк. На краю парка, у Брайтонской дороги, стоит маленький домик, он окружен шпалерами и кустами роз и так мил, что многие его посетители, как и я, предпочли бы оказаться обладателями этого домика, нежели огромного особняка, полускрытого за купой деревьев. В этом домике долгие годы мирно и счастливо жили Джек Гаррисон и его жена; на закате дней их одаряли заботой и любовью, на которые сами они никогда не скупились. Нога Чемпиона Гаррисона ни разу больше не ступала на ринг, но старые завсегдатаи боксерских баталий все еще передают из уст в уста молву о грандиозной битве между кузнецом и выходцем с Запада; и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как, греясь в лучах солнца на своем увитом розами крылечке, подробно, раунд за раундом, рассказывать об этом бое. Но стоило ему слышать постукивание жениной палки — и он тотчас

переводил разговор на сад, ибо жена его всегда была одержима страхом, что рано или поздно он непременно возвратится на ринг, и ей то и дело чудилось, будто он заковылял со двора, чтобы отобрать у очередного выскочки пояс чемпиона. На могиле Гаррисона написали, как он и просил: «Он сражался достойно», — и хотя я уверен, что Гаррисон имел в виду свои битвы с Черным Барухом и с Крабом Уилсоном, все, кому довелось его знать, согласятся со мной, что эти слова вполне подходят для определения всей его чистой и мужественной жизни.

Сэр Чарльз еще несколько лет продолжал щеголять своими красными с золотом жокеями в Ньюмаркете и своими несравненными шюртуками — в Сент-Джеймсе. Это он ввел в моду пуговицы и петли на обшлагах коротких панталон в обтяжку, и он же открыл желатину и крахмалу дорогу к манишкам. У Артура и Уайта еще и по сей день можно встретить старых франтов, которые помнят изречение Треджеллиса, что галстух должен быть так туго накрахмален, чтобы за один уголок можно было приподнять его весь, и ужасный раскол, который произошел среди щеголей, когда лорд Олвенли и его последователи заявили, что совсем незачем так туго крахмалить.

Потом на первый план выступил Джордж Бруммер, между ним и дядей произошел полный разрыв из-за бархатных воротников, и на сей раз Лондон последовал за более молодым из соперников. Дядя, который не привык быть вторым, тотчас удалился в Сент-Олбенс и объявил, что отныне этот город, а не вырождающийся Лондон станет средоточием светской жизни и законодателей моды. Мэр и корпорация преподнесли ему адрес, в котором благодарили его за добрые намерения по отношению к их городу, а местные франты ради такого торжественного случая выписали из Лондона новые фраки и все оказались с бархатными воротниками; это окончательно сразило дядю, он слег и с той поры уже не показывался в обществе.

Деньги свои, которые, быть может, помешали ему стать великим человеком, он завещал многим, в том числе пожизненную годовую ренту камердинеру Амброзу, но немалая часть пришлась и на долю его сестры, моей дорогой матушки, и с их помощью ее старость была такой солнечной и радостной, что лучшего я не мог для нее и пожелать.

Что же до меня — скромной нити, на которую нанизывались все эти бусинки, — то едва ли я осмелюсь вымолвить о себе еще хоть слово из боязни, как бы это последнее слово последней главы не стало первым словом новой. Не реши с самого начала, что повесть моя будет посвящена делам, происходящим на суше, быть может, я написал бы другую, куда

интереснее, о событиях морских, но в одну раму не годится вставлять две разные картины. Когда-нибудь я, возможно, расскажу все, что помню о величайшем из морских сражений и о том, как окончилась мужественная жизнь моего отца, как его корабль был зажат меж французским восьмидесятипятипушечным кораблем и испанским семидесятичетырехпушечным, да так, что даже корма треснула у отца под ногами, а он стоял и ел яблоко. Я видел, как в тот октябрьский вечер над Атлантикой клубился дым и, поднимаясь все выше и выше, превратился наконец в прозрачные перистые облачка и рассеялся в бескрайних небесных просторах. И вместе с этим дымом поднялась и тоже мало-помалу рассеялась нависшая над Англией туча. Ниспосланное богом солнце мира и безопасности вновь засияло над нами, и мы верим, что туча эта уже никогда больше не омрачит нашу жизнь.

notes

Примечания

Пристли, Джозеф (1733–1804) — английский священник, отстаивавший веротерпимость.

Фокс, Чарльз (1749–1806) — английский государственный деятель, сторонник мира с Францией.

Король Георг (лат.).

«Ça ira» («Пойдет!») (франц.) — песня времен Французской революции 1789–1794 гг. Здесь — название корабля.

5

Самые прелестные (франц.).

Бог мой, что за имя (франц.).

Каботажные суда (франц.).

Измучен (франц.).

Всегда твой (франц.).

Осанка (франц.).

11

Туалетные принадлежности (франц).

Друг дома (семьи) (франц.).

Шалости золотой молодежи (франц.).

Хороший стиль (франц.).

Салонные стишки (франц).

Название узла галстука (франц.).

Это совершенно (нем.).

Господи (нем.).

Пирог из слоеного теста (франц.).

Все готово (нем.).

Курица, фаршированная шампиньонами (франц.).

Размолвка (франц.).

Я очень рад (франц.).

Дурные шутки (франц.).

Эти милые крошки (франц.).

Маленькие знаки внимания, подарки (франц.).

Я в отчаянии (франц.).

Урод (франц.).

Здесь — молодые девушки, которых впервые вывезли в свет (франц.).

На заре юности (франц.).

Короткоствольная пушка.

Длинноствольная пушка.

Дурному вкусу (франц.).

Здесь — но что поделать? (франц.).

Весьма прискорбно (франц.).

Увядший (франц.).

Мой друг (франц.).

Это лучший камердинер на свете (франц.).

Потрясен (франц.).

Здесь — светским человеком (франц.).